



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Slav 4120.824 (4)

Kc
4669

Fund

Inv.

5592

П. Смирновскій.

2938
IV

ИСТОРИЯ

1067
III.

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ДЕВЯТНАДЦАТАГО ВѢКА.

Выпускъ IV.

Дальнѣйшій обзоръ литературы Александровской эпохи.

I. Подражатели Карамзина. — II. Дмитриевъ. — III. В. Л. Пушкинъ. — IV. А. Измайловъ. —
V. Нарѣжный.

Цена 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

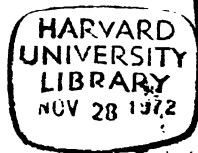
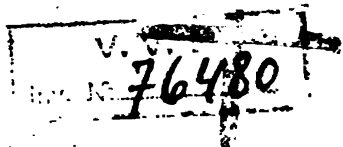
Изданіе Петербургскаго Учебнаго Магазина: Петербургская Сторона, Большой пр., д. 8.
1901.

Slav 4120. 824

(4)

✓

72 *2



191.2.036:041842

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЕВЯТНАДЦАТАГО ВѢКА.

Дальнѣйшій обзоръ литературы Александровской эпохи.

I. Подражатели Карамзина

Подражатели „Бѣдной Лизы“ и „Писемъ русскаго путешественника“.—
Распространеніе сентиментализма.

Послѣ Карамзина прежде всего обращаютъ на себя вниманіе его подражатели, тѣмъ болѣе, что литература Александровской эпохи, можно сказать, началась именно ихъ произведеніями. Въ 1801 г. появилось подражаніе „Бѣдной Лизѣ“—повѣсть Ив. Свѣчинскаго: „Оболющенная Генріетта“, за которой послѣдовалъ цѣлый рядъ подобныхъ подражаній, закончившійся лишь въ 1811 г. „Несчастной Лизой“ князя Долгорукова. Въ промежутокъ между этими годами были написаны разными авторами и „Несчастливая Маргарита, истинная руссiйская повѣсть“, и „Прекрасная Татьяна, жившая у подошвы Воробьевыхъ горъ“, и „Исторія бѣдной Марьи“, и наконецъ „Марьиного роща“ Жуковскаго.

Владиміръ Васильевичъ Измайловъ (1773—1830) увлекался сентиментальными произведеніями европейскихъ писателей и былъ великимъ поклонникомъ Карамзина. Подражая послѣднему, онъ въ 1799 г. отправился путешествовать по южной Россіи и тоже съ цѣлью „собрать идеи и обогатить себя впечатлѣніями“. Результатомъ явились два томика, озаглавленные: „Путешествіе въ полуденную Россію“ и изданные въ 1800—1802 г. Образцомъ авторъ, очевидно, имѣлъ Карамзина: онъ облекъ свое сочиненіе въ форму писемъ и, подобно Карамзину, вносилъ въ него и сентиментально-лирическія изліянія чувствъ, и описанія разныхъ достопримѣча-

тельностью, и историческія воспоминанія, и картины природы, и разнаго рода разсужденія, и черты быта и нравовъ—словомъ, старался ни въ чемъ не уклониться отъ программы „Писемъ русскаго путешественника“. Но Измайловъ не могъ равняться съ Карамзинымъ ни талантомъ, ни начитанностью, и потому письма его не могли стать на одну доску съ Карамзинскими.

Маршрутъ Измайлова былъ слѣдующій: Серпуховъ, Тула, Орелъ, Курскъ, Кіевъ, Полтава, Николаевъ, Одесса, Крымъ, сѣверный Кавказъ, Астрахань, Сарепта, Царицынъ. Сентиментальный тонъ виденъ уже въ первомъ письмѣ, въ которомъ авторъ говоритъ:

„Подъ отечественнымъ небомъ странствую съ мирною душою. Иногда вечерній вѣтерокъ нанесетъ облако горести, тѣнь задумчивости; но съ утренней зарею показывается мнѣ новая заря счастья, и пѣсни утреннихъ птичекъ пробуждаютъ въ душѣ моей новое чувство спокойствія и радости. Такъ и буду пилигримствовать, утѣшаясь жизнію, наслаждаясь меланхоліей, наблюдая съ любопытствомъ и природу и человѣчество, и всѣ тѣ предметы, которыхъ воспоминаніе достойно остаться эпохой въ жизни мыслящаго и чувствующаго существа. Со мною два человѣка, добрые и простые, которыхъ привязанность замѣняетъ для меня дружбу... Я обхаживаю пѣшкомъ всѣ любопытныя мѣста, заглядываю въ каждый уголокъ рощицы, гуляю, взбираюсь на горы, сбѣгаю въ долины, ищу раздѣлять со всею вселенною живость чувствъ моихъ, сообщаю людямъ моимъ каждое новое открытіе взора, обнимаю ихъ въ движеніи радости и спрашиваю: «Видите ли, какъ прекрасно льются струи сег о прозрачнаго ручейка? Слышите ли, какъ сладко поетъ соловей? Чувствуете ли, какъ сердце томится отъ нѣжности?»“

Для характеристики міросозерцанія автора приведемъ одно изъ кіевскихъ его писемъ. Похваливъ чистоту нравовъ кіевлянъ, Измайловъ въ XXXVI-мъ письмѣ говоритъ:

„Кіевскіе жители прикасаются еще только къ развитію тѣхъ нравственныхъ способностей, которые составляютъ человѣка въ высочайшемъ смыслѣ сего слова; которое *) въ системѣ всемірной гармоніи должно, можетъ быть, довершить твореніе человѣка; которое до сихъ поръ остается предметомъ спора между апостоловъ науки и враговъ просвѣщенія, между Жанъ-Жака и его антагонистами, между вѣрующихъ совершенію ума человеческого и невѣрующихъ“.

*) т.-е. развитіе.

„Между тѣмъ, по необходимому закону вещей, нравы и народы сближаются. Кіевскіе жители заимствуютъ новые обычаи и мнѣнія. Протечетъ немного времени—и вы увидите, что они теряютъ все доброе, что показываетъ въ нихъ юность рода человѣческаго; что они приобрѣтутъ нѣкоторыя блестящія качества, которыхъ имъ не доставало, но безъ которыхъ можно быть счастливымъ, и что съ сими качествами захватятъ они и развратности, сопряженныя съ дальнѣйшимъ шагомъ къ просвѣщенію.

Въ этихъ словахъ сказалось вліяніе Руссо, котораго Измайловъ очень цѣнилъ и называлъ *своимъ любезнымъ женевицемъ*. Но Измайловъ склоненъ былъ думать, что Руссо возставалъ не противъ наукъ вообще, а противъ полупросвѣщенія. Къ приведеннымъ выше строкамъ онъ прибавляетъ:

„Черта, которая раздѣляетъ совершенное просвѣщеніе отъ совершеннаго невѣжества, есть, можетъ быть, средняя черта между двумя крайними точками счастья. Не сіе ли посредственное состояніе ума и науки осуждалъ славный антагонистъ науки?“

Полупросвѣщеніемъ Измайловъ, какъ видно изъ его писемъ, называлъ то состояніе, когда люди, достигнувъ извѣстной внѣшней культурности и даже заведя у себя науки, не соединяютъ всего этого съ добродѣтелью. Онъ готовъ сдѣлать уступки скорѣе въ первомъ отношеніи, нежели во второмъ, и присутствіе добродѣтели считаетъ необходимымъ условіемъ для счастья общества. Осуществленіе счастливой жизни онъ нашелъ у сарептскихъ колонистовъ: у нихъ, правда, нѣтъ „важныхъ наукъ“, но зато внѣшняя европейская культура крѣпко соединена съ добродѣтелью — и потому жизнь этой общины представляется автору идеальной, и онъ такъ ее описываетъ (въ письмахъ CXLI и CXLIІ):

„Торжество человѣческихъ обществъ есть, конечно, общество евангелическое, котораго братья поселились у насъ на берегахъ Сарпы“.

„Гуляю въ убѣжищѣ новыхъ евангелистовъ и радуюсь на гражданскій и нравственный порядокъ колоніи, которая присвоила себѣ, съ наукою добродѣтелей, художества нашего философическаго вѣка“.

„Вообразите себѣ посреди дикихъ пустынь веселый городъ, украшенный не великолѣпными, но пріятными зданіями, съ малымъ числомъ людей, живущихъ безъ излишности изобилія, но безъ недостатковъ роскоши; счастливыхъ не блескомъ просвѣщенія, но простотою нравовъ; занятыхъ не важными науками, но полезными ремеслами. Вообразите себѣ уединенное убѣ-

жище, гдѣ укрываются добродѣтели, изгнанныя въ мірѣ, гдѣ семейство людей есть семейство братій: такова Сарепта*.

„Но воображеніе не представитъ себѣ никогда того, что глаза видятъ здѣсь. Не довольно читать самое вѣрное описаніе Сарепты: надобно видѣть ее. Колонія выстроена очень хорошо; домики въ два этажа, осыненные цвѣтущими раинами, занимаютъ площадь, къ которой примыкаютъ улицы, украшенныя также рядами пріятныхъ зданій. Здѣсь домъ директорскій, не превышая другихъ кровлею, величается одною смиренностью; тамъ прикасаются къ облакамъ одни тѣ дома, гдѣ воспитывается юношество и покоится вдовство *); далѣе, согласно съ бѣдностью жертвъ, приносимыхъ землею небу, стоитъ скромный храмъ молитвы; частныя жилища, фабрики, мастерскія улыбаются пріятно передъ глазами зрителя. Посреди площади, которая можетъ назваться средоточіемъ колоніи, вырытъ колодезь, изъ котораго вода проведена во всѣ кухни домовъ, чтобы быть всегда подъ рукою хозяина“.

„Подите по улицамъ, и вы встрѣтите на каждомъ шагу хозяйство трудолюбія и любовь къ порядку и тишинѣ. Спокойствіе въ домахъ, чистота даже на улицахъ, простота и опрятность въ одеждѣ каждаго человѣка, выраженіе сердца на всѣхъ лицахъ. Такимъ, какъ идетъ здѣсь каждый колонистъ въ темномъ фракѣ, съ кроткимъ видомъ и смѣлымъ шагомъ, надобно воображать себѣ истинно счастливаго человѣка, который, по мнѣнію Руссо, тихо наслаждается въ глубинѣ своего сердца мирнымъ положеніемъ жизни. Такою, какъ видишь здѣсь каждую сестру за рукодѣльемъ, въ легкомъ корсетѣ, съ однимъ простымъ чепчикомъ на головѣ, подвязаннымъ ленточкою подъ шею, и съ ангельскимъ взглядомъ невинности, воображалъ я всегда ту женщину, съ которою хотѣлъ бы раздѣлить мое сердце, жизнь и уединеніе“.

„Вы можете въ нѣсколько минутъ замѣтить всѣ главныя черты ихъ гражданскаго учрежденія“.

„Первый изъ начальниковъ встрѣчается на улицѣ съ послѣднимъ изъ ремесленниковъ **), и вы трогаетесь до слезъ, видя ихъ братскую привѣтливость, ихъ взаимныя ласки, ихъ кроткое смиреніе, которое удаляетъ всякое первенство сана“.

„Вы видите въ окно огонь, пылающій на очагѣ. Войдите изъ любопытства. Сарептянка въ фартукѣ бѣломъ, подобно снѣгу,

*) Домъ вдовій и домъ братскій—одни изъ лучшихъ, изъ огромнѣйшихъ въ колоніи. (Примѣч. Изм.).

**) Я говорю по-нашему, но нѣтъ нужды сказывать, что въ Сарептѣ всѣ ремесла равны и всѣ одинаково уважаются. (Примѣч. Изм.).

съ руками столь же бѣлыми, отправляетъ кухню такъ чисто, такъ хорошо, что сама Софія, столь гордая въ семь случаѣхъ, полюбила бы кухню *). Но кто жъ стряпаетъ? нанятая женщина, кухарка, служанка? Нѣтъ: сама хозяйка дома, мать многочисленнаго семейства и не послѣдняя въ обществѣ“.

„Остановитесь передъ окошкомъ чистаго домика, который манитъ васъ къ себѣ. Вамъ открывается прекрасная комната: нигдѣ не видно пылинки, все чисто и свѣтло; столы краснаго дерева; по стѣнамъ шкафы, и за стеклами лежатъ... что бы вы думали?.. хлѣбы. Это калашня“.

„Но вотъ мельница. Мельникъ отработалъ и зоветъ васъ къ себѣ въ гости. Комната его убрана со вкусомъ; на столѣ лежатъ двѣ или три книжки; въ углу стоятъ клавикорды, и хозяинъ—тотъ, который за минуту передъ тѣмъ ссыпалъ муку на мельницѣ, прикасается легкими пальцами къ тушамъ инструмента и играетъ передъ вами симфонію. Вы удивляетесь? но спросите всѣхъ тѣхъ, которые были въ Сарептѣ“.

Письмо СХLII. „Насталъ часъ утра: братья и сестры въ молчаніи и въ смиреніи приближаются къ дому молитвы, котораго величество состоитъ въ простотѣ, и все украшеніе.— въ одномъ образѣ Законодателя христіанъ. Мужчины садятся внизу, женщины вверху, въ особливомъ отдѣленіи, и одинъ изъ нихъ начинаетъ читать нравоучительныя главы изъ Библии. Съ первымъ словомъ, съ первымъ именемъ Бога, произнесеннымъ языкомъ проповѣдника, глубокое чувство воцаряется во всѣхъ сердцахъ, тишина во храмѣ, благоговѣніе на лицахъ. Кажется, что Божество нисходитъ къ смертнымъ“.

„Стою во храмѣ, внимаю великимъ истинамъ, возвѣщаемымъ именемъ Бога, и самъ преклоняю колѣна. Между тѣмъ чтеніе пресѣкается: хоръ мужчинъ, вмѣстѣ съ нѣжными женскими голосами, поетъ небесныя гимны, и ангельская гармонія переселяется, кажется, человѣка на небо“.

„Молитва кончится—и всѣ возвращаются въ дома свои къ руководѣлю, работамъ и должностямъ. Надзиратель идетъ пешимъ объ общемъ порядкѣ, мать семейства приправляетъ чадолюбивою рукою обѣденное кушанье, ремесленникъ работаетъ для удовольствія и для потребности: каждый платитъ долгъ свой общежитію—трудиться и покупать пропитаніе трудами рукъ своихъ“.

„Послѣ обѣда снова занимаются, снова работаютъ. Въ сіи

*) Руссо говоритъ въ своемъ „Эмилѣ“, что Софія чувствовала всегда отвращеніе заниматься кухнею. (Примѣч. Изм.).

часы дня весь городокъ есть одна мастерская... Дѣятельность есть душа міра. Кажется, что Сарепта тогда еще счастливѣе и веселѣе“.

„Вечеру дружеская искренность соединяетъ людей, иногда однихъ родныхъ, иногда и чужихъ. Они живутъ для тихихъ удовольствій и тѣмъ наполняютъ разговоры; тихо наслаждаются и тихо бесѣдуютъ. Вечерняя молитва, подобно утренней, при новомъ соединеніи братій и сестеръ, и встрѣча безмятежнаго сна, въ покоѣ ночи и совѣсти, заключаютъ кругъ ихъ мирнаго дня“.

„Такъ гернгутеры проводятъ день свой; такъ они проводятъ и всю жизнь свою. Такъ хотѣлъ бы провести хоть нѣсколько минутъ живущій на театрѣ шумнаго свѣта и незнакомый иногда съ тѣми тихими движениями, которыя посѣщаютъ сердца сихъ людей“ ¹⁾.

Другимъ подражателемъ „Писемъ русскаго путешественника“ былъ князь Шаликовъ (Петръ Ивановичъ, 1768—1852). Онъ написалъ нѣсколько путешествій, изъ которыхъ мы остановимся на одномъ только, а именно на „Путешествіи въ Малороссію“, изданномъ въ 1803 г. Это—маленькая книжечка, заключающая въ себѣ всего 43 письма. Но чему собственно подражалъ Шаликовъ?—Почти исключительно однимъ сентиментальнымъ изліяніямъ Карамзина, вслѣдствіе чего въ „Путешествіи въ Малороссію“ Малороссія-то и оказалась въ отсутствіи, а налицо только авторъ съ его различными чувствами, возбуждаемыми по большей части такими предметами, которые столько же могутъ встрѣтиться въ Малороссіи, сколько и во многихъ другихъ мѣстахъ. Это отсутствіе главного предмета въ письмахъ Шаликова видно уже изъ самыхъ ихъ заглавій: 1) „Выѣздъ“, 2) „Разсужденіе“, 3) „Встрѣча“, 4) „Другъ“, 5) „Торжество невинности“, 6) „Буря“, 7) „Усыновленіе“, 8) „Кофе“, 9) „Сладкія воспоминанія“, 10) „Общество“, 11) „Весна“, 12) „Горестный образъ“, 13) „Манускриптъ“, 14) „Угощеніе“, 15) „Любимецъ фортуны“ и т. п.

Сдѣлавъ свое „Путешествіе“, сравнительно съ письмами не только Карамзина, но даже и Измайлова, совершенно ничтожнымъ въ смыслѣ описанія страны, Шаликовъ и въ сентиментальныхъ изліяніяхъ стоитъ ниже автора „Писемъ русскаго путешественника“. Правда, объектами его чувствительности являются, какъ и у Карамзина, природа, дружба, добродѣтель, людское горе,—но зато у Шаликова нѣтъ тѣхъ горячихъ рѣчей о просвѣщеніи, которыя такъ часто встрѣчаются въ письмахъ издателя Московскаго журнала. О природѣ же, дружбѣ и добродѣтели Шаликовъ говоритъ вотъ, напримѣръ, въ какихъ выраженіяхъ.

„Природа, природа! что лучше, что милѣ тебя“... Съ тобою, въ объятіяхъ твоихъ все совершеннѣе! Радость ли, счастье ли—сердце наслаждается свободнѣе, сильнѣе; любовь ли, дружба ли—душа блаженствуетъ нераздѣльнѣе, полнѣе; красавица ли гуляетъ на зелени—она кажется богиней; дѣти ли бѣгутъ по лугу—они кажутся Амурами... Все такъ интересно, такъ привлекательно... И человѣкъ можетъ скучать природою! можетъ добровольно заключить себя въ угрюмомъ, хладномъ городѣ тогда, когда она предлагаетъ ему безчисленные веселія!... Неблагодарные!“ (Письмо XI-е).

„Падаю на колѣна предъ Вездѣсущимъ, и вѣнимъ благодарности возжигаю въ сердцѣ моемъ!—Ахъ! какой даръ для человѣка дружба! какое благо для него другъ!... Горе. горе тому, кто одинъ въ мірѣ—въ семъ печальномъ, слезномъ мірѣ!... (Письмо IV-е).

„Добродѣтель, святая добродѣтель!... во всякомъ мѣстѣ, во всякомъ состояніи добродѣтель равно прелестна, равно лучезарна—и мы вездѣ должны поклоненіемъ ей!“ (Письмо XIV-е).

„Для истиннаго счастья ничего иного не надобно, какъ здравый разсудокъ и неиспорченное сердце“ (Письмо X-е).

Въ письмѣ XII-мъ встрѣчаемъ слѣдующее сочувствіе людскому горю:

„Слушая однажды обѣдно въ сельскомъ храмѣ, я взглянулъ на стоящихъ подлѣ меня крестьянъ—и увидѣлъ множество горбатыхъ между ними; одежда и лица доказывали, что они гораздо бѣднѣе другихъ.—Я захотѣлъ узнать достовѣрнѣе о состояніи ихъ—узналъ, и полуцыркульные ихъ спины показались мнѣ самымъ простымъ феноменомъ... Ахъ! радость и счастье *поднимаютъ* вверхъ голову нашу, а нищета и горестъ *наклоняютъ* ее внизъ! Взгляните на любимца фортуны: онъ не думаетъ о томъ, что у него подъ ногами; онъ увѣренъ, что ходитъ по коврамъ, по розамъ—и шея его не имѣетъ никакой нужды сгибаться. Взгляните теперь на печальную противоположность—взгляните на забытаго людьми и рокомъ: пониклый, мрачный взоръ его устремленъ на землю; онъ ищетъ на ней... могилы, единственной отрады жизни своей!... Обманчивая надежда не распрямляетъ уже стана его... Горестный образъ!“

Сентиментализмъ Шаликова очень часто доходитъ до крайности—до приторности. Такимъ является онъ, напримѣръ, въ письмѣ: „Фортепіано“.

„Въ тихія, нѣжныя минуты вечера, въ уединенной комнатѣ, при блѣдномъ свѣтѣ луны, томные звуки фортепіано, произво-

димые женщиной — въ слезахъ... ничего не знаю трогательнѣе этого! Ахъ! какія магическія чувства овладѣютъ душою и сердцемъ вашимъ! Образъ счастья и горести, надежды и отчаянія въ сліянныхъ чертахъ предстанетъ вашему воображенію. Напрасно будете стараться отдѣлать одно отъ другого: нѣтъ возможности! Союзъ улыбки и слезы—доля человѣческая!—въ сіи минуты болѣе, нежели когда-нибудь, покажется вамъ неразрывнымъ. Ежели вы любили; ежели вы узнали сію главную, необходимую бурю, то вы еще чувствительнѣе, то вы еще болѣе находите себя въ очарованіи. О сердце! о любовь! благо ли вы, или мука? кто можетъ сказать да или нѣтъ—сказать и не ошибиться? Гдѣ же блаженство наше? неужели *блаженство* пустое слово? Ахъ, нѣтъ! сердце и любовь... но роза *не могла* быть безъ тернія! Вдыхаю и простираю руки къ блаженству; лью слезы и объеблю его!..“

„Одной изъ дамъ моихъ обязанъ я сладостью теперешнихъ моихъ чувствъ и мыслей. Ея фортепіано и слезы — слезы женщины за фортепіаномъ—вообразите еще разъ!—имѣли несказанную прелесть для души и сердца моего! Ахъ, можетъ быть собственная душа и сердце ея въ сіи минуты были счастливѣе, нежели въ другія!“ ²⁾

Князь Шаликовъ, кромѣ путешествій, написалъ много и другихъ статей сентиментальнаго характера—и вездѣ почти сентиментализмъ у него доведенъ до крайности. Современники надъ нимъ стали смѣяться, называли его сладенькимъ и розовымъ, писали на него ѣдкия эпиграммы, въ которыхъ его называли Вдыхаловымъ, Нуликовымъ и даже „кондитеромъ литературы.“ Но исторія нашла и за Шаликовымъ извѣстную долю заслуги. Галаховъ замѣчаетъ, что въ произведеніяхъ его „за смѣшными формами сентиментализма стоитъ очень почтенное дѣло—гуманность“, и прибавляетъ: „Сентиментальность противодѣйствовала грубости нравовъ. Какъ ни забавны и ни скучны мечтанія, вздохи и слезы чувствительнаго пастушка, но все же они сносятъ похвальныхъ пѣсней татарской силъ и безцеремонному обхожденію въ семьѣ и въ обществѣ“ ³⁾.

Такимъ образомъ, въ первые годы XIX-го столѣтія сентиментальныя произведенія были у насъ явленіемъ, пожалуй, еще болѣе распространеннымъ, нежели въ концѣ предыдущаго вѣка.

Теперь обратимся къ другимъ поклонникамъ Карамзина изъ среды старшаго поколѣнія писателей Александровской эпохи. Между ними видное мѣсто принадлежитъ Дмитріеву и Василю

Львовичу Пушкину. Впрочемъ поклоненіе Карамзину обоемъ имъ не мѣшало высоко чтить и Ломоносова, и Державина, и Хераскова, а Дмитріеву—даже и подражать этимъ корифеямъ прежней нашей литературы.

II. Дмитріевъ (1760 — 1837).

„Взглядъ на мою жизнь“, какъ одно изъ наиболѣе цѣнныхъ произведеній Дмитріева.—Краткая внѣшняя его біографія.—Его воспитаніе, образованіе и вліяніе на него литературы иностранной и русской.—Отношеніе его къ нашимъ писателямъ старымъ и новымъ.—Его розовый взглядъ на старину и, не смотря на это, его умѣренный консерватизмъ.—Черты личности Дмитріева, родившія его съ тѣми писателями, вліянію которыхъ онъ поддавался.

Литературная дѣятельность Дмитріева далеко не вся принадлежитъ Александровской эпохѣ: онъ, подобно Карамзину, вступилъ въ XIX-й вѣкъ писателемъ, уже пользующимся большой извѣстностью, и имя его, послѣ имени Карамзина, было самымъ тогда популярнымъ и оставалось такимъ очень долго. Какъ проза автора „Писемъ р. путешественника“ считалась у огромнаго большинства современниковъ образцовой, такъ образцовыми считались и стихи Дмитріева. Но какъ ни громка была въ свое время его слава, какъ поэта, многіе и даже очень многіе стихи его послѣдующими поколѣніями забылись, и гораздо цѣннѣе этихъ забытыхъ стиховъ признаются составленныя Дмитріевымъ въ 1823—1825 гг. записки, извѣстныя подъ заглавіемъ: „Взглядъ на мою жизнь“. Въ нихъ, кромѣ фактовъ автобіографическихъ, есть много такого, что обрисовываетъ пережитую авторомъ эпоху, а потому записки эти и до сихъ поръ читаются не безъ интереса. Въ нихъ отразились многія черты изъ временъ императрицы Екатерины II и императоровъ Павла и Александра I. Авторъ рассказываетъ тутъ, между прочимъ, и о „коварныхъ царедворцахъ“ и объ интригахъ въ высшемъ чиновничьемъ мірѣ, и то тамъ, то сямъ указываетъ на людей, отличавшихся отчасти Фамусовскими приемами устраивать свое положеніе въ свѣтѣ. Такъ, напримѣръ, упомянувъ о томъ, что императоръ Павелъ „любилъ называться на балы своихъ вельможъ,“ Дмитріевъ продолжаетъ: „Тогда, на-перерывъ другъ передъ другомъ, истошаемы были всѣ способы къ приданію пиршеству большаго блеска и великолѣпія. Но вся эта наружная веселость не заглушала и въ хозяевахъ и въ гостяхъ скрытнаго страха и не мѣшала коварнымъ царедворцамъ строить ковы другъ противъ друга, выслуживаться тайными доносами и возбу-

ждать недовѣрчивость въ государѣ, по природѣ добромъ, щедромъ, но вспыльчивомъ. Оттого происходили скоропостижныя паденія чиновныхъ особъ, внезапныя высылки изъ столицы даже и отставныхъ изъ знатнаго и средняго круга, уже нѣсколько лѣтъ наслаждавшихся спокойствіемъ скромной, независимой жизни“ ⁴⁾. Въ другомъ мѣстѣ своихъ записокъ Дмитріевъ такъ характеризуетъ чиновничій міръ временъ того же императора: „Со вступленіемъ моимъ въ гражданскую службу, я будто вступилъ въ другой міръ, совершенно для меня новый. Здѣсь и знакомства и ласки основаны по большей части на расчетахъ своекорыстія; эгоизмъ господствуетъ во всей силѣ; образъ обхожденія непрестанно измѣняется, наравнѣ съ положеніемъ каждаго. Товарищи не уступаютъ кокеткамъ: каждый хочетъ исключительно прельстить своего начальника, хотя бы то было на счетъ другого. Нѣтъ искренности въ отвѣтахъ: ловятъ, помнятъ и передаютъ каждое неосторожное слово“ ⁵⁾. Чѣмъ выше подымался Дмитріевъ по ступенямъ своей служебной карьеры, тѣмъ болѣе замѣчалъ онъ темныя стороны высшей бюрократіи. Сказавъ о назначеніи своемъ въ 1798 г. дѣйствительнымъ оберъ-прокуроромъ Сената, онъ прибавляетъ: „Отсюда начинается ученичество мое въ наукѣ законовѣдѣнія и знакомство съ происками, эгоизмомъ, надменностью и раболѣпствомъ двумъ господствующимъ въ наше время страстямъ: любостыжанію и честолюбію“ ⁶⁾.

Само собой разумѣется, что „коварные царедворцы“ временъ Павла не стали лучшими и въ Александровскую эпоху. „Большая часть вельможъ“,—замѣчаетъ авторъ записокъ, говоря объ этой эпохѣ, — „держатся одного правила: уважать только того, кого боишься, или отъ кого надѣешься получить какую-либо выгоду; быть глухимъ и нѣмымъ насчетъ добраго дѣла своего ближняго и нескромнымъ при случаѣ малѣйшаго его промаха. Не распространяясь далѣе, изобразимъ свойство сего круга одною чертою“. И Дмитріевъ рассказываетъ о слѣдующемъ, бывшемъ съ нимъ весьма характерномъ случаѣ:

„Въ день Свѣтлаго Воскресенья я слушалъ заутреню и обѣдню въ дворцовой церкви, и остался съ нѣкоторыми во дворцѣ ожидать обѣденнаго стола. Между тѣмъ пришло мнѣ на умъ спросить одного изъ старѣйшихъ въ нашемъ кругѣ ⁷⁾, не требуетъ ли дворскій этикетъ, или свѣтское приличіе, поздравить съ наступившимъ праздникомъ принцессу Амалію, сестру императрицы, и принца съ принцессою Виртембергскихъ, имѣвшихъ во дворцѣ свое пребываніе. Онъ рѣшительно сказалъ мнѣ, что его

*и нога не бывала у нихъ. Потомъ я обратился къ другому: тотъ отвѣчалъ, что онъ право не знаетъ, что сказать на мой вопросъ; по крайней мѣрѣ самъ никогда того не дѣлалъ. Я рѣшился идти наудачу; но, встрѣтя въ сѣняхъ добраго маркиза де-Траверсе, предложилъ ему быть моимъ спутникомъ. «Съ радостью пошелъ бы съ вами, отвѣчалъ онъ:—но лишь только теперь былъ у нихъ вмѣстѣ съ графомъ**»—съ тѣмъ самымъ, который *никогда того не дѣлалъ!!* Итакъ я, придворный новичокъ, уже смѣло устремился къ моей цѣли—и нашелъ въ передней комнатѣ обѣихъ принцессъ на столѣ по листу для записыванія поздравителей, и на обѣихъ листахъ имена моихъ *безпечныхъ*, которыхъ *и нога тамъ не бывала*.—Какъ назвать этотъ поступокъ? Почти невинною привычкою во всякомъ случаѣ, даже и въ неважномъ, выставлять себя и затирать другого. Промакъ мой не имѣлъ бы никакого послѣдствія, а все бы пріятно было для нихъ, если бы я сдѣлалъ промакъ. Сколько хитростей, даже и мелочей въ дворской наукѣ!“ »)*

Вслѣдствіе всего этого Петербургъ Дмитріевъ называлъ „страною эгоизма“, и былъ очень доволенъ, когда, окончательно оставивъ службу, очутился подъ кровлею своего родного симбирскаго домика.

Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ, землякъ и другъ Карамзина, родился въ 1760 г. въ Симбирской губерніи, въ родовомъ имѣніи своего отца—селѣ Богородскомъ, близъ Сызрани. По тогдашнему обычаю, еще въ дѣтствѣ былъ записанъ въ военную службу, которую и началъ нести съ 1774 г. въ Петербургѣ, въ Семеновскомъ полку. По вступленіи на престолъ императора Павла оставилъ эту службу съ чиномъ полковника и перешелъ на гражданскую. Въ 1798 г. Дмитріевъ, какъ уже знаемъ, былъ дѣйствительнымъ оберъ-прокуроромъ Сената, а въ новое царствованіе получилъ званіе сенатора и въ 1810 г. былъ назначенъ министромъ юстиціи. Уже этотъ краткій послужной списокъ показываетъ, что Дмитріевъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ писателей, у которыхъ главной дѣятельностью были литературныя занятія: писательствомъ онъ занимался урывками, и, въ противоположность усидчивому Карамзину, не могъ, по его собственному признанію, даже и въ зрѣломъ возрастѣ высидѣть за бумагой около часа: „нетерпѣливъ былъ обдумывать предпринимаемую работу“, говоритъ онъ о себѣ. „При малѣйшемъ упорствѣ рѣшима, при малѣйшемъ затрудненіи въ краткомъ и ясномъ изложеніи мыслей

моихъ, я бросалъ перо въ ожиданіи счастливѣйшей минуты: мнѣ казалось унизительнымъ ломать голову надъ парюю стиховъ и насиловать самого себя, или самую природу“ ⁹⁾. Въ 1814 г. онъ оставилъ службу и поселился въ Москвѣ, гдѣ и умеръ въ 1837 г., доживъ до 77 лѣтъ. Похороненъ на московскомъ Донскомъ кладбищѣ.

Годы воспитанія и образованія Дмитріева протекли слѣдующимъ образомъ. Семилѣтнимъ ребенкомъ отвезли его въ Казань учиться въ пансіонѣ французскаго мѣщанина Манженя, а скоро затѣмъ отдали въ новый пансіонъ, открытый въ Симбирскѣ бывшимъ воспитанникомъ кадетскаго корпуса, отставнымъ поручикомъ Кадритомъ. Тутъ Дмитріевъ, вмѣстѣ съ старшимъ братомъ своимъ Александромъ, обучался языкамъ, французскому и нѣмецкому, русскому правописанію и слогу, исторіи, географіи и математикѣ. Особенно охотно занимался онъ исторіей и сочиненіемъ писемъ на заданную Кадритомъ тему. Но ученіе это продолжалось недолго, „Дошли“—разсказываетъ Дмитріевъ—„до отца моего слухи, что умный и добрый Кадритъ, которому тогда было 26 лѣтъ, платилъ дань слабостямъ своего возраста. Онъ испугался послѣдствія худыхъ примѣровъ, и взялъ насъ изъ пансіона. Итакъ, на одиннадцатомъ году моей жизни прекратился рѣшительно курсъ моего ученія, когда я во французскомъ языкѣ не дошелъ еще до синтаксиса, а въ нѣмецкомъ остановился на глаголахъ“ ¹⁰⁾. Далѣе образованіе продолжалось уже самоучкой—путемъ чтенія.

Нечего и говорить, что съ французской литературой Дмитріевъ сталъ знакомиться очень рано. Еще въ пансіонѣ Манженя онъ прочелъ повѣсти Скаррона, Жильблaza де-Сантильяна и романъ аббата Прево д'Экзиль: „Приключенія маркиза Г**“, или Жизнь благороднаго человѣка“ (*Mémoires de l'homme de qualité*), въ шести частяхъ. О послѣднемъ произведеніи въ запискахъ Дмитріева читаемъ: „По этой книгѣ я получилъ первое понятіе о французской литературѣ: читая, — помнится мнѣ, въ третьемъ томѣ—описаніе ученой вечеринки, на которую молодой маркизъ и наставникъ его приглашены были въ Мадритъ, въ первый разъ я услышалъ имена Мольера, Буало, Лопецъ де-Вега, Расина и Кальдерона, критическое объ нихъ сужденіе, и захотѣлъ узнать и самыя ихъ сочиненія; этому же роману обязанъ я и тѣмъ, что началъ понимать и французскія книги“ ¹¹⁾. Достигъ этого Дмитріевъ слѣдующимъ заслуживающимъ подражанія образомъ: дочитавъ четвертый томъ Похожденій маркиза Г**, онъ узналъ

что послѣднихъ двухъ томовъ еще нѣтъ въ русскомъ переводѣ. Долго онъ грустилъ, что долженъ оставаться въ неизвѣстности объ участи героевъ, и только во время пребыванія его уже въ Симбирскѣ одинъ изъ знакомыхъ его отца, порывшись въ своихъ французскихъ книгахъ, подарилъ ему два послѣднихъ тома романа Прево. „Этотъ день“—говоритъ авторъ записокъ—„былъ для меня праздникомъ! Но радость моя была минутная: въ первый же вечеръ схватилъ я пятый томъ, пробѣжалъ въ немъ первую страницу—и понялъ только нѣсколько словъ, изрѣдка—легкую фразу, и не могъ еще понимать полного содержанія періода. Но чего не преодолеваютъ настойчивость и терпѣливость? Я положилъ, съ помощію Вояжирова лексикона, непременно прочитатъ отъ доски до доски оба тома. Приступя къ исполненію, я день отъ дня сталъ понимать болѣе; при чтеніи шестого тома уже я почти не имѣлъ нужды въ лексиконѣ. Наконецъ этотъ отважный подвигъ былъ эпохою, съ которой началъ я читать французскія книги уже не по неволѣ, а по охотѣ, и впоследствии уже могъ переводить Лафонтена“ ¹²⁾. Тутъ же Дмитріевъ, подобно Карамзину, заявляетъ, что чтеніе романовъ хорошо вліяло на его нравственность: они, по его выраженію, были для него „антиподомъ противу всего низкаго и порочнаго“. Приключенія маркиза Г**, говоритъ онъ, возвышали его душу. Нѣсколько позднѣе, уже будучи въ военной службѣ, Дмитріевъ увлекся легкой французской поэзіей: „прилѣпился къ вѣтреному Дорату ¹³⁾ и его товарищамъ“. Еще позднѣе, а именно около того времени, когда Карамзинъ принялся за изданіе „Московского журнала“, его усердный сотрудникъ „началъ изучать басенниковъ“, въ особенности Лафонтена и Флоріана ¹⁴⁾. Увлеченіе легкой французской поэзіей и „басенниками“ имѣло, какъ увидимъ, большое вліяніе на поэтическую дѣятельность Дмитріева: онъ самъ прославился у современниковъ своими баснями и легкими, игривыми стихами.

Рано началось знакомство Дмитріева и съ русскими поэтами. Разсказъ его о первыхъ впечатлѣніяхъ отъ твореній Сумарокова и Ломоносова такъ интересенъ, что мы не можемъ не привести его цѣликомъ.

„Матушка“ — пишетъ Дмитріевъ — „любила стихотворенія А. П. Сумарокова. Живучи въ Петербургѣ, она лично знала его. Поэтъ былъ въ короткомъ знакомствѣ съ роднымъ братомъ ея, Никитою Аванасьевичемъ Бекетовымъ. Не считая трагедій „Гамлета“, „Хорева“, „Синава и Трувора“ и „Артистоны“, получен-

ныхъ ею въ подарокъ отъ самого автора, она знала наизусть многія изъ другихъ его стихотвореній. Мнѣ очень памятна минута, когда она въ деревнѣ пересказывала оду его, посвященную Петру Великому. Матушка сидѣла на канapé за ручною работою, а старшій братъ мой противъ нея на подножной скамеечкѣ, и, держа на колѣняхъ листъ бумаги, онъ записывалъ карандашомъ стихъ за стихомъ; я же, стоя за нимъ, слушалъ съ большимъ вниманіемъ, хотя и не все понималъ. Это было еще до вступленія нашего во второй пансіонъ, и тогда я, едва ли не въ первый разъ, услышалъ имена *Париса* и *Авроры*, но помню, что при одномъ произношеніи словъ *златого вѣка*, *утѣшенія*—я находилъ въ этихъ стихахъ какую-то неизъяснимую для меня прелесть, гармонію, и послѣ нѣскольکو разъ упрашивалъ брата повторить ихъ, чтобы я могъ вытвердить ихъ наизусть. Съ какимъ удовольствіемъ вспоминалъ я эти стихи, и вмѣстѣ мое дѣтство, когда чрезъ нѣскольکو лѣтъ послѣ того, бывши унтеръ-офицеромъ въ петергофской командѣ, увидѣлъ я въ первый разъ Монъ-Пле-зиръ и открытое море! Съ той минуты, пока находился въ Петергофѣ, почти всякое утро я встрѣчалъ восходящее солнце у домика Петра Великаго. Опершись на перилы, то глядѣлъ я на синее море, на едва видимый флотъ съ Кронштадтской рейды, то оборачивался къ домику, осыненному столѣтними липами, и мысленно повторялъ—уже съ благоговѣйнымъ умиленіемъ не къ стихамъ, но къ виновнику вдохновенія:

Домикъ, что при самомъ морѣ,
Гдѣ *Парисъ* въ *златой* жилъ вѣкъ,
Собесѣдую *Аврору*.
Утѣшеніемъ нарекъ.

Столь же пріятно мнѣ вспоминать одинъ вечеръ Великой Субботы, проведенный отцомъ моимъ посреди нашего семейства за чтеніемъ. Это также происходило въ деревнѣ, уже по выходѣ моемъ изъ послѣдняго пансіона. Въ ожиданіи заутрени, отецъ мой, для прогнанія сна, вынесъ изъ кабинета собраніе сочиненій Ломоносова, и началъ читать вслухъ извѣстныя строфы изъ *Іова*; потомъ „Вечернее размышленіе о величествѣ Божіемъ“, въ которомъ два стиха:

Открылась бездна, звѣздъ полна;
Звѣздамъ числа нѣтъ, безднѣ дна

произвели во мнѣ новое, глубокое впечатлѣніе. Чтеніе заключено было одою на взятіе Хотина. Слушая первую строфу, я будто перешелъ въ другой міръ; почти каждый стихъ возбуждалъ во

мнѣ необыкновенное вниманіе, хотя и неизвѣстно мнѣ еще было, о какой говорится горѣ:

Гдѣ вѣтръ въ дѣсахъ шумѣть забылъ;
Въ долину тишина глубокой;
Внимая ничто, ключъ молчитъ, и проч.

Потомъ третій стихъ въ девятой строфѣ:

Мурза упалъ на долгу тѣни

полюбился мнѣ вѣрностью изображенія. Тогда пришло мнѣ на память, какъ, бывши еще ребенкомъ и гуляя съ мамкою по двору, забавлялся видомъ долгой тѣни своей.

Но послѣдніе четыре стиха девятой строфы:

Надъ войскомъ облакъ вдругъ развился,
Блеснулъ горящимъ вдругъ лицомъ;
Омытымъ кровію мечомъ
Гоня враговъ, герой открылся,

особенно же послѣдніе два въ двѣнадцатой:

Свилася мгла, герои въ ней;
Не зрѣть ихъ око, слухъ не чуеъ



исполнили меня священнымъ благоговѣніемъ. Я будто расторгъ пелены дѣтства, узналъ новыя чувства, новое наслажденіе, и прельстился славою поэта" ¹⁵⁾.

Еще до поступленія въ военную службу началъ знакомиться Дмитріевъ и съ сочиненіями Хераскова. Эти три корифея нашей литературы XVIII-го вѣка, особенно Сумароковъ и Херасковъ, нравились Дмитріеву не только въ ту пору, когда онъ не успѣлъ еще „прилѣпиться“ къ вѣтреному Дорату,—но и въ тѣ годы его жизни, когда уже были очень извѣстны имена Жуковского и Пушкина. Въ запискахъ своихъ онъ сказалъ въ одномъ мѣстѣ: „Сумароковъ и понынѣ въ глазахъ моихъ—поэтъ необыкновенный“, а въ другомъ, все еще помня критику Строева ¹⁶⁾, который въ 1815 году, въ журналѣ: „Современный Наблюдатель российской словесности“, первый рѣшился отнестись отрицательно къ произведеніямъ Хераскова, авторъ этихъ записокъ выразилъ свое негодованіе на молодое поколѣніе за то, что оно „столь нагло уничтожаетъ творца Россіады“ ¹⁷⁾.

Поэзія Державина стала извѣстна Дмитріеву еще съ 1776 года. Онъ, какъ самъ говоритъ, „всегда былъ искреннимъ почитателемъ высокаго поэтическаго таланта“ Державина и называлъ его „единственнымъ у насъ живописцемъ природы“ ¹⁸⁾.

Само собою разумѣется, что такое поклоненіе авторамъ,

писавшимъ въ высокомъ стилѣ, должно было имѣть вліяніе и на литературныя занятія самого Дмитріева. И дѣйствительно, легкія сказки и басни перемежались у него произведеніями то патріотическаго, то религіознаго характера, въ духѣ подобныхъ же произведеній Ломоносова, Сумарокова, Хераскова и Державина.

Понятно также, что на Дмитріевъ не могло не отразиться и вліяніе Богдановича, его предшественника въ легкой поэзіи: сказка Дмитріева „Причудница“ есть подражаніе Вольтеру; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ ней многое напоминаетъ и „Душеньку“ Богдановича.

Теперь, раньше чѣмъ перейти къ вопросу о томъ, какъ относился Дмитріевъ къ произведеніямъ Карамзина, надо сказать, что авторъ пѣсни о голубкѣ тоже былъ склоненъ и къ мечтательности и къ чувствительности, что видно уже изъ его записокъ. Въ одномъ мѣстѣ ихъ находимъ такой разсказъ:

„Никогда не забуду меланхолическаго, но какъ-то пріятнаго впечатлѣнія, испытаннаго мною однажды въ положеніи путника. Съ наступленіемъ вечера вѣзжаю я въ околицу большого селенія, и нагоняю толпу поселянъ обоего пола, возвращающихся съ полевой работы. Черезъ всю деревню я велѣлъ ѣхать шагомъ, чтобъ не разлучиться мнѣ съ ними. Долго слѣдовали они за мною и оглушали меня своими пѣснями, потомъ разсыпались въ разныя стороны; между тѣмъ я продолжаю путь мой, и веселыя пѣсни еще отзываются въ ушахъ моихъ. Достигаю до конца селенія, и вижу поселянина, въ глубокой старости, сидящаго на завалинкѣ послѣдней хижины и держащаго на колѣняхъ своихъ младенца. Вѣроятно, это былъ внукъ его. Старикъ глядѣлъ спокойно; послѣдніе лучи солнца падали на обнаженное темя его. Путешествіе, младенецъ въ противоположности съ старцемъ, поющая молодежь, закатъ солнца — все это представило мнѣ яркую картину жизни во всѣхъ возрастахъ и конецъ ея. Я не однажды разсказывалъ объ этой сценѣ знакомымъ мнѣ рисовальщикамъ и живописцамъ: мнѣ хотѣлось возбудить въ нихъ желаніе составить изъ моего описанія иносказательную картину, но разсказъ мой не подѣйствовалъ на ихъ сердце“ ¹⁹⁾.

Присоединимъ къ этому еще тѣ строки, въ которыхъ Дмитріевъ говоритъ, что онъ любилъ наслаждаться „живописными видами, голубымъ небомъ, кроткимъ сіяніемъ солнца, внѣшнимъ и внутреннимъ спокойствіемъ, любилъ „давать волю своимъ мечтамъ“ ²⁰⁾, — и мы поймемъ, что произведенія Карамзина должны были нравиться Дмитріеву и поддерживать въ немъ сентимен-

тальное настроеніе. И настроеніе это отразилось въ его поэзіи, и не только въ его пѣсняхъ, но и во многихъ пьескахъ иного рода.

Когда Карамзинъ началъ издавать „Московскій журналъ“, Дмитріевъ сдѣлался его сотрудникомъ и на первый разъ отдалъ издателю всѣ свои стихотворенія, предоставивъ выборъ его личному вкусу. Выбранное Карамзинъ напечаталъ въ первыхъ трехъ частяхъ своего журнала, и выборъ этотъ былъ для Дмитріева какъ бы урокомъ, разъяснившимъ ему, что хорошо и что дурно въ его творествѣ. Такъ по крайней мѣрѣ думалъ самъ Дмитріевъ, и въ запискахъ своихъ сказалъ, что съ четвертой части „Московского журнала“ начался уже новый періодъ его поэзіи ²¹⁾. Съ этихъ поръ Дмитріевъ сталъ смотрѣть на Карамзина, какъ на высокій литературный авторитетъ. „Ничье одобреніе“ — заявляетъ онъ — „столько не льстило моему самолюбію, какъ одинъ привѣтливый взглядъ Карамзина... Съ какимъ нетерпѣніемъ ожидалъ отъ него отзыва! Съ какой радостію получалъ его! Съ какимъ удовольствіемъ видѣлъ стихи мои уже въ печати! Каждое нисъмо моего друга было поощреніемъ для дальнѣйшихъ стихотворныхъ занятій“ ²²⁾. Время, когда Карамзинъ издавалъ свои журналы — „Московскій“ и „Вѣстникъ Европы“, — было самымъ горячимъ временемъ и литературныхъ занятій Дмитріева. „Кажется“, — говоритъ онъ, — „будто мнѣ суждено было тогда только воспламеняться поэзіей, когда Карамзинъ издавалъ журналы... Съ пресѣченіемъ „Московского журнала“ охолодѣло во мнѣ соревнованіе... Съ появленіемъ „Вѣстника Европы“ въ 1802 году, я обратился опять къ музамъ... Съ переходомъ его въ другія руки, я писалъ уже рѣдко и мало“ ²³⁾.

Вліяніе Карамзина на Дмитріева выразилось не только въ поддержкѣ и поощреніи сентиментальнаго настроенія въ своемъ сотрудникѣ, но и въ воздѣйствіи на его слогъ. Дмитріевъ едва ли не первый оцѣнилъ преобразованія Карамзина въ нашемъ литературномъ языкѣ и сталъ его разумнымъ послѣдователемъ, хотя изъ того еще не вытекаетъ, что онъ совершенно отказался отъ „высокаго штиля“ Ломоносова для тѣхъ своихъ произведеній, гдѣ велъ рѣчь о „матеріяхъ важныхъ“.

Это совмѣстное сочувствіе и Карамзину и писателямъ, ему предшествовавшимъ, довольно ясно отразилось въ посланіи Дмитріева къ своему другу, написанномъ въ 1795 году, т. е. въ томъ году, когда истребившій Сызрань пожаръ не пощадилъ и родного дома Дмитріева, его „отческаго крова“, вслѣдствіе чего поэтъ



находился тогда въ сильно грустномъ настроеніи. Въ этомъ настроеніи онъ писалъ Карамзину:

Какихъ же пѣсней ждать отъ сердца огорченна?
Печальныхъ. — Но почто мнѣ граціямъ скучать,
Когда твой нѣжный гласъ ихъ будетъ улаждать?
Пускай онъ твое „Посланіе“ *) читаютъ,
И розовый вѣнокъ любимцу соплетаютъ.
Пускай Херасковъ, мужъ, отъ дѣтства чтимый мной,
То въ міръ Фантазіи путь кажетъ за собой,
То къ райскимъ красотамъ на небо воскищаетъ,
То на цвѣтушій берегъ Пеняя провождаетъ,
И, даже въ зиму дней умою еще цвѣта,
Манитъ на лирный гласъ крылатое дитя,
И съ кротостью влечетъ, нѣжнѣйшихъ чувствъ владѣтель,
Любить поэзію, себя и добродѣтель.
Пускай Державинъ всѣхъ въ восторгъ приводитъ духъ;
Пускай младый герой, къ нему склоняя слухъ,
Пылаетъ и дрожитъ, и ищетъ алчнымъ взглядомъ
Копья, чтобы летѣть потрясть землей и адомъ.
Притворства и въ стихахъ казать я не хочу:
Поется мнѣ — пою; невесело — молчу
И слушаю другихъ... **).

Но Херасковъ, Державинъ, Карамзинъ — это все писатели старшихъ поколѣній. Дмитріевъ, умершій 3-го октября 1837 г., былъ современникомъ и писателей позднѣйшихъ: Жуковского и Пушкина. Послѣдняго онъ даже пережилъ нѣсколькими мѣсяцами. Можно бы думать, что у него, писавшаго въ свое время посланія къ Державину и Карамзину и стихи къ портрету Хераскова, найдется что-нибудь, гдѣ бы онъ высказался о новыхъ поэтахъ. Но Дмитріевъ молчалъ о нихъ. Правда, онъ въ послѣднія 25 лѣтъ своей жизни писалъ очень мало, но все же, если бы поэзія Пушкина и Жуковского захватывала его, онъ сказалъ бы что-нибудь о ней. Между тѣмъ среди произведеній его мы находимъ лишь единственное стихотвореніе, въ которомъ говорится о Жуковскомъ, и то не по поводу его романтическихъ произведеній, а по поводу его оды на взятіе Варшавы, написанной (въ 1831 г.) въ воинственно-патріотическомъ духѣ. Словно это только стихотвореніе пришлось по вкусу Дмитріева, напомнило ему его собственныя оды на побѣды — и онъ написалъ слѣдующіе стихи, посвященные Жуковскому (въ томъ же 1831 г.):

Была пора, питомецъ русской славы,
И я вослѣдъ Державину пѣвалъ

*) Посланіе къ женщинамъ (Примѣч. Дмитр.).

Фелицы мощь, погромъ и стонъ Варшавы, —
Рекла — и бысть: и Польши тронъ упаль.

Пришла пора... увянуль, сталъ безгласенъ,
И лиру прахъ въ углу моемъ покрыль;
Но прочь свое! мой вечеръ тихъ и ясенъ:
Побѣды гласъ меня одушевилъ.

Взыграй же духъ! Жуковскій, дай мнѣ руку!
Пускай съ пѣвцомъ воскликнетъ патриотъ:
Хвала и честь Екатерины внуку!
Съ нимъ русскій лавръ прозябаетъ въ родъ и родъ.

Что же касается Пушкина, то Дмитриевъ упоминаетъ о немъ только въ своихъ запискахъ, и то мимоходомъ, восхваляя Хераскова. Вотъ строки, въ которыхъ упомянуто имя этого великаго поэта: „Херасковъ, писавшій «Россiяду» девять лѣтъ, награжденъ былъ за трудъ свой отъ императрицы Екатерины девятью тысячами рублей ходячею монетою, а молодой Пушкинъ за одну главу еще недоконченной стихотворной повѣсти *Онѣгинъ* получилъ отъ русскаго книгопродавца пять тысячъ ассигнаціями по тогдашнему курсу!“ ²⁵⁾

Причиной такого молчанія, — мы склонны думать, — была слишкомъ большая привязанность Дмитриева къ старинѣ, привязанность, которую раздѣляли съ нимъ и многіе его современники. Такъ, напримѣръ, М. П. Погодинъ, авторъ извѣстнаго сочиненія о Карамзинѣ, черезъ двѣ недѣли по погребеніи Дмитриева писалъ къ его племяннику (М. А. Дмитриеву): „Дмитриевъ прошелъ съ честію свое поприще, исполнилъ свое назначеніе, — но тяжело было видѣть его въ гробѣ. Мы какъ-то привыкли видѣть въ немъ и Карамзина, и Державина, и Богдановича; онъ былъ для насъ представителемъ лучшаго времени, когда литература наша была чище, благороднѣе, прекраснѣе. Что скажетъ онъ Карамзину на его вопросъ о теперешнемъ ея состояніи? Мерзость запустѣнія на мѣстѣ святѣ, купующіе и продающіе, и нѣтъ бича-изгонителя, и какіе виды въ будущемъ!“ ²⁶⁾

Дмитриевъ увлекался не только нашей литературной стариной, но и вообще старинной русской жизнью, которую онъ даже идеализировалъ. По крайней мѣрѣ въ запискахъ его находимъ слѣдующее изображеніе этой жизни, современной его дѣтству:

„Симбирскіе обыватели, сколько я могу судить по воспоминаніямъ, наслаждались тогда совершенною независимостью: отъ дворянина до простолюдина никто не несъ другой повинности, кромѣ поставки въ очередь свою будочника, а по временамъ — военнаго поста. Послѣдній мѣщанинъ или цеховой имѣлъ свой

плодовитый при домѣ садикъ, на окнѣ въ бурачкѣ розовый бальзаминъ, и ничего не платилъ за лоскутокъ земли, доставшійся ему по куплѣ или отъ прадѣда. Заграничные товары были дешевы: напримѣръ, фунтъ американскаго кофія — кто нынѣ тому повѣритъ? — продавался по сороку копеекъ. Рубль ходилъ за рубль; серебра было много, а обѣ лажѣ на звонкую монету и ассигнаціи даже и понятія не имѣли. Первенствующія особы въ городѣ были: комендантъ, начальникъ гарнизоннаго батальона и воевода, первоприсутствующій по гражданскимъ дѣламъ. Дворянство знало и уважало ихъ по мѣрѣ личныхъ достоинствъ. Тогда еще не было въ провинціяхъ ни театровъ, ни клубовъ, которые нынѣ и въ губернскихъ городахъ разлучаютъ мужей съ женами, отцовъ съ ихъ семействомъ. Тогда едва ли кто понималъ смыслъ слова: *разспяніе*, нынѣ столь часто употребляемаго. Каждый имѣлъ свои связи не отъ трусости, не изъ корыстныхъ видовъ, а по выбору сердца“ ²⁷⁾.

Чтобы признать этотъ взглядъ Дмитріева на старину слишкомъ окрашеннымъ въ розовый цвѣтъ, не надо и „Путешествія“ Радищева, а довольно вспомнить тотъ договоръ симбирскихъ дворянъ, который Карамзинъ приводитъ въ своей повѣсти: „Рыцарь нашего времени“, договоръ, въ которомъ идетъ рѣчь и о „притѣсненныхъ“, и о губернаторскихъ и воеводскихъ „прихлебателяхъ“, и наконецъ о томъ, что дворяне иной разъ предрежающимъ властямъ „такали противъ совѣсти“ ²⁸⁾.

По вышеуказанному сочувственному отношенію Дмитріева къ старинѣ можно бы ожидать, что онъ окажется полнымъ врагомъ преобразованій первыхъ годовъ царствованія императора Александра; но таковымъ онъ не былъ. Правда, онъ далеко не раздѣлялъ всѣхъ стремленій тогдашней либеральной партіи, находилъ ее излишне пылкою, но тѣмъ не менѣе былъ консерваторъ умѣренный и, какъ видно изъ отзыва его о государственныхъ дѣятеляхъ того времени, видѣлъ необходимость нѣкоторыхъ измѣненій. Впрочемъ, для сужденія о его взглядахъ, приведемъ только что упомянутый его отзывъ.

„Новыя министерства“,—говоритъ Дмитріевъ,—„находились подъ вліяніемъ двухъ партій, изъ коихъ въ одной господствовали служивцы вѣка Екатерины, опытные, осторожные, привыкшіе къ старому ходу, нарушеніе коего казалось имъ возстаніемъ противъ святыни. Другая, которой главою былъ графъ Кочубей, состояла изъ молодыхъ людей, образованнаго ума, получившихъ слегка понятіе о теоріяхъ новѣйшихъ публицистовъ и напитанныхъ ду-

хомъ преобразованій и улучшеній. Такое соединеніе двухъ возрастовъ могло бы послужить въ пользу правительства. Дѣятельная предприимчивость молодости, соединенная съ образованіемъ нашего времени, изобрѣтала бы способы къ усовершенію и ожиwляла бы опытную старость, а сія, на обмѣнѣ, умѣряла бы лишнюю пылкость ея и избирала бы изъ предлагаемыхъ средствъ надежнѣйшія и болѣе сообразныя съ мѣстными выгодами и положеніемъ государства. Но, къ сожалѣнію, и самыя благородныя души не освобождаются отъ эгоизма, поражающаго зависть и честолюбіе“²⁹⁾.

Выше мы говорили о различныхъ литературныхъ вліяніяхъ на Дмитріева. Но чтобы литературное произведеніе имѣло вліяніе на писателя, надобно, чтобы онъ ему сильно сочувствовалъ. А это бываетъ только тогда, когда въ душахъ обоихъ писателей есть что-либо родственное. То, что роднило Дмитріева съ Карамзинымъ, мы уже указали: оба они были склонны, хотя и въ различной степени, къ чувствительности и мечтательности. Но что нравилось Дмитріеву, напримѣръ, въ Державинѣ, въ Ломоносовѣ? Конечно, не только одни поэтическіе образы въ ихъ произведеніяхъ и звуки въ ихъ стихахъ, но и выраженные въ нихъ чувства: патріотическое и религіозное, при чемъ особенно дѣйствовали на Дмитріева оды пѣвца Фелицы, воспѣвавшія славу русскаго оружія. Эти чувства и гордость славою отечественнаго оружія жили и въ душѣ Дмитріева. Въ одномъ мѣстѣ своихъ записокъ онъ говоритъ: „Съ гордостію могу сказать, что я выросъ и состарѣлся подъ шумомъ отечественной славы. Находясь въ Казани еще семилѣтнимъ мальчикомъ, я выбѣгалъ на нашу Сарскую улицу смотрѣть на проходящіе отряды плѣнныхъ польскихъ конфедератовъ. Уже тогда затвержены были мною имена Пулавскихъ, Потоцкихъ и проч. Съ переселеніемъ нашимъ въ Симбирскъ началась война съ Оттоманскою Портою. Отецъ мой, получая при газетахъ реляціи, всегда читывалъ ихъ вслухъ посреди семейства. Никогда не забуду я того дня, когда слушали мы реляцію о сожженіи при Чесмѣ турецкаго флота. У отца моего отъ восторга перерывался голосъ, а у меня навертывались на глазахъ слезы“³⁰⁾. О религіозномъ чувствѣ Дмитріева засвидѣтельствовалъ духовникъ его, сказавши въ надгробномъ ему словѣ, что покойный „отъ юности плѣнилъ разумъ въ послушаніе вѣры“³¹⁾.

Влеченіе Дмитріева къ тому роду поэзіи, который принято называть поэзіей легкой, а также и къ смѣющейся сатирѣ—тоже

можетъ найти себѣ объясненіе въ его любви къ шуткѣ и къ острому слову. Живость и шутку Погодинъ приписываетъ Дмитріеву, какъ обыкновенныя его черты ³²⁾. Да и самъ Дмитріевъ сказалъ о себѣ въ концѣ своихъ записокъ: „Чаще былъ веселъ, чѣмъ печаленъ, хотя по наружности и кажусь задумчивымъ“ ³³⁾.

Обзоръ поэзіи Дмитріева.

Общій характеръ поэзіи Дмитріева. — Произведенія, дававшія современникамъ поводъ видѣть въ Дмитріевѣ Державина. — Отголосокъ поэзіи Хераскова. — Произведенія, сближавшія Дмитріева съ Богдановичемъ. — Слѣды вліянія поэзіи, служившей Вакху и Эроту. — Сходство съ Карамзинымъ. — Языкъ Дмитріева. — Взглядъ кн. Вяземскаго и самооцѣнка Дмитріева. — Произведенія сатирическія и басни. — Замѣтка о мелкихъ стихотвореніяхъ. — Мѣсто, отведенное Дмитріеву въ „Исторіи литературы“ Пыпина, и указанія профессора Владимірова.

Современники, подобно Погодину видѣвшіе въ Дмитріевѣ и Карамзина, и Державина, и Богдановича, смотрѣли на него довольно вѣрно. Дѣйствительно Дмитріевъ могъ своими произведеніями напоминать имъ этихъ писателей. Но къ этому надо прибавить, что Дмитріевъ могъ напоминать имъ не только трехъ названныхъ писателей, но и многихъ другихъ, напр. Хераскова, Лафонтена, Флоріана. Василій Львовичъ Пушкинъ такъ и называлъ Дмитріева: „нашъ Лафонтенъ“. Отсюда самъ собою вытекаетъ выводъ, что поэтическія произведенія Дмитріева отличаются *разнообразіемъ*, но вмѣстѣ съ тѣмъ, говоря вообще, и малою степенью *своеобразія*, почему и можно было сближать ихъ автора со многими другими.

Съ Державинымъ современники сближали Дмитріева на томъ основаніи, что онъ тоже „пѣвалъ Фелицы мощь, погромъ и стонъ Варшавы“ и вообще писалъ оды для прославленія русскаго оружія и „Екатерининскихъ орловъ“. Но талантъ Дмитріева не былъ равенъ таланту Державина — и потому всѣ торжественныя стихи его, каковы, примѣръ: „На миръ съ Оттоманскою Портою“, „Гласъ патріота на взятіе Варшавы“, „Освобожденіе Москвы“ и др., теперь забыты, и имѣютъ значеніе лишь какъ матеріалъ, дающій нѣсколько чертъ для общей характеристики поэтической дѣятельности Дмитріева.

О различіи таланта обоихъ пѣвцовъ Фелицы можно судить уже, сравнивъ стихи, написанные ими на смерть Потемкина. Смерть этого „Екатерининскаго орла“ внушила Державину оду: „Водопадъ“, оду, которая во всѣхъ отношеніяхъ выше оды Дмитріева: „Смерть князя Потемкина“ (1791). Въ этой послѣдней нѣтъ

ни философскихъ идей, ни Державинской мощной выразительности. Вотъ эта ода.

Уныль внезапу лавръ зеленый,
Уныль, и долу преклоненъ!
Возстани, свѣще вдохновенный,
Возстани, бардъ, сыиъ всѣхъ временъ!
Бери обвѣту крепомъ лиру;
Гласи на ней, повѣдай міру
Печаль чувствительныхъ сердець,
Стоиъ воиновъ непобѣдимыхъ,
Въ слезахъ среди трофеевъ зримыхъ;
Гласи... Потемкина конецъ!

О, коль ужасную картину
Печальный геній мнѣ открылъ!...
Безмолвну вижу я долину;
Не слышу помаванья крылъ
Ни здѣсь, ни тамъ любимца Флоры —
Все томно, что ни встрѣтятъ взоры!
Поникнулъ злакъ, ручей молчитъ;
И тотъ, кого весь югъ страшится,
Увы! простертъ на холмѣ зрится —
Простертъ, главу склоня на щитъ!

Герой—геройски умираетъ
Въ виду погранныхъ имъ градовъ,
И духъ свой Небу возвращаетъ
Средь ратниковъ, своихъ сыновъ!
Почилъ—и вопль вокругъ раздался,
И шумный гласъ молвы помчался
Вливать въ сердца печаль и страхъ!
Синиль *), Бендеры изумленны,
Героевъ слыша вопль плачевный
Въ поверженныхъ отъ нихъ стѣнахъ;

Очаковъ, гордый и подъ прахомъ,
Чудится и сомнѣнья полнъ,
Чтобъ тотъ, кто былъ дракону страхомъ
Въ степяхъ, вертепахъ, среди волнъ,
Кто рану далъ ему глубоку,
Былъ общему подвластенъ року!
*И черный Понтъ, надувъ хребетъ,
Валитъ, реветъ во слухъ Селиму,
Объяту думой, неръшиму:*
„Воспрянь! уже Перуна нѣтъ!...“

Но чѣи тамъ слышу томны лиры
Съ Днѣпровскихъ зланныхъ береговъ?
Чей сладкій гласъ несутъ зефиры?...
То гласъ не смертныхъ, но боговъ,—

*) Древнее названіе Измаила. (Примѣч. Дмитр.).

То вопіють херсонски музы:

„Увы! расторглись наши узы,
Любитель нашъ, навѣкъ съ тобой!
Давно ль бесѣдовалъ ты съ нами
И лиру испещрялъ цвѣтами *),
Готовяся въ кроволитный бой?

„Давно ль Херсонъ, тобой украшенъ,
Цвѣтушъ на брегѣ быстрыхъ водъ,
Взиралъ съ своихъ высокихъ башенъ
На твой со славою приходъ?
Давно ль тебя мы здѣсь встрѣчали
И путь твой лавромъ устилали?
Давно ль?...“ и болѣ не могли...
Изъ рукъ цѣвницы покатались,
Главы къ колѣнамъ ихъ клонились,
Власы упали до земли.

Гдѣ, гдѣ не плачутъ и не стонутъ
Во мзду Иракловыхъ заслугъ?
Въ слезахъ тамъ родственники тонутъ;
Тамъ одолженныхъ страждетъ духъ;
Тамъ, подъ соломеннымъ покровомъ,
Зрю воина въ вѣнкѣ лавровомъ
Среди родимыя семьи;
Онъ алчно внемлющей супругъ
Разсказываетъ, какъ на югѣ
Князь подвиги творилъ свои;

Какъ въ полѣ бился съ супостатомъ;
Какъ во стѣнахъ его караль,
Какъ кончилъ жизнь... Тутъ бѣлымъ платомъ
Текущи слезы утиралъ...
Слеза безцѣнная, священная,
Изъ сердца чиста извлеченна!—
О витій, что твоя хвала!
Но сею ль жертвою одною
Воздашь, Россія, днесъ герою,
Которымъ славима была?

Нѣтъ! сынъ твой вѣчно будетъ громокъ!
Потемкина геройскій ликъ
Увидитъ поздний твой потомокъ,
И возгласитъ: „Онъ былъ великъ!“
И вольный грекъ, забывъ желѣзы,
Прольетъ предъ нимъ сердечны слезы;
И самый туркъ, нахмуря взоръ,
Сынамъ своимъ его покажетъ:—
„Се бичъ нашъ былъ!“ вздохнувъ онъ скажетъ—
И музъ его прославитъ хоръ.

*) Я видѣлъ рукопись одного изъ нашихъ стихотворцевъ съ поправками кн. Потемкина. (Примѣч. Дмитр.).

Во всей этой одѣ только три стиха (напечатанные курсивомъ) напоминають силу Державинскихъ выражений.

Ложный классицизмъ вообще отступалъ отъ дѣйствительной жизни; но Дмитріевъ иногда вдвойнѣ удалялся отъ нея, когда, рисуя картину въ духѣ требованій ложно-классической теоріи, наносилъ на эту картину еще и черты сентиментальныхъ пасторалей. Такою двойною неправдой отличается, напримѣръ, то мѣсто оды: „На миръ съ Оттоманскою Портою“ (1792), гдѣ изображается радость воиновъ и поселянъ по поводу этого мира:

Тамъ войны поютъ походы
Въ кругу внимающихъ отцовъ,
Или, вмѣшаясь въ хороводы
Пастушекъ сельскихъ, пастуховъ,
Усугубляютъ общу радость. —
Какая, ахъ, для сердца сладость
Какое зрѣлище въ очахъ!
На ратникахъ вѣнки пестрѣютъ,
А племь ихъ пернаты вѣютъ
У земледѣльцевъ на главахъ.

Тѣмъ не менѣе современники очень цѣнили торжественныя оды Дмитріева за то, что онѣ, какъ выразился кн. Вяземскій, „исполнены огня любви къ отечеству“ ⁸⁴⁾. Особенно нравились „Освобожденіе Москвы“ (1795) *) и „Гласъ патриота“ (1794). Дѣйствительно въ этихъ одахъ есть много такого, что могло ласкать патриотическое чувство читателя. Такъ, напримѣръ, въ первой изъ нихъ нравилось описаніе Москвы:

Въ какомъ ты блескѣ нынѣ зрима,
Княженій знаменитыхъ мать!
Москва, Россіи дочь любима,
Гдѣ равную тебѣ сыскать?
Вѣнецъ твой перлами украшенъ;
Алмазный скиптръ въ твоихъ рукахъ;
Верхи твоихъ огромныхъ башенъ
Сіяютъ въ златѣ, какъ въ лучахъ;
Отъ Норда, Юга и Востока—
Отвсюду быстротой потока
Къ тебѣ сокровища текутъ;
Сыны твои, любимцы славы,
Красивы, храбры, величавы,
А дѣвы—розами цвѣтутъ!

Во второй производило впечатлѣніе изображеніе силы Россіи и доблести ея сыновъ:

*) Пожарскимъ отъ поляковъ.

Страшна твоя, Царица, власть!
 Страшна твоя и прозорливость
 Врагу, злодѣю твоему!
 Вездѣ найдетъ его строптивость
 Препонѣ неодолимыхъ тѣмъ;
 Вездѣ обрящутся преграды:
 Твои, какъ мѣдною стѣной,
 Бойницами покрыты грады,
 И каждый въ оныхъ стражъ герой;
 Предѣлы царствъ твоихъ щитами
 А седмъ рабынь твоихъ, морей,
 Покрыты быстрыми судами,
 И жезлъ судьбы въ рукѣ твоей!
 Речешь—и двинется полсвѣта,
 Различный образъ и языкъ:
 Тавридець, чтитель Магомета,
 Поклонникъ идоловъ—камыкъ,
 Башкирець съ мѣдными стрѣлами,
 Съ булатной саблею черкесь—
 Ударятъ съ шумомъ вслѣдъ за нами,
 И прахъ поднимутъ до небесъ!
 Твой россъ весь міръ дрожать заставитъ;
 Наполнить громомъ чудныхъ дѣлъ,
 И тамъ столпы твои поставитъ,
 Гдѣ свѣту цѣлому предѣлъ.

Среди множества одъ, которыми былъ встрѣченъ императоръ Александръ, была, конечно, и ода Дмитріева („На день коронованія“). Въ ней тоже высказывались благія пожеланія, какъ напримѣръ:

О Богъ судьбы! о Царь царей!
 Даруй Твой судъ царю младому,
 Да будетъ другомъ правды онъ;
 Любезенъ добрымъ, грозенъ злому,
 Дальнѣйшаго услышитъ стонъ;
 Народовъ разныхъ повелитель,
 Да будетъ геній-просвѣтитель,
 Краса и честь своимъ странамъ!
 Да будутъ дни его правленья
 Для россовъ днями прославленья
 И преданы отъ нихъ вѣкамъ.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ видно, что Дмитріевъ, подобно многимъ своимъ современникамъ, желалъ указать молодому императору на его бабку, какъ на образецъ правительницы. Онъ обращается къ нему съ слѣдующими словами:

Благоговѣй предъ сей державой:
 Она горитъ, блистаетъ славой

Премудрыя, одной въ женахъ!
 Да ниспослеть Безсмертна Внуку
 Свой даръ сердцами обладать;
 Да укрѣпить монаршу руку
 Кормиломъ царства управлять!
 О вѣтвь, о кровь Екатерины!
 При ней корабль нашъ чрезъ пучины
 Отважно къ счастью летѣлъ;
 При ней россиянинъ, сынъ славы,
 Вселенной подавалъ уставы
 И жребіемъ ся владѣлъ.

Однако надо сказать, что Дмитріевъ все-таки былъ лучшимъ послѣдователемъ Державина. Если оды его и нельзя ставить наравнѣ съ Державинскими, то зато въ нихъ нѣтъ и ничего такого, что равняло бы ихъ со множествомъ произведеній тѣхъ бездарныхъ одописцевъ, которыхъ самъ же Дмитріевъ осмѣялъ въ своей сатирѣ: „Чужой толкъ“. Впрочемъ Дмитріевъ былъ иногда въ состояніи придать своимъ стихамъ и силу. Подобно Ломоносову, онъ написалъ нѣсколько религіозныхъ стихотвореній. Лучшее изъ нихъ—„Размышленіе по случаю грома“ (написано не позже 1805 г.)—ставили и ставятъ на ряду съ „Утреннимъ и Вечернимъ размышленіемъ“ Ломоносова и одою „Богъ“ Державина.

Галаховъ считаетъ эту оду Дмитріева подражаніемъ стихотворенію Гете: „Gränzen der Menschheit“ ³⁵⁾; другіе утверждаютъ, что она написана „несомнѣнно“ подъ вліяніемъ указанныхъ образцовъ Ломоносова и Державина ³⁶⁾. Мы думаемъ, что вѣрно и то и другое: между одою Дмитріева и стихотвореніемъ Гете есть очевидное сходство, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ „Размышленіи“ есть и характеръ религіозной поэзіи Ломоносова и Державина. Впрочемъ, дадимъ читателю самому сравнить—и приведемъ оба стихотворенія: и Дмитріева и Гете.

Гремитъ!... благоговѣй, сынъ персти!
 Се Ветхій деньми съ небеси
 Изъ кроткой, благотворной длани
 Перуны съѣтъ по земли!—
 Всесильный! съ трепетомъ младенца
 Цѣлую я священный край
 Твоей молніецвѣтной ризы,
 И весь теряюсь предъ Тобой!
 Что человѣкъ? парить ли къ солнцу,
 Смиренно ль идетъ по землѣ,—
 Увы! тамъ умъ его блуждаетъ,
 А здѣсь стопы его скользятъ.
 Подъ мракомъ, въ океанѣ жизни,

Пловецъ на утлой ладіѣ,
Отдавши руль слѣпому року,
Онъ спитъ—и мчится на скалу.

Ты дхнешь—и двигнешь океаны!
Речешь—и вспять они текутъ!
А мы... одной волной подняты,
Одной волной поглощены!
Вся наша жизнь, о Безначальный!
Предъ тайной вѣчностью Твоей—
Едва минутное мечтанье,
Лучъ блѣдной утренней зари.

Wenn der uralte
Heilige Vater
Mit gelassener Hand
Aus rollenden Wolken
Segnende Blitze
Ueber die Erde sä't,
Küss'ich den letzten
Saum seines Kleides,
Kindliche Schauer
Treu in der Brust.

Denn mit Göttern
Soll ish nicht messen
Irgend ein Mensch.
Hebt er sich aufwärts,
Und berührt
Mit dem Scheitel die Sterne,
Nirgends haften dann
Die unsichern Sohlen,
Und mit ihm spielen
Wolken und Winde.

Steht er mit festen
Markigen Knochen

Auf der wohlgegründeten
Dauernden Erde;
Reicht er nicht auf,
Nur mit der Eiche
Oder der Robe
Sich zu vergleichen.

Was unterscheidet
Götter von Menschen?
Dass viele Wellen
Vor jenen wandeln,
Ein ewiger Strom:
Und hebt die Welle,
Verschlingt die Welle.
Und wir versinken.

Ein kleiner Ring
Vergränzt unser Leben,
Und viele Geschlechter
Reihen sich dauernd
An ihres Daseyns
Unendliche Kette.

Сравненіе, — думаемъ мы, — дать право придти къ выводу, что самое содержаніе своей оды Дмитріевъ заимствовалъ у Гёте, на что намекаетъ и кн. Вяземскій ³⁷⁾; но обработалъ онъ его въ духъ Ломоносова и Державина.

Славили современники и лиро-эпическую поэму Дмитріева: „Ермакъ“ (1794), не считая недостаткомъ того, что въ ней, какъ и вообще въ ложно-классическихъ произведеніяхъ, допущено сильное преувеличеніе въ изображеніи. Вотъ, напримѣръ, какъ изображенъ бой Ермака съ Мегметъ-Куломъ (въ разсказѣ стараго шамана, бесѣдующаго съ молодымъ):

Я зрѣлъ съ нимъ бой Мегмета-Кула,
 Сибирскихъ странъ богатыря:
 Разсыпавъ стрѣлы всѣ изъ тула
 И вящимъ жаромъ возгоря,
 Иавлекъ онъ саблю смертоносу.
 „Дай лучше смерть, чѣмъ жизнь поносу
 Влачить мнѣ въ плѣнѣ!“ онъ сказалъ—
 И вмигъ на Ермака напалъ.
 Ужасный видъ: они сразились!
 Ихъ сабли молніей блестятъ,
 Удары тяжкіе творять,
 И обѣ разомъ сокрушились.
 Они въ ручной вступаютъ бой:
 Грудь съ грудью и рука съ рукой;
 Отъ вопля ихъ дубравы воютъ;
 Они стопами землю роютъ;
 Уже съ нихъ сыплеть потъ, какъ градъ;
 Уже въ нихъ сердце страшно бьется,
 И ребра обоихъ трещать:
 То сей, то онъ на бокъ гнется;
 Крутятся—и Ермакъ сломилъ!
 „Ты мой теперь!“ онъ возопилъ:
 „И все отнынѣ мнѣ подвластно!“

Но особенно сильно преувеличеніе въ концѣ поэмы, гдѣ Ермакъ возведенъ на степень полубоговъ. Обращаясь къ нему, авторъ говоритъ:

Но ты, великій человѣкъ,
 Пойдешь въ ряду съ полубогами
 Изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ;
 И славы лучъ твоей затмится,
 Когда померкнетъ солнца свѣтъ,
 Со трескомъ небо развалится,
 И время на косу падетъ!

„Ермакъ“ начинается изображеніемъ двухъ шамановъ, а затѣмъ продолжается въ видѣ разговора между ними о роковой гибели Сибири, павшей по волѣ боговъ, „отъ горсти русскихъ“; въ концѣ—обращеніе автора къ своему герою. Такимъ образомъ, поэма явилась отчасти въ драматической формѣ, на что кн. Вяземскій указываетъ, какъ на новость, внесенную въ нашу литературу Дмитріевымъ. „Драматическое движеніе, данное этому произведенію“,—говоритъ Вяземскій,—есть опытъ новый и мастерской“ ³⁸⁾. Опытъ этотъ мастерскимъ назвать можно: въ послѣдствіи, какъ знаемъ, драматической формой для своихъ поэмъ пользовался и Пушкинъ; но при всемъ томъ „Ермакъ“ Дмитріева въ суще-

ственныхъ своихъ чертахъ есть все-таки произведеніе въ старомъ стилѣ и, безъ сомнѣнія, есть отголосокъ поэзіи Хераскова.

Поводомъ къ сближенію Дмитріева съ Богдановичемъ служили, конечно, его сказки, своею игривостью напоминающія „Душеньку“ и притомъ написанныя такими же такъ называемыми *вольными* стихами, какъ и шутливая поэма Богдановича, которой къ тому же Дмитріевъ кое въ чемъ и подражалъ. Первой по времени появилась сказка: „Картина“ (1790), изъясняющая, какъ сказалъ Вяземскій, „что есть женихъ, и что есть мужъ“³⁹). Князь Вѣтровъ, влюбленный женихъ, заказываетъ художнику картину съ такимъ содержаніемъ:

„Не можете ли вы мнѣ кистію своей
Картину написать? да только поскорѣй!
Вотъ содержаніе: Гименъ, то-есть богъ брака,
Не тотъ, что пишется у насъ, сапунъ, зѣвака,
Иль плакса, иль брюзга, но легкій, милый богъ,
Который бы привлечь и труженика могъ,—
Гименъ, и съ нимъ Амуръ, всегда въ восторгѣ новомъ,
Веселый, миленькій, и живчикъ—однимъ словомъ,
Взявъ за руки меня, подводятъ по цвѣтамъ,
Разбросаннымъ по всѣмъ мѣстамъ,
Къ прекрасной дѣвушкѣ, боготворимой мною.—
Я завтра привезу портретъ ея съ собою.—
Владычица моя въ пятнадцатой веснѣ,
Вручаетъ розу мнѣ;
Вокругъ нея толпой Забавы, Игры, Смѣхи;
Вдали жъ, подъ миртами, престолъ Любви, утѣхи,
Усыпанъ розами, и весь почти въ тѣни
Деревъ, гдѣ вѣтерокъ заснулъ среди листочковъ...
Да не забыть при томъ и страстныхъ голубочковъ.—
Вотъ слабый вамъ эскизъ! Черезъ два, четыре дни
Картина, думаю, ужъ можетъ быть готова;
О благодарности жъ моей теперъ ни слова:
Докажетъ опытъ вамъ. Прощайте!“ И—исчезъ.

Художникъ принялся за работу, но, внезапно заболѣвъ, не могъ исполнить заказа во время.

Минута между тѣмъ желанная настала:
Князь Вѣтровъ женится, хотя картины нѣтъ.
Уже онъ райскіе плоды во бракѣ жнетъ;
Что день, то новый даръ въ возлюбленной княгинѣ;
Мила, божественна при всѣхъ и наединѣ.

Прошелъ мѣсяцъ, художникъ выздоровѣлъ, и явился къ князю съ картиной, написанной совершенно въ духѣ его требованій.

Князь вышелъ въ шлафрокъ, нахлученъ колпакомъ,
И, сонными взглянувъ на живопись глазами:
„Я болѣе“, сказалъ, „доволенъ былъ бы вами,
Когда бы выдумка была
Не столь игрива, весела.
Согласенъ я, она нѣжна, остра, прекрасна;
Но для женатаго... ужъ слишкомъ любострастна!
Не можно ли ее поправить какъ-нибудь?...“

Долго художникъ поправлялъ свое произведение, „соображаясь съ послѣднимъ князя вкусомъ“, и наконецъ—

Три мѣсяца пробывъ картина подъ искусомъ,
Представилась опять сѣтельными глазамъ;
Но, ахъ, знать, было такъ угодно небесамъ:
Сіянье ихъ совсѣмъ затмилось,
И ужъ почти ничто въ картинѣ не годилось.—
„Возможно ль?... это я?“
Вскричалъ супругъ почти со гнѣвомъ:
„Вы сдѣлали меня совсѣмъ уже Хоревомъ,
Ужъ слишкомъ пламеннымъ... да и жена моя
Здѣсь сущая Венера!
Нѣтъ, не прогнѣвайтесь, во всемъ должна быть мѣра!“
Такъ о картинѣ князь судилъ,
И каждый день онъ въ ней пороки находилъ.
Чѣмъ болѣе она висѣла,
Тѣмъ болѣе предъ нимъ погрѣшностей имѣла;
Тѣмъ строже переборъ отъ князя былъ всему:
Уже не взмиллись и Граціи ему,
Потомъ и одръ Любви, и миртовы кусточки;
Потомъ и нѣжные слѣды голубочки;
Потомъ и Смѣхи всѣ велѣлъ закрасить онъ,
А наконецъ, увы! вспорхнулъ и Купидонъ.

Современникамъ Дмитріева эта сказка очень нравилась, но еще болѣе цѣнили они его сказку: „Модная жена“ (1791). Князь Вяземскій свидѣтельствуешь, что выставленные тутъ типы: Премила, Пролазъ и Миловзоръ, и вся обстановка въ разсказѣ—все это „блеститъ историческою вѣрностію“. На Пролаза же онъ указываетъ даже, какъ на типъ, съ которымъ тогда можно было встрѣчаться „на всѣхъ перекресткахъ, на всѣхъ обѣдахъ именинныхъ и карточныхъ вечеринкахъ“ ⁴⁰⁾.

Въ этой сказкѣ, послѣ шутивато вступленія, авторъ прежде всего знакомитъ читателя съ Пролазомъ и положеніемъ его, какъ мужа молодой модной жены—Премилы.

Пролазъ въ теченіе полвѣка
Все ползъ, да ползъ, да билъ челою,

И наконецъ такимъ невиннымъ ремесломъ
 Доползъ до степени извѣстна челоуѣка,
 То-есть стать съ именемъ—я говорю вѣдь такъ,
 Какъ говорится въ свѣтѣ—
 То-есть стать ѣздить онъ шестеркою въ каретѣ;
 Потомъ вступилъ онъ въ бракъ
 Съ пригожей дѣвушкой, которая жить умѣла,
 Была умна, ловка,
 И старика
 Вертѣла, какъ хотѣла...

Пролазъ

цѣною дорогой
 Платилъ женѣ за нѣжны ласки;
 Узналъ и онъ, что блонды, каски,
 Что крепъ, лино-батистъ, тамбурна кисея.

Затѣмъ авторъ рисуетъ картину, какъ „умѣвшая жить“ жена
 упрашиваетъ мужа закупить ей модныхъ обновъ—и

Съ послѣднимъ словомъ прыгъ на шею,
 И чокъ два раза въ лобъ, примолвя: „какъ ты милъ!“

Мужъ отправляется за покупками, а къ женѣ является въ
 гости „угодникъ дамскій—Миловзоръ“, „всѣхъ милыхъ обожатель“.
 Гость и хозяйка пребываютъ въ „диванной“. Время летитъ неза-
 мѣтно—и Пролазъ уже возвращается.

Ужъ онъ на лѣстницѣ, таща въ рукахъ покупку,
 Торопится обрадовать свою голубку;
 Ужъ онъ и въ комнатѣ, а вѣрная жена
 Сидитъ, не думая объ немъ, и не одна.
 Но вы, красавицы, одной съ Премилой масти.
 Не ахайте объ ней и успокойте духъ!
 Ея Пенаты съ ней, такъ ей ли ждать напасти?
 Фиделька рѣзвая, ея надежный другъ,

Которая лежала,
 Свернувшись клубкомъ,
 На солнышкѣ передъ окномъ,
 Вдругъ встрепенулася, вскочила, побѣжала
 Къ дверямъ, и, какъ разумный звѣрь,
 Приставила ушко, потомъ толкъ лапкой въ дверь,
 Ушла и возвратилась съ лаемъ.
 Тогда жъ другой Пенатъ, зовомый попугаемъ,
 Три раза вѣстовой изъ клѣтки подалъ знакъ,
 Вскричавши: „кто пришелъ? дуракъ!“
 Премила вздрогнула, и Миловзоръ подобно;
 И тотъ и та—о время злобно!
 О непредвидѣнна бѣда!—
 Бросаясь туда, сюда,
 Рѣшились такъ, чтобъ ей остаться,

А гостю спрятаться хотя позадь дверей.

— О женщины! могу признаться,

Что вы гораздо насъ хитрѣй!—

Кто могъ бы отгадать, чѣмъ кончилась тревога?

Мужъ, въ двери выставя расцвѣтшіе два рога,

Вошелъ въ диванную, и видитъ, что жена

Въ полглаза на него глядитъ сквозь тонка сна.

Онъ ближе къ ней—она проснулась,

Зѣвнула, потянулась;

Потомъ,

Простерши къ мужу руки:

„Какимъ же“, говоритъ ему, „я крѣпкимъ сномъ

Заснула безъ тебя отъ скуки!

И знаешь ли, что мнѣ

Привидѣлось во снѣ?

Ахъ! и теперь еще въ восторгѣ утопаю!

Послушай, миленькій! лишь только засыпаю,

Вдругъ вижу, будто ты ужъ болѣе не кривъ:

Ну, если этотъ сонъ не дживъ?

Позволь мнѣ испытать“.—И вмигъ, не давъ супругу

Прийти въ себя, одной рукой

Закрыла глазъ ему—здоровый, не кривой,—

Другую же на дверь указывая другу,

Пролазу говоритъ: „Что, видишь ли, мой свѣтъ?“

Мужъ отвѣчаетъ: „Нѣтъ!“

„Ни крошечки?“—„Ни мало;

Такъ темно, какъ теперь, еще и не бывало“.—

„Ты шутишь?“—„Право, нѣтъ; да дай ты мнѣ взглянуть“.—

„Прелестная мечта!“ Лукреція вскричала:

„Зачѣмъ польстила мнѣ, чтобъ послѣ обмануть!

Ахъ! другъ мой, какъ бы я желала,

Чтобы одинъ твой глазъ

Похожъ былъ на другой!“—Пролазъ,

При нѣжности такой, не могъ стоять болваномъ;

Онъ самъ разнѣжился, и въ радости души

Супругу наградила и шалью и тюбаномъ.—

Пролазъ! ты этотъ день во святцахъ запиши:

Примѣръ согласья! жена и мужъ съ обновой!

Но что записывать? примѣръ такой не новый.

Вяземскій говоритъ, что Дмитріевъ „нигдѣ не оказалъ болѣе ума, замысловатости, вкуса, остроумія, болѣе стихотворческаго искусства, какъ въ своихъ сказкахъ“ ⁴¹⁾. Съ этимъ нельзя не согласиться, или по крайней мѣрѣ нельзя не признать, что Дмитріевъ былъ гораздо болѣе счастливымъ авторомъ сказокъ, нежели патріотическихъ одъ.

Пользовались въ свое время славою и тѣ его сказки, которыя представляютъ собою подражаніе иностраннымъ образцамъ,

а именно: „Причудница“—подражаніе Вольтеровой „La Begueule“, и „Воздушныя башни“—подражаніе сказкѣ: „Alnascar“, написанной поэтомъ Imbert.

Обстановка въ „Причудницѣ“ перенесена въ старинную Москву.

Въ Москвѣ, которая и въ древни времена
Прелестными была обильна и славна—
Не знаю подлинно, при коемъ государѣ,
А только слышалъ я, что русскіе бояре
Тогда ужъ бросили запоры и замки,
Не запирали женъ въ высоки чердаки,
Но, слѣдуя нѣмецкой модѣ,
Ужъ позволяли имъ въ пріятной жить свободѣ;
И свѣтская тогда жена
Могла безъ опасенья
Съ домашнимъ другомъ, иль одна,
И на качеляхъ быть въ день Свѣтла Воскресенья,
И въ кукольный театръ отъ скуки завернуть,
И въ рошѣ Марьиной подъ тѣнью отдохнуть—
Въ Москвѣ, я говорю, Вѣтрапа процвѣтала.

Эта Вѣтрапа и есть главная героиня разсказа.

Она пригожествомъ лица,
Здоровьемъ и умомъ блистала;
Имѣла мать, отца;
Имѣла лестну власть щелчки давать супругу;
Имѣла, словомъ, все: большой тесовый домъ,
Съ берлинами сарай, изрядную услугу,
Гуслиста, карлицу, шутовъ и дурь содомъ,
И даже двухъ сорокъ, которыя болтали
Такъ точно, какъ она—однакожъ меньше знали.
Вѣтрапа куколкой всегда разряжена,
И каждый день окружена
Знакомыми, родней и нѣжными сердцами;
Но всѣ они при ней казались быть льстецами,
Затѣмъ, что всякъ изъ нихъ завидовалъ то ей,
То пугу вороныхъ коней,
То парчевому ея платью,
И всякъ хотѣлъ бы жить съ такою благодатью.
Одна Вѣтрапа лишь не вѣдала цѣны
Всѣхъ благъ, какія ей Фортуною даны...

Она была капризна, какъ избалованный ребенокъ, и вѣчно хотѣла новаго.

Однажды, въ припадкѣ скуки, сидитъ она вечеромъ у окна и вспоминаетъ о своей крестной матери — волшебницѣ Всевѣдѣ, которой „небеса вручили власть творить различны чудеса“, и

выражаетъ желаніе, чтобы Всевѣда ей „хоть глазки показала“. Всевѣда явилась, и Вѣтра́на говорить ей:

„Признаться, матушка, мнѣ такъ наскучилъ свѣтъ,
И такъ я все въ немъ ненавижу,
Что то одно и сплю и вижу,
Чтобъ какъ-нибудь попасть отсель
Хотя за тридевять земель;
Да только чтобы все въ глазахъ моихъ блистало,
Все новостію поражало
И рѣдкостью мой умъ и взоръ;
Гдѣ бъ разныхъ дивностей соборъ
Представилъ былъ, какъ небылицу...
Короче: дай свою увидѣть мнѣ столицу!“

Старуха, имѣя въ виду „поучить“ разочарованную Вѣтра́ну, согласилась на ея просьбу.

И крестница и мать взвились подъ небеса
На лучезарной колесницѣ,
Подобной въ быстротѣ синицѣ,
И меньше, нежели въ три мига,
Спустились въ новый міръ, отъ нашего отлѣнный,
Въ которомъ тронъ веснѣ воздвигнуть неизмѣнный.
Въ немъ рѣки какъ хрусталь, какъ бархатъ берега,
Деревья яблонны, кусточки ананасны,
А горы всѣ или янтарны, или топазы.
Каковъ же феинъ былъ дворецъ, признаться вамъ,
То врядъ изобразить и Богдановичъ самъ.

Однако авторъ изображаетъ этотъ дворецъ со всею его сказочною роскошью, и притомъ видимо подражая „Душенькѣ“.

Но, не смотря на обиліе чудесъ волшебнаго міра, и въ немъ есть предѣлъ разнообразію—и Вѣтра́на опять заскучала.

„Но что это за міръ?“
Вѣтра́на говоритъ, гармоніи внимая
Висящихъ по стѣнамъ золотострунныхъ лиръ:
„Все этакъ, то тоска возьметъ и среди рая!
Все чудо изъ чудесъ, куда ни поглядишь;
Но что мнѣ въ томъ, когда товарища не вижу!
Увы! я пуще жизнь мою возненавижу!
Веселье веселитъ, когда его дѣлишь“.

Но едва недовольная промолвила эти слова, какъ послѣдовала перемѣна ея обстановки:

Вдругъ набѣжала тьма, всталъ вихорь, грянулъ громъ,
Ужасна буря заревѣла;
Все рушится, падетъ вверхъ дномъ,

Какъ не бывалъ волшебный домъ,
И бѣдная Вѣтрапа,
Блѣдна, безгласна, бездыханна,
Стремглавъ летить, летить, летить,
И гдѣ жъ, вы мыслите, упала?
Средь страшныхъ муромскихъ лѣсовъ,
Жилища вѣдьмъ, волковъ,
Разбойниковъ и злыхъ духовъ.

Тутъ она видитъ разнаго рода ужасы, и между прочимъ страшнаго разбойника, который

Беретъ ее въ охапку,
И поперекъ кладетъ сѣдла,
А самъ, надвинувъ шапку,
Припавъ къ лукѣ, летитъ, какъ изъ лука стрѣла,
Летитъ, исполненный отваги,
И, Клязмы доскакавъ высокихъ береговъ,
Бухъ прямо съ нихъ въ рѣку, не говоря двухъ словъ;
Вѣтрапа жъ: ахъ!... и пробудилась.

Оказывается, что всѣ приключенія Вѣтрапы были не что иное, какъ сонъ, наведенный на нее Всевѣдой, которая и объясняетъ ей причину своего поступка:

„Прости мнѣ, милая! я видѣла, что ты,
По молодости лѣтъ, ударила въ мечты;
И для того, когда ты съ просьбой приступила,
Трехсуточнымъ я сномъ тебя обворожила,
И въ сновидѣнїяхъ представила тебѣ,
Что мы, всегда чужой завидуя судьбѣ
И новыхъ благъ желая,
Изъ доброй воли въ адъ влечемъ себя изъ рая.
Гдѣ лучше, какъ въ своей родимой жить семьѣ?
Итакъ, впередъ страшись ты покидать ее!
Будь добрая жена и мать чадолюбива,
И будешь всѣми ты почтенна и счастлива“.

Урокъ принесъ пользу: Вѣтрапа измѣнилась тотчасъ же, и „бросилась обнимать супруга, всѣхъ родныхъ и добрую Всевѣду“.

Разсказъ: „Воздушныя башни“, какъ уже сказано, есть подражаніе пьескѣ: „Alnascar“, содержаніе которой заимствовано изъ арабскихъ сказокъ, разсказанныхъ Шехерезадой (правильнѣе: Шехерзадой) и извѣстныхъ подъ именемъ: „Тысяча и одна ночь“. Обращеніе Дмитріева къ „Альнаскарѣ“ объясняется, кромѣ бывшей тогда моды на восточныя сказки и повѣсти, еще и тѣмъ, что самъ онъ когда-то увлекался арабскими сказками, и воспоминаемъ объ этомъ увлеченіи онъ и начинаетъ свои „Воздушныя башни“. Онъ говоритъ:

Утѣшно вспоминать подѣ старость дѣтски лѣты:
Забавы, рѣзвости, различные предметы,
Которые тогда увеселяли насъ!

Я часто и въ гостяхъ хозяевъ забываю;
Сижу, повѣся носъ; нѣтъ ни ушей ни глазъ;
Всѣ думаютъ, что я взмогся на Парнасъ,
А я... признаться вамъ, игрушкою играю,
Которая была

Мнѣ въ дѣтствѣ такъ мила,
Иль въ память привожу, какою мнѣ отрадой
Бывалъ тотъ день, когда, урокъ мой окончавъ,
Набѣгая въ садъ, уставши отъ забавъ
И бросаю на постель, займусь Шехерезадой.

Какъ сказки я ея любилъ!
Читая ихъ... прощай учитель,
Симбирскъ и Волга!.. все забылъ!
Уже я всей вселенной зритель,
И вижу тамъ и сямъ и карловъ, и духовъ,
И визирей рогатыхъ,
И рыбокъ золотыхъ, и лошадей крылатыхъ,
И въ видѣ кадіевъ волковъ.

Но сколько нужно словъ,
Чтобъ все пересчитать, друзья мои любезны!
Не лучше ль вамъ я ужоу,
Когда теперь одну изъ сказочекъ скажу?

Затѣмъ слѣдуетъ самая сказка, повѣствующая о слѣдующемъ. „Во дни иль самого Могола, или наслѣдника его престола“ молодой Альнаскаръ, получивъ въ наслѣдство отъ отца всего сто драхмъ, накопилъ на всю эту сумму хрустальной посуды, поставилъ ее въ коробъ на полу устроенной имъ лавчонки, а самъ

Ко стѣнкѣ прислонясь, глаза свои уставилъ
На коробъ, и съ собой вслухъ началъ разсуждать:
„Теперь“, онъ говоритъ, „и Альнаскаръ купчина!

И Альнаскаръ пошелъ на стать!
Надежда, счастье и будуща судьбина,
Иль лучше, вся моя казна
Здѣсь въ коробѣ погребена.—

Вотъ вздоръ какой мелкой!—погребена... пустое!
Она плодится въ немъ, и вѣрно черезъ годъ
Прибудетъ съ барышомъ, по крайней мѣрѣ вдвое;
Двѣ сотни—хоть куда изрядненькій доходъ!
На нихъ... еще куплю посуды; лучше тише—
И черезъ годъ еще двѣ сотни зашибу,

И также въ коробъ погребу.
И такъ годъ отъ году все выше, выше, выше,
Могу я наконецъ ужъ быть и въ десяти,
И болѣе; тогда скажу моимъ товарамъ

Съ признательною къ нимъ улыбкою: прости!
И буду... ювелиръ! Боярынямъ, боярамъ
Начну я продавать алмазы, изумрудъ,
Лазурь и яхонты, и... и—всего не вспомню!

Короче: золотомъ наполню
Не только лавку—цѣлый прудъ!
Тогда-то Альнаскаръ весь разумъ свой покажетъ!
Накупить лошадей, невольницъ, дачъ, садовъ,
Евнуховъ и домовъ,
И дружбу свяжетъ
Съ знатнѣйшими людьми:
Ихъ дружба лишь на взглядъ спесива;
Нѣтъ, только кланяйся да хорошо корми,
Такъ и полюбишься—она не прихотлива;

А у меня тогда
Всѣ тропки порастутъ персидскимъ виноградомъ;
Шербетъ польется, какъ вода;
Фонтаны брызнутъ лимонадомъ,
И масло розово къ услугамъ всѣхъ гостей.
А о столѣ уже ни слова:
Я только то скажу, что нѣтъ такихъ затѣй,
Нѣтъ въ свѣтѣ кушанья такого,
Какого у меня не будетъ за столомъ!
И мой великолѣпный домъ
Храмъ будетъ роскоши для всѣхъ, кто мнѣ любезенъ,
Иль властію своей полезенъ;
Всѣхъ буду угощать: пашей, наложницъ ихъ,
Плясавицъ, плясуновъ и кадіевъ лихихъ—
Визирскихъ подлипаль.—Итакъ умою, трудами,
А болѣ съ знатными водятся господами,
Легко могу войти въ чины и въ знатный бракъ...”

И Альнаскаръ уже мечтаетъ, какъ онъ станетъ мужемъ дочери визира, красавицы Земиры, и сдѣлается важнымъ вельможей.

„И я, по свадебномъ обрядѣ,
На утро, въ праздничномъ нарядѣ,
Весь въ камняхъ, въ жемчугѣ и въ золотѣ, какъ въ огнѣ,
Поѣду избочась и гордо на конѣ,
Котораго чепракъ съ жемчужной бахрамою
Унизанъ бирюзою,
Въ домъ къ тестю визирю. За мной и предо мною
Потянутся мои евнухи по два въ рядъ.
Визирь, еще вдали завидя мой парадъ,
Ужъ на крыльцѣ меня встрѣчаетъ,
И, въ комнаты введя, сажаетъ
По праву руку на диванъ,
Среди куреній благовонныхъ.

.....

А завтра... о восторгъ! о верхъ моихъ желаній!
 Лишь солнце выпрыгнетъ изъ водъ,
 Вдругъ пробуждаюсь я отъ радостнаго клика,
 И слышу: весь народъ,
 Отъ мала до велика,
 Толпами привала на дворъ,
 Кричатъ, составя хоръ:
 „Да здравствуетъ супругъ Земиры!“
 А въ залѣ знатность: сераскиры,
 Паши и прочіе стоятъ,
 И ждутъ, когда войти съ поклономъ имъ велятъ.
 Я всѣхъ ихъ допустить къ себѣ повелѣваю—
 И тутъ-то важну роль вельможи начинаю:
 У одного я руку жму;
 Съ другимъ вступаю въ разговоры;
 На третьяго взгляну, да и спиной къ нему;
 А на тебя, Абдуль, бросаю звѣрски взоры!
 Раскаешься тогда, сѣдой прелюбодѣй,
 Что разлучилъ меня съ Фатимою моею,
 Съ которой около трехъ дней
 Я жилъ душою въ душу!

Вспомнивъ разлучника Абдула, Альнаскаръ приходитъ въ такой азартъ, что разбиваетъ весь свой хрусталь.

О! я уже тебя не трушу,
 А ты передо мной дрожишь,
 Блѣднѣешь, падаешь, прахъ ногъ моихъ цѣлуешь.
 „Помилуй, позабудь прошедшее!“ жужжишь...
 Но нѣтъ прощенія! лишь пуще кровь волеаешь;
 И я, уже владѣть не въ силахъ ставъ собой,
 Ну по щекамъ тебя, по правой, по другой!
 Пинками!“ И въ жару восторга нашъ мечтатель,
 Визирскій гордый зять, Земиры обладатель,
 Ногою въ коробъ толкъ: тотъ на бокъ; а хрусталь
 Запрыгалъ, зазвенѣлъ—и въ дребезги разбился!—
 Итакъ, мои друзья, хоть жаль или не жаль,
 Но бѣдный Альнаскаръ—что дѣлать!—разженился.

„Воздушныя башни“, по нашему мнѣнію, лучшая сказка Дмитріева, по юмору разсказа, по отдѣлкѣ подробностей, по языку. Къ тому же въ сказкѣ этой можно видѣть не только добродушный смѣхъ надъ воздушными замками Альнаскара, но и психологическій этюдъ, наводящій на размышленіе о томъ, почему иные люди такъ любятъ строить эти замки. Такъ по крайней мѣрѣ смотритъ кн. Вяземскій. Онъ говоритъ: „Въ обломкахъ посуды бѣднаго Альнаскара многіе воздушные строители видятъ развалины своихъ недостроенныхъ зданій; но многіе ли его примѣромъ

отучатся строить на воздухѣ? Едва ли. И полно, жалѣть ли о томъ?.. Несчастный смертный, коему судьба отказываетъ часто въ уголокъ земли, на коемъ могъ бы онъ утвердить хотя одну надежду, долженъ по крайней мѣрѣ имѣть свободный входъ въ область мечтательную, гдѣ, будучи хозяиномъ наравнѣ со всѣми, можетъ онъ выгрузить избытокъ своихъ ожиданій и уходить въ безпокойную дѣятельность упованій, частѣ обманутыхъ, но никогда не разувѣренныхъ“ 42).

Самое важное мѣсто въ сказкѣ — конецъ ея, указывающій, что воздушные замки Альнаскара вызывались не столько материальнымъ его положеніемъ, сколько нравственнымъ, хотя послѣднее и обуславливалось первымъ: Абдуль не рѣшился бы обидѣть Альнаскара, если бы тотъ былъ богатъ и знатенъ.

Сказки Дмитріева относятся къ такъ называемой легкой поэзіи, поэзіи игривой, шутливой, но, не смотря на то, что авторъ, подражая французскимъ писателямъ, иногда вдается въ соблазнительныя подробности при описаніи порока (особенно въ „Модной женѣ“), онъ все-таки далеки отъ тѣхъ крайностей, до которыхъ доходила эта поэзія, когда бралась служить Вакху и Эроту, теряя всякое сколько-нибудь серьезное содержаніе. Этого послѣдняго нельзя сказать о сказкахъ Дмитріева, во всякомъ случаѣ имѣвшихъ своею цѣлю — наводить на размышленіе. Но Дмитріевъ отдалъ дань и той сторонѣ поэзіи „вѣтренаго Дората и его товарищей“, которая воспѣвала лишь веселье, беззаботность, поцѣлуи и проч. Однако произведенія его въ этомъ родѣ не отличаются ни художественностью ни остроуміемъ, а иногда они и прямо грубоваты, какъ, напримѣръ, его вакхическая пѣсня 1795 г., изъ которой достаточно привести лишь первый и послѣдній куплеты:

Други! время скоротечно,
И не видишь, какъ летитъ;
Молодыми быть не вѣчно:
Старость вмигъ насъ посѣтитъ.
Что же дѣлать? — такъ и быть!
Въ ожиданьи будемъ пить.

О аракъ, аракъ чудесный!
Ты весну намъ возвратилъ;
Ты согрѣлъ, какъ май прелестный,
Щеки розами покрылъ...
Чѣмъ же намъ тебя почтить?
Вдвое, втрое больше пить.

Причинъ для сближенія Дмитріева съ Карамзинымъ было двѣ: во-первыхъ, Дмитріевъ писалъ между прочимъ и въ сентиментальномъ стилѣ, а во-вторыхъ—и это главное—онъ былъ послѣдователемъ Карамзина въ языкѣ.

Сентиментальная струя встрѣчается во многихъ произведеніяхъ Дмитріева и даже, какъ мы видѣли, въ его торжественныхъ одахъ; но особенно замѣтна она въ нѣкоторыхъ его пѣсняхъ, изъ которыхъ одна можетъ даже служить образцомъ самаго сентиментальнѣйшаго произведенія. Мы говоримъ о пѣснѣ о голубкѣ (1792), которую и напомнимъ читателю.

Стонетъ сизый голубочекъ,
 Стонетъ онъ и день и ночь;
 Миленькій его дружокъ
 Отлетѣлъ надолго прочь.
 Онъ ужъ болѣ не воркуетъ
 И пшенички не клюетъ;
 Все тоскуетъ, все тоскуетъ,
 И тихонько слезы льетъ.
 Съ нѣжной вѣтки на другую
 Перепархиваетъ онъ,
 И подружку дорогую
 Ждетъ къ себѣ со всѣхъ сторонъ.
 Ждетъ ее... увы! но тщетно;
 Знать, судилъ ему такъ рокъ!
 Сохнетъ, сохнетъ непримѣтно
 Страстный, вѣрный голубокъ.
 Онъ ко травкѣ прилегаетъ;
 Носикъ въ перья завернулъ;
 Ужъ не стонетъ, не вздыхаетъ;
 Голубокъ... навѣкъ уснулъ!
 Вдругъ голубка прилетѣла,
 Приунывъ, издалека,
 Надъ своимъ любезнымъ сѣла,
 Будить, будить голубка;
 Плачетъ, стонетъ, сердцемъ ноя,
 Ходитъ милаго вокругъ—
 Но... увы! прелестна Хлоя!
 Не проснется милый другъ!

Сентиментальныя пѣсни Дмитріева очень долго пользовались большою популярностью, клались на музыку и распѣвались не только современниками автора, но и позднѣйшими поколѣніями, что можетъ засвидѣтельствовать пишущій эти строки, имѣвшій не одинъ случай слышать ихъ въ провинціальныхъ обществахъ пятидесятихъ годовъ (однако лишь въ Николаевскія времена). Особенною популярностью пользовались пѣсни: „Стонетъ сизый

голубочекъ“ и „Всѣхъ цвѣточковъ болѣ розу я любилъ“. О народномъ характерѣ подобныхъ пѣсенъ нечего, разумѣется, и говорить. Въ примѣчаніи къ пѣснѣ: „Ахъ! когда бъ я прежде знала, что любовь родитъ бѣды“ авторъ сказалъ, что она „*есть точное*“ подражаніе старинной простонародной пѣснѣ“. Но Галаховъ справедливо замѣтилъ, что „слова: *ярый воскъ* не доказываютъ еще народности, у которой есть, кромѣ особеннаго способа выраженія, свой образъ мыслей и чувствъ, чего пьеса Дмитріева вовсе не представляетъ“ ⁴³).

Что сентиментальныя пѣсни Дмитріева писались не безъ вліянія Карамзина, указываетъ и небольшое посланіе къ В. В. Измайлову (1826 г.), гдѣ Дмитріевъ между прочимъ говоритъ:

Увы, всему пора: и я былъ молодъ, пѣлъ;
Съ восторгомъ на вѣнокъ Карамзина смотрѣлъ,
И *состязался съ нимъ*, какъ съ другомъ, въ *пѣснопѣньи*...

Вторымъ основаніемъ сближать Дмитріева съ Карамзинымъ былъ, какъ сказано, языкъ его произведеній. Правда, въ раннихъ стихотвореніяхъ Дмитріева можно встрѣтить еще языкъ въ родѣ слѣдующаго:

Можетъ быть, въ сію минуту,
Милый другъ, всесильный рокъ
Посылаетъ Парку *люту*
Дней моихъ *преврати токъ*; ⁴⁴)

можно найти много остатковъ стариннаго стиля и вообще въ его торжественныхъ одахъ,—но во всѣхъ другихъ своихъ произведеніяхъ онъ является послѣдователемъ Карамзинской реформы. И всего важнѣе то, что Дмитріевъ понялъ самую сущность стремленій Карамзина, т.-е. желаніе его придать литературной рѣчи *изящество*. Но Карамзинъ обрабатывалъ главнымъ образомъ прозу; Дмитріевъ старался внести изящество въ стихи. И онъ достигъ своей цѣли: современники признали его „основателемъ языка стихотворнаго“, какъ признали они Карамзина „основателемъ прозы“. Вяземскій писалъ въ 1823 году: „Кажется, что вопросъ, кого должны мы утвердительно почестъ основателями нынѣшней прозы и настоящаго языка стихотворнаго, давно уже рѣшенъ большинствомъ голосовъ. Языкъ Ломоносова въ нѣкоторомъ отношеніи есть уже мертвый языкъ. Сумароковъ подвинулъ у насъ ходъ и успѣхи словесности, но не языка. Языкъ Державина, обильный поэтическою смѣлостію, красотами живописными и быстрыми движеніями, не можетъ быть почитаемъ за

языкъ классическій, или образцовый... Языкъ Хераскова и ему подобныхъ отцвѣлъ вмѣстѣ съ ними, какъ нарѣчіе скудное, единовременное, не взросшее отъ корня живого въ прошедшемъ и не путившее отраслей для будущаго. Въ нѣкоторыхъ изъ стиховъ и прозаическихъ твореній Фонвизина обнаруживается умъ открытый и острый; и хотя онъ первый, можетъ быть, угадалъ игривость и гибкость языка, но не оказалъ вполнѣ авторскаго дарованія: слогъ его есть слогъ умнаго человѣка, но не писателя изящнаго. Богдановичъ, въ нѣкоторыхъ отрывкахъ „Душеньки“ и другихъ стихахъ, коихъ доискиваться должно въ безднѣ стиховъ обыкновенныхъ, можетъ назваться баловнемъ счастья, но не питомцемъ искусства. Мольеръ сказалъ о Корнелѣ, что какой-то добрый духъ нашептывалъ ему хорошіе стихи его: то же можно сказать и о пѣвцѣ Душеньки, сожалья, что духъ враждебный такъ часто наговаривалъ ему на другое ухо — стихи вялые и нестройные“. А далѣе критикъ заявляетъ, что онъ, не находя въ Дмитріевѣ, какъ поэтѣ, никакого „коренного порока“, въ языкѣ его видитъ „правильность“, въ слогѣ — „красивость“ и сверхъ того — „свободность стихосложенія“ ⁴⁵⁾.

Говоря вообще, князь Вяземскій преувеличивалъ достоинства поэзіи Дмитріева; но отзывъ его о языкѣ и слогѣ этого писателя признается справедливымъ.

Тутъ кстати привести и то мѣсто изъ статьи Вяземскаго, гдѣ онъ даетъ общую характеристику поэтическихъ произведеній Дмитріева. Онъ имъ приписываетъ „вѣрный вкусъ, умъ острый и замысловатый, воображеніе не стремительное, но живое, насмѣшливость не язвительную, но колкую, совершенство отдѣлки и вообще тотъ глянецъ искусства, который преимущественно замѣтенъ въ твореніяхъ французовъ, и придаетъ послѣдній блескъ красотѣ, какъ художественная оправа удваиваетъ достоинство драгоценнаго камня“ ⁴⁶⁾.

Съ этою щедрою похвалою интересно сопоставить скромный отзывъ самого Дмитріева о своихъ твореніяхъ. Признавшись въ своихъ запискахъ, что онъ „нетерпѣливъ былъ обдумывать предпринимавшую работу“, Дмитріевъ продолжаетъ: „Оттого, можетъ быть, и примѣчается, даже самымъ мною, въ стихахъ моихъ скудость въ идеяхъ, болѣе живости, украшеній, чѣмъ глубокомыслія и силы. Оттого послѣдовало и то, что ни въ которомъ изъ лучшихъ моихъ стихотвореній нѣтъ обширной основы... Я никогда много не думалъ о стихахъ моихъ... Часто приходило мнѣ даже на мысль, что я и совсѣмъ не поэтъ, а пишу только по какому-то

случайному направленію, по одному навыку къ механизму... Кошунство, изображеніе картинъ, возмущающихъ непорочность, привѣтствія къ *Аминамъ* безъ дара Катулла и Анакреона, даже дружескія посланія, растворенныя многословіемъ, не принадлежать къ достоянію истиннаго поэта". И тутъ же Дмитріевъ высказываетъ свой взглядъ на поэзію. „Такъ! я и теперь не перемѣнилъ своего мнѣнія: поэзія, порожденіе неба, хотя и склоняетъ взоръ свой къ землѣ, но—здѣсь она проникаетъ во глубину сердецъ; наблюдаетъ сокровенныя ихъ изгибы, и живописуетъ страсти, держась всегда нравственной цѣли, воспламеняетъ къ добродѣтели, ко всему изящному и высокому, воспѣваетъ доблести обреченныхъ къ безсмертію. А тамъ—изливается въ удивленіи къ мірозданію, въ трепетномъ благоговѣніи къ Непостижимому. Вотъ назначеніе истинной поэзіи! Вотъ почему она и называется органомъ боговъ, а вдохновенный ею—поэтомъ“ ⁴⁷⁾.

Но мы не разсмотрѣли еще двухъ отдѣловъ произведеній Дмитріева: произведеній сатирическихъ и басенъ.

Къ сатирическимъ произведеніямъ Дмитріева относятся извѣстная его сатира: „Чужой толкъ“ (1794) и эпиграммы.

Сатира: „Чужой толкъ“ направлена противъ бездарныхъ слагателей торжественныхъ одъ, умѣвшихъ лишь рабски придерживаться принятыхъ еще Ломоносовымъ правилъ Буало да старавшихся наполнять свои оды напыщенными выраженіями. Какъ на образецъ такихъ одослагателей можно указать на Бухарскаго, помѣщавшаго свои стихи въ журналахъ Крылова: „Зритель“ (1792) и „Санктпетербургскій Меркурій“ (1793). Въ его одахъ встрѣчаются выраженія, очень напоминающія тѣ, надъ которыми смѣется Дмитріевъ. Такъ, напримѣръ, въ одѣ, написанной по случаю тезоименитства императрицы Екатерины II (1788), есть слѣдующіе стихи:

Какимъ я жаромъ воспалился!
Отверзлись умы очеса:
Се вѣчности храмъ растворился,
Въ немъ міра вижду чудеса.

Другая—„На взятіе Очакова“ (1788)—начинается такъ:

Какій восторгъ мой духъ объемлетъ!
Какій ліется въ мысли свѣтъ!
Какіе громы слухъ мой внимлетъ?
Что музу къ подвигу влечетъ? ⁴⁸⁾.

Имѣя въ виду подобныхъ одослагателей, Дмитріевъ и начинаетъ свою сатиру вопросомъ, предложеннымъ отъ лица старика, любителя литературы:

Что за диковинка? Лѣтъ двадцать ужъ прошло,
Какъ мы, напрягши умъ, наморщивши чело,
Со всеусердіемъ все оды пишемъ, пишемъ,
А ни себѣ ни имъ похвалъ нигдѣ не слышимъ?

Это тѣмъ удивительнѣе, замѣчаетъ старикъ, что одописцы не отступаютъ отъ правилъ сложенія одъ: „сперва прочтешь вступленье, тутъ предложеніе, а тамъ и заключенье“.

Отвѣтъ на вопросъ старика авторъ даетъ опять-таки не отъ себя, а влагаетъ его въ уста „какого-то Аристарха“, почему сатира и названа *чужимъ* толкомъ. Аристархъ первою причиною появленія неудачныхъ одъ считаетъ то обстоятельство, что за созданіе ихъ берутся часто люди случайные, не посвятившіе себя литературѣ. Онъ говоритъ:

... въ Москвѣ толкался я бывало
Межъ нашихъ Пиндаровъ и всѣхъ ихъ замѣчалъ:
Большая часть изъ нихъ—лейбъ-гвардіи капраль,
Ассесоръ, офицеръ, какой-нибудь подъячій,
Иль изъ кунсткамеры антикъ въ пыли ходячій,
Уродовъ стражъ—народъ все нужный, должностной;
Такъ часто я видалъ, что истинно иной
Въ два, въ три дни риему лишь прибрать едва успѣетъ,
Затѣмъ, что въ хлопотахъ досуга не имѣетъ.

Вторая причина—низменность цѣли.

Гораций, напримѣръ, восторгомъ грудь питаю,
Чего желалъ? О! онъ—онъ бралъ не свысока:
Въ вѣкахъ—безсмертія, а въ Римѣ—лишь вѣнка...
А нашихъ многихъ цѣль—награда перстенькомъ,
Нерѣдко сто рублей, иль дружество съ князькомъ,
Который отъ роду не читывалъ другого,
Кромѣ придворнаго подчасъ мѣсяцеслова...

Но самая главная причина появленія дурныхъ одъ—это отсутствіе у ихъ авторовъ таланта, образованности, начитанности.

Лучшая часть сатиры—конецъ ея: изображеніе того, „какъ писывалъ поэтъ природный оду“, затѣмъ указаніе на судьбу его произведенія:

И оду ужъ его тисненью предають,
И въ одѣ ужъ его намъ ваксу продають!

и наконецъ полное ѣдкой ироніи заключеніе, написанное отъ лица автора:

Да вѣдаетъ же всякъ по одамъ мой клеверетъ,
 Какъ дерзостный языкъ безславиль насъ, ничтожилъ,
 Какъ лириковъ цѣнилъ! Воспрянемъ! Марсій ожилъ!
 Товарищи! къ столу, за перья! отомстимъ!
 Надуемся, напредъ, ударимъ, поразимъ!
 Напишемъ на него предлинную сатиру,
 И оправдаемъ тѣмъ російскую громку лиру.

Князь Вяземскій оцѣнилъ сатиру Дмитріева очень высоко: онъ поставилъ ее наравнѣ съ Недорослемъ. „Какъ Фонвизинъ“ — говоритъ онъ — „одинъ написалъ русскую комедію, въ коей изображаются дурачества и пороки не заимствованные, а природные: такъ и нашъ поэтъ одинъ написалъ и, къ сожалѣнію, одну русскую сатиру, въ коей осмѣивается слабость, господствовавшая только на нашемъ Парнассѣ. *Недоросль* и *Чужой толкъ* носятъ на себѣ отпечатокъ народности, мѣстности и времени, который, отлагая въ сторону искусство авторское, придаетъ имъ цѣну отличную. Легко можно написать комическую сцену или десятокъ рѣзкихъ стиховъ сатирическихъ, при талантѣ и начитанности; но быть живописцемъ образцовъ, посреди коихъ живемъ, писать картины не на память или наобумъ, но съ природы, ловить черты характеристическія, оттѣнки въ фізіономіи лицъ и обществъ — можно только при умѣ наблюдательномъ, прозорливомъ и глубокомъ. Тогда удовольствіе соединяется съ пользою въ произведеніи искусства, и авторъ достигаетъ высоты назначенія своего: быть наставникомъ согражданъ“ ⁴⁹⁾. Пыпинъ же далеко не такъ доволенъ сатирой Дмитріева. Она, замѣчаетъ этотъ критикъ, „отмѣтила отчасти смѣшныя стороны тогдашняго стихотворства, но характеристика сочинителя одъ не отличается ясностью“. И въ объясненіе своего замѣчанія онъ прибавляетъ: Дмитріевъ „смѣшиваетъ, повидимому, совсѣмъ разные классы стихотворцевъ“, когда скакать къ Кролю, посѣщать Ліона и вообще вертѣться въ свѣтѣ заставляетъ не только лейбъ-гвардіи капрала, ассесора, офицера, но вмѣстѣ съ ними и подьячаго и кунсткамернаго антика. „Неужели, — говоритъ Пыпинъ, — свѣтскія заботы, спектакли, маскарады отягощали и этихъ людей?“ — Но Пыпинъ не признаетъ за „Чужимъ толкомъ“ и практическаго значенія, такъ какъ „ода держалась еще десятка два лѣтъ и скорѣе умерла естественною смертю, чѣмъ отъ сатиры Дмитріева“ ⁵⁰⁾.

Эпиграммы Дмитріева, эти небольшія и иногда очень колкія

стихотвореньица, не всѣ оригинальны, и лучшія изъ нихъ—переводныя. Одна переведена изъ François de Neufchateau:

Мнѣ лѣкаръ говорилъ: „Нѣтъ, ни одинъ больной
Не скажетъ обо мнѣ, что не доволенъ мной!“—
„Конечно“, думалъ я: „никто того не скажетъ:
Смерть всякому языку привяжетъ“.

Другая — изъ Lebrun: „Dialogue entre un pauvre poète et l'auteur“:

„Я разорился отъ воровъ!“
— „Жалѣю о твоёмъ я горѣ“.—
„Укралъ пукъ моихъ стиховъ!“
— „Жалѣю я о ворѣ“.—

Теперь скажемъ о басняхъ Дмитріева. Въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ онѣ не оригинальны: Дмитріевъ главнымъ образомъ или переводилъ чужія басни — Флоріана, Лафонтена, Буасара, Арно, Гишара, Барба и многихъ другихъ, — или подражалъ имъ. Но и переводныя басни могутъ служить въ извѣстной степени характеристикой баснописца. Прежде всего интересенъ вопросъ, съ какимъ именно содержаніемъ выбиралъ Дмитріевъ басни для перевода или подражанія.

Дмитріевъ, какъ знаемъ, имѣлъ случай хорошо ознакомиться съ современными ему нравами придворныхъ, и въ одномъ мѣстѣ своихъ записокъ, которое мы уже приводили ⁵¹⁾, восклицаетъ: „Сколько хитростей, даже и мелочей въ дворской наукѣ!“ Судя по всему, знакомство съ придворными вельможами, которыхъ онъ называлъ „коварными царедворцами“ ⁵²⁾, оставило въ немъ большую долю горечи. Эта-то горечь, по всей вѣроятности, и заставляла его останавливать свое вниманіе на такихъ басняхъ, въ которыхъ выводились отрицательные типы людей этого класса. Вотъ, думаемъ мы, причина, вызвавшая переводъ басенъ: „Придворный и Протей“ (изъ Флоріана) и „Двѣ лисы“ (изъ Гишара). Въ первой изъ нихъ изображенъ придворный, умѣвшій мѣнять свой видъ не хуже самого Протeya. На страну напалъ моръ, а „срокъ бѣдамъ зависѣлъ отъ Протeya“. Но кто можетъ управиться съ этимъ богомъ, умѣющимъ „различны виды брать?“ Однако нашелся одинъ придворный—и пошелъ ловить виновника бѣдъ.

Увидя рыцаря, Протей затрепеталъ,
И вмигъ—какъ не бывалъ,
А выползла змѣя красивая, скрывъ жало.
„Куда какъ мудрено!“
Сказалъ съ усмѣшкою придворный:

„Я ползать и колоть ужъ выучень давно!“

И кинулся герой проворный

Ловить Протея.—Тотъ вдругъ обезьяной сталъ,

Тамъ волкомъ, тамъ лисою.—

„Не хвастайся передо мною!

И этому гораздъ!“ придворный говорилъ,

А между тѣмъ его веревкою крутилъ...

Во второй баснѣ — изъ разговора двухъ лисицъ уясняется, чѣмъ занимаются иные придворные.

Вчера подслушалъ я, двѣ разныхъ свойствъ лисицы

Такой имѣли разговоръ:

— „Ты ль это, кумушка? давно ли изъ столицы?“—

„Давно ль оставила я дворъ?

Съ недѣлю.“—„Какъ же ты разѣлась, подобрѣла!

Знать, при дворѣ у льва привольное житье?“—

„И очень! досыта всего пила и ѣла“.

— „А въ чемъ тамъ ремесло главнѣйшее твое?“—

„Бездѣлица! съ утра до вечера таскаться;

Гдѣ такнуть, гдѣ польстить, предъ сильнымъ унижаться,

И больше ничего“.—„Какое ремесло!“—

„Однакожъ мнѣ оно довольно принесло:

Чинъ, мѣсто“.—„Горькій плодъ! чины не возвышаютъ,

Когда ихъ подлости цѣною покупаютъ“.

Какъ бы съ цѣлю рѣче отгнать недостатки придворныхъ, а отчасти, можетъ быть, и съ цѣлю выразить свое сочувствіе свѣтлымъ сторонамъ личности императора Александра, Дмитріевъ переводилъ и такія басни, въ которыхъ находилъ изображеніе гуманнаго и любящаго свой народъ царя.

Таковы, напримѣръ, басни: „Калифъ“ (Флоріана), „Три льва“ (Imbert), „Царь и два пастуха“ (Флоріана же). Въ первой есть даже уже готовое, сдѣланное самимъ Флоріаномъ сопоставленіе жестокаго, деспотическаго и подобострастнаго визиря съ добрымъ и правосуднымъ калифомъ. Но въ выборѣ одной изъ сейчасъ указанныхъ басенъ можно предположить и еще одну цѣль: цѣль, подобную той, съ какою и Карамзинъ написалъ свое „Похвальное слово императрицѣ Екатеринѣ“. Мы говоримъ о баснѣ: „Царь и два пастуха“, въ которой идетъ рѣчь о способѣ создать хорошее управленіе.

Какой-то государь, прогуливаясь въ полѣ,

Раздумался о царской долѣ.

„Нѣтъ хуже нашего, онъ мыслилъ, ремесла:

Желалъ бы дѣлать то, а дѣлаешь другое!

Я всей душой хочу, чтобъ у меня цвѣла

Торговля; чтобъ народъ мой ликовалъ въ покоѣ,—

А принуждён вести войну,
 Чтобъ защищать мою страну.
 Я подданныхъ люблю, свидѣтели въ томъ боги,
 А долженъ прибавлять еще на нихъ налоги;
 Хочу знать правду—миѣ всё лгутъ.
 Бояре лишь чины берутъ,
 Народъ мой стонетъ, я страдаю,
 Совѣтуюсь, тружусь—никакъ не успѣваю;
 Полсвѣта властелинѣ, не веселюсь ничѣмъ!“
 Чувствительный монархъ подходитъ между тѣмъ
 Къ пасущейся скотинѣ:
 И что же видитъ онъ? разсыпанныхъ въ долину
 Барановъ, тощихъ до костей,
 Овечекъ безъ ягнятъ, ягнятъ безъ матерей!
 Всѣ въ страхѣ бѣгають, кружатся,
 А псамъ и нужды нѣтъ: они подъ тѣнь ложатся;
 Лишь бѣдный мечется пастухъ:
 То за бараномъ въ лѣсъ во весь онъ мчится духъ,
 То бросится къ овцѣ, которая отстала,
 То за любимымъ онъ ягненкомъ побѣжитъ,
 А между тѣмъ ужъ волкъ барана въ лѣсъ тащитъ;
 Онъ къ нимъ, а здѣсь овца волчихи жертвой стала.
 Отчаянный пастухъ рветъ волосы, реветъ,
 Бьетъ въ грудь себя и смерть зоветъ.
 „Вотъ точный образъ мой“, сказалъ самовластитель:
 „Итакъ, и смиреннѣйшихъ животныхъ охранитель
 Такими жъ, какъ и мы, напастьми окруженъ,
 И онъ, какъ царь, порабощенъ!
 Я чувствую теперь какую-то отраду“.
 Такъ думая, впередъ онъ путь свой продолжалъ,
 Куда? и самъ не зналъ;
 И наконецъ пришелъ къ прекраснѣйшему стаду.
 Какую разницу монархъ увидѣлъ тутъ!
 Баранамъ счету нѣтъ, отъ жира чуть идутъ;
 Шерсть на овцахъ, какъ шелкъ, и тяжестью ихъ клонитъ;
 Ягнятки, кто кого скорѣе перегонитъ,
 Толпятся къ маткинымъ питательнымъ сосцамъ;
 А пастушокъ въ свирѣль подъ липою играетъ,
 И милую свою пастушку воспѣваетъ.
 „Не одобровать, овечки, вамъ!“
 Царь мыслитъ: „волкъ любви не чувствуетъ закона,
 И пастуху свирѣль худая оборона“.
 А волкъ и подлинно, откуда ни возьмись,
 Во всю несется рысь;
 Но псы, которые то стадо сторожили,
 Вскочили, бросились и волка задавили;
 Потомъ одинъ изъ нихъ ягненочка догналъ,
 Который далеко отъ страха забѣжалъ,
 И тотчасъ въ кучу всѣхъ попрежнему собрались;

Пастухъ же все поеть, не шевелясь нимало.
Тогда уже въ царѣ терпѣнія не стало.
„Возможно ль?“ онъ вскричалъ: „здѣсь множество волковъ,
А ты одинъ... умѣлъ сберечь большое стадо!“
— „Царь!“ отвѣчалъ пастухъ: „тутъ хитрости не надо:
Я выбралъ добрыхъ псовъ“.

Басня эта была напечатана въ „Вѣстникѣ Европы“ 1802 г. и, безъ сомнѣнія, нравилась Карамзину, такъ какъ наводила на мысль, что не учрежденія важны, а люди, — мысль, на которой онъ потомъ стоялъ въ своей знаменитой „Запискѣ“.

Но не съ одними придворными знакомъ былъ Дмитріевъ: ему хорошо былъ извѣстенъ и чиновничій міръ его времени, въ особенности кругъ высшей бюрократіи. Въ своихъ запискахъ онъ отмѣтилъ не мало темныхъ сторонъ этой части современнаго ему общества: происки, эгоизмъ, надменность и раболѣпство, любостяжаніе и честолюбіе, правило уважать только того, кого боишься, или отъ кого надѣешься получить какую-либо выгоду и т. п. Богатое собраніе пороковъ! Однако Дмитріевъ въ своихъ басняхъ былъ гораздо болѣе скроменъ, чѣмъ въ запискахъ: сатира на чиновничій міръ въ его басняхъ занимаетъ очень небольшое мѣсто. „Ружье и заяцъ“ (изъ Imbert), „Часовая стрѣлка“ (изъ Nogent), „Сверчки“ (изъ Ламотта) — вотъ и все, что могло быть примѣнено и къ нашимъ „служивцамъ“: бывали и у насъ „дремлющіе председатели“ (Ружье и заяцъ), бывали и такіе занимающіе важные посты чиновники, которые только и держались своими секретарями (Часовая стрѣлка), бывали и судьи-лицемѣры, старавшіеся казаться обществу добродѣтельными и трудолюбивыми, а на самомъ дѣлѣ все ихъ „уложеніе“ только въ томъ и состояло, чтобы

Богатому служить, предъ сильнымъ пресмыкаться,
А до другихъ и дѣла нѣтъ. (Сверчки).

Впрочемъ сатирическихъ басенъ у Дмитріева и вообще не много: въ его басняхъ преобладаетъ не сатирическое, а дидактическое направленіе, при чемъ мораль ихъ обыкновенно чисто житейская, самаго общаго характера. Вотъ образцы темъ, на которыхъ написаны переведенныя или заимствованныя имъ дидактическія басни: „всякъ своей бѣдой ума себѣ прикупить“ (Чижики и зяблица); „на ближнихъ уповай, а самъ ты не плошай“ (Жаворонокъ съ дѣтьми и земледѣлецъ); „всякъ только своему разсудку вслѣдъ идетъ, а вѣруеть бѣдѣ не прежде, какъ придетъ“ (Ласточка и птички); „впередъ по виду ты не дѣлай заключенья“

(Пѣтухъ, котъ и мышонокъ); „опасенъ крупный врагъ, а мелкій часто вдвое“ (Левъ и комаръ); „тотъ, вѣрно, сталъ умнѣй, кто въ школѣ бѣдствій былъ“ (Разбитая скрипка); „хорошее всегда знакомство въ прибыль намъ“ (Полевой цвѣтокъ и гвоздика), и т. п. Есть басня и съ такой моралью: „держись всегда своей тропинки тихомолкомъ“ (Летучая рыба). Въ переводныхъ басняхъ-сатирахъ, за исключеніемъ уже указанныхъ выше, осмѣиваются самонадѣянность, хвастливость и тому подобныя людскія слабости; но встрѣчаются и басни съ замѣчательными сатирическими типами: одинъ изъ нихъ изображенъ Лафонтеномъ („Мышь, удалившаяся отъ свѣта“), другой — Флоріаномъ („Лиса-проповѣдница“).

Между оригинальными баснями Дмитріева, которыхъ у него очень не много, заслуживаетъ вниманія, своимъ содержаніемъ и типичнымъ изображеніемъ кабана, изданная въ 1818 г. басня-сатира: „Бобръ, кабанъ и горностаѣ“.

Кабанъ, да бобръ и горностаѣ
 Стакнулись къ выгодамъ искать себѣ дороги.
 По долгомъ странствіи, въ пути отбивши ноги,
 Приходятъ наконецъ въ обѣтованный край,
 Привольный для всего; однакожъ этотъ рай
 Былъ окруженъ болотомъ,
 Выѣстилищемъ и жабъ и змѣй.
 Что дѣлать? Никакимъ не можно изворотомъ
 Болота миновать, а кто себѣ злодѣй?
 Кому охотно жизнь отваживать безъ славы?
 Въ раздумьи путники стоятъ у переправы.
 „Осмѣлюсь!“ горностаѣ помыслилъ; и слегка
 Онъ лапку въ бродъ—и вонъ, и одалъ въ два прыжка:
 „Нѣтъ, братцы“, говоритъ: „по совѣсти признаться,
 Со всѣмъ обиліемъ край этотъ не хорошъ;
 Чтобъ входъ къ нему найти, такъ должно замараться,
 А мнѣ и пятнышко ужаснѣе, чѣмъ ножъ!“
 — „Ребята!“ бобръ сказалъ: „съ терпѣньемъ
 И умѣньемъ
 Добьешься до всего; я въ двѣ недѣли мостъ
 Исправный здѣсь построю:
 Тогда мы перейдемъ къ довольству и покою;
 И гады въ сторонѣ, и не замаранъ хвостъ;
 Вся сила—не спѣшить и бодрствовать въ надеждѣ.“—
 „Въ полмѣсяца? пустякъ! я буду тамъ и прежде“,
 Вскричалъ кабанъ—и разомъ въ бродъ:
 Ушелъ по рыло въ топъ, и змѣй и жаба—все давить,
 Ногами бьетъ, шыхтитъ, упорно къ цѣли править,
 И хватски на берегъ изъ мутныхъ вылѣзъ водъ.

Межъ тѣмъ какъ на другомъ товарищи зѣваютъ,
Кабанъ, встряхнувшись, надменный принявъ видъ,
И чрезъ болото къ нимъ съ презрѣніемъ хрючить:
„Вотъ какъ по-нашему дорогу пробиваются!“

Затѣмъ нельзя не остановиться еще на баснѣ: „Молитвы“, находящейся въ связи не только съ религіознымъ чувствомъ Дмитріева, но и съ его религіозными воззрѣніями. Очень можетъ быть, что басня эта есть возраженіе мистикамъ, отвергавшимъ внѣшнюю обрядность. По крайней мѣрѣ въ рѣчи выведеннаго въ баснѣ „мудреца“, на которую возражаетъ „благочестивый мужъ“, можно видѣть слѣды мистическаго ученія.

Въ преддверьи храма
Благочестивый мужъ прихода ждалъ жреца,
Чтобъ горстью еиміама
Почтить вселенныя Творца
И вознести къ Нему смиренныя обѣты:
Онъ въ море отпустилъ пять съ грузомъ кораблей;
Отправилъ на войну любимыхъ двухъ дѣтей,
Въ цвѣтущія ихъ лѣты,
И ждалъ съ часа на часъ отъ милыхъ жены
Любови новаго залога.
Довольно и одной послѣднія вины
Къ тому, чтобъ вспомнить Бога!
Увидя съ улицы его, одинъ мудрецъ
Зашелъ въ преддверіе и сталъ надъ нимъ смѣяться.
„Возможно ль“, говоритъ: „какой ты образецъ?
Тебѣ ли съ чернію равняться?
Ты умный человѣкъ, а вѣришь въ томъ жрецамъ,
Что наше пѣніе доходитъ къ небесамъ.
Невѣдомый, Кто сей громадой міра править,
Кто взглядомъ можетъ все творенье истребить,
Восхочетъ ли на то вниманье обратить,
Что непримѣтный червь Его жужжаньемъ славить?
Подите прочь, ханжи, вы съ ладономъ своимъ!
Вы истинныя вѣры чужды!
Молитвы... нѣтъ Тому въ нихъ нужды,
Кто мудрыми боготворимъ“...
— „Постой!“ здѣсь набожный его перерываетъ:
„Не истощай ты силъ своихъ!
Что Богу нужды нѣтъ въ молитвахъ—всякій знаетъ;
Но можно ль намъ прожить безъ нихъ?“

Разсмотрѣвъ басни Дмитріева, мы приходимъ къ заключенію, что онъ имѣли очень ограниченное примѣненіе къ русской собственнo жизни, и большинство ихъ вращается въ сферѣ общественной морали. Князь Вяземскій сильно преувеличивалъ ихъ

значение, и, сказавши: „Не ставлю Дмитріева выше Крылова; но не ставлю и Крылова выше Дмитріева“ ⁵³⁾, сравнивалъ обоихъ баснописцевъ. Но уравнивать ихъ нельзя ужъ потому, что Крыловъ является авторомъ болѣе сотни оригинальныхъ басенъ, тогда какъ Дмитріевъ почти исключительно или переводилъ чужія, или подражалъ имъ. Затѣмъ за Крыловымъ остается преимущество, какъ въ отношеніи народности его басенъ, такъ и историческаго ихъ значенія. Впрочемъ кн. Вяземскій судилъ о басняхъ того и другого писателя главнымъ образомъ лишь съ художественной стороны — и вотъ его взглядъ: „Дмитріевъ и Крыловъ — два живописца, два первостатейные мастера двухъ различныхъ школъ. Одинъ беретъ живостью и яркостью красокъ: онѣ всѣмъ кидаются въ глаза и радуютъ ихъ игривостью своею, рельефностью, поразительною выпуклостью. Другой отличается болѣе правильностью рисунка, очерковъ, линий. Дмитріевъ, какъ писатель, какъ стилистъ, болѣе художникъ, чѣмъ Крыловъ, но уступаетъ ему въ живости рѣчи. Дмитріевъ пишетъ басни свои; Крыловъ ихъ рассказываетъ. Тутъ можетъ явиться разница во вкусахъ: кто любитъ болѣе читать, кто слушать. Въ чтеніи преимущество остается за Дмитріевымъ“. Къ этому критикъ дѣлаетъ слѣдующую прибавку, замѣчательную тѣмъ, что въ ней сатирическій характеръ басенъ Крылова ставится автору какъ бы въ упрекъ. „Басни Дмитріева — всегда басни“, говоритъ Вяземскій. „Хорошъ или нѣтъ этотъ родъ, это зависитъ отъ вкусовъ; но онъ придерживался условій его. Басни Крылова нерѣдко драматизированныя эпиграммы на такой-то случай, на такое-то лицо“ ⁵⁴⁾. Если приведенный взглядъ Вяземскаго и не принять цѣликомъ, то во всякомъ случаѣ нельзя и не признать за баснями Дмитріева значительной степени художественности, въ особенности, сравнивая ихъ съ баснями предыдущихъ писателей — Сумарокова, Хераскова и др. Дмитріевъ дѣйствительно много способствовалъ усовершенствованію нашей басни — и Крыловъ уже имѣлъ въ немъ хорошаго предшественника и, пожалуй, даже учителя.

Кромѣ указанныхъ разрядовъ произведеній, у Дмитріева есть еще не мало мелкихъ стихотвореній такого рода: стихотворенія въ альбомы, надписи къ портретамъ, къ статуямъ, бюстамъ, мадригалы, короткія стихотвореньица на разные случаи. Упоминаемъ объ этихъ стихотворныхъ мелочахъ потому, что онѣ встрѣчаются не у одного Дмитріева, а у очень многихъ поэтовъ

его времени—и были тогда въ большой модѣ. Вотъ, для примѣра, нѣсколько такихъ мелочей Дмитріева.

Надпись къ портрету М. М. Хераскова (1801).

Пускай отъ зависти сердца въ зоилахъ ноютъ;
Хераскову они вреда не принесутъ:
Владимиръ, Іоаннъ шитомъ его покроютъ
И въ храмъ безсмертья приведутъ.

Эпитафія Богдановичу (1803).

На урну преклонясь вечернею порою,
Амуръ невидимо здѣсь часто слезы льетъ
И мыслить, отягченъ тоскою:
Кто Душеньку мою такъ мило воспоетъ?

Мадригалъ (1798).

По чести, отъ тебя не можно глазъ отвести;
Но что къ тебѣ влечетъ? загадка непонятна;
Ты не красавица, я вижу... а пріятна!
Ты бъ лучше быть могла; но лучше такъ, какъ есть.

Тутъ кстати сказать, что въ тѣ времена были въ модѣ такъ называемыя *буримы* (bouts-rimés), т.-е. стихотворенія на заданныя рѣмы. У Дмитріева ихъ нѣтъ, но Карамзинъ, Вас. Пушкинъ и Нелединскій-Мелецкій въ нихъ упражнялись ⁵⁶⁾.

Если Вяземскій вообще преувеличивалъ достоинства и значеніе произведеній Дмитріева, то съ другой стороны новѣйшая критика впадаетъ иногда въ противоположную крайность и отводитъ этому писателю ужъ слишкомъ ничтожное мѣсто въ исторіи нашей литературы. Такъ, напримѣръ, Пыпинъ не признаетъ за нимъ никакого историческаго значенія и говоритъ: „для новыхъ литературныхъ поколѣній Дмитріевъ, какъ писатель, не могъ представлять большого интереса и не могъ имѣть никакого вліянія“. ⁵⁶⁾ Но такъ ли это?—Въ 1899 г. вышла брошюра профессора Кіевскаго университета П. В. Владимірова: „А. С. Пушкинъ и его предшественники въ русской литературѣ“. ⁵⁷⁾ Въ этой брошюрѣ между прочимъ читаемъ: „Лицейскія стихотворенія Пушкина, дошедшія до насъ, представляютъ подражанія не только поэтамъ новой школы: Карамзину, Батюшкову, Жуковскому, но и прежнимъ пѣвцамъ Россійскаго Парнасса: Державину, *Дмитріеву*, Хераскову, Богдановичу и др. Слѣдуя послѣднимъ, Пушкинъ порывается овладѣть эпическими формами полушуточ-

ныхъ, полуисторическихъ поэмъ, въ родѣ Бовы, Руслана и Людмилы“. 58) Затѣмъ авторъ брошюры, указавъ, въ чемъ состояло вліяніе на Пушкина поэзіи Державина, Хераскова и Богдановича, останавливается на Дмитріевѣ и отмѣчаетъ тотъ фактъ, что Пушкинъ очень увлекался сказками Дмитріева, называлъ ихъ „прелестными“ и кое-что изъ нихъ заимствовалъ. Такъ въ слѣдующихъ стихахъ въ элегіи Пушкина 1816 г. „Разлука“:

Но я уныль и втайнѣ я грущу.
Блеснетъ ли день за синею горою,
Взойдетъ ли ночь съ осеннею луною—
Я все тебя, прелестный другъ, ищу

Владиміровъ видитъ подражаніе стихамъ въ „Причудницѣ“:

Я жизнь мою во скукъ трачу:
Настанетъ день—тоскую, плачу;
Покроетъ ночь—опять грущу,
И все чего-то я ищу.

„Причудница“ же, въ которой есть вставочный рассказъ о драгунскомъ ротмистрѣ Брамербасѣ (на немъ, обращенномъ въ коня, вѣдьма разгуливала до полуночи), дала, по мнѣнію Владимірова, сюжетъ Пушкинскому „Гусару“. Тотъ же критикъ полагаетъ, что самая любовь Пушкина къ эпиграммамъ и пѣснямъ устанавливалась не безъ вліянія Дмитріева. Не могли, говоритъ авторъ брошюры, пройти безъ вліянія на Пушкина и наблюденія Дмитріева надъ русской жизнью, хотя и неполныя, отрывочныя, выразившіяся въ „Чужомъ толкѣ“ и въ нѣкоторыхъ сказкахъ. 59)

Правда, уже въ 1822 г. Пушкинъ писалъ: „Англійская словесность начинаетъ имѣть вліяніе на русскую. Думаю, что оно будетъ полезнѣе вліянія французской поэзіи, робкой и жеманной. Тогда нѣкоторые люди упадутъ, и посмотримъ, гдѣ очутится Ив. Ив. Дмитріевъ съ своими чувствами и мыслями, взятыми изъ Флоріана и Легуве“. 60) Но какъ нельзя на основаніи этихъ словъ утверждать, что самъ Пушкинъ не находился прежде подъ вліяніемъ французской литературы, такъ нельзя отрицать и извѣстной доли вліянія на него произведеній Дмитріева.

Но, говоря о вліяніи Дмитріева на молодыхъ писателей, надо имѣть въ виду не однѣ „чувства и мысли“, но и языкъ, которымъ онѣ выражались. „Нельзя не удивляться тому, какъ умѣлъ усовершенствовать свой стихъ и языкъ Дмитріевъ“, говоритъ Владиміровъ. 61) Нѣтъ сомнѣнія, что этотъ усовершенствованный стихъ и языкъ—не маловажное наслѣдство, оставленное Дмитріевымъ слѣдующему поколѣнію писателей.

Принимая во вниманіе всѣ эти факты, едва ли можно считать Дмитріева писателемъ, не имѣвшимъ *никакого* вліянія на новое литературное поколѣніе, т.-е. считать его писателемъ, какъ бы не существующимъ для исторіи нашей литературы.

III. В. Л. Пушкинъ (1770—1830).

Первый взглядъ на сочиненія В. Пушкина.—Его басни, характеризующія автора.—Его сказки.

Какъ писатель, Василій Львовичъ Пушкинъ, дядя нашего знаменитаго поэта, во многихъ отношеніяхъ напоминаетъ Дмитріева, которому онъ и старался подражать. И дѣйствительно, при первомъ же взглядѣ на собраніе сочиненій Василя Львовича ⁶²⁾ невольно вспоминается Дмитріевъ. Оно начинается цѣлымъ рядомъ басенъ и сказокъ, т.-е. такими родами произведеній, которыя доставили Дмитріеву славу у современниковъ. Далѣе въ собраніи сочиненій Василя Львовича идетъ отдѣлъ, озаглавленный: „Разныя стихотворенія“. Правда, Василій Львовичъ не писалъ ни торжественныхъ одъ, ни героическихъ поэмъ—и этимъ онъ отличается отъ Дмитріева,—но зато въ другихъ отношеніяхъ стихотворенія его въ упомянутомъ отдѣлѣ опять-таки напоминаютъ Дмитріева: тутъ мы встрѣчаемъ опять тѣ же роды поэтическихъ произведеній, которыя любилъ Дмитріевъ: эпиграммы, мадригалы, эпитафіи, надписи къ портретамъ, стихи въ альбомы, стихи, обращенные къ Хлоѣ, и пѣсни. Это, конечно, все мелочи; но есть тутъ и произведенія съ серьезнымъ содержаніемъ: нѣсколько стихотвореній, имѣющихъ автобіографическое значеніе, а главное—посланія къ разнымъ лицамъ, затрогивающія нѣкоторые современные вопросы и обрисовывающія В. Пушкина, какъ одного изъ образованнѣйшихъ людей своего времени. Форма посланія однако также не была оригинальностью у Василя Львовича: эту форму ввели у насъ Карамзинъ и Дмитріевъ.

Мы не будемъ останавливаться на самыхъ мелкихъ стихотвореніяхъ В. Пушкина, а скажемъ лишь о его басняхъ и сказкахъ, и затѣмъ, сообщивъ біографическія о немъ свѣдѣнія, остановимся главнымъ образомъ на его посланіяхъ.

Басни В. Пушкина также далеко не всѣ оригинальны: очень многія изъ нихъ заимствованы изъ тѣхъ же источниковъ, откуда бралъ и Дмитріевъ: у Лафонтена, Флоріана, Буасара, Гишара и проч. Между баснями Василя Львовича особенно часто встрѣ-

чаются такіа, которыя оправдываютъ представленіе современниковъ о немъ, какъ о человѣкѣ съ чрезвычайно добрымъ сердцемъ: онъ, по выраженію Дмитріева, готовъ былъ „обнять, любить весь свѣтъ“ ⁶⁸). Этой-то сердечностью Пушкина и объясняется, почему среди его басенъ есть такіа, какъ „Голубка“ (1806, изъ Буасара), „Ощипанный пѣтухъ“ (1808), „Павлинь, зябликъ и сорока“ (1812), „Великодушный царь“ (1815, изъ Гишара) и „Волкъ и его товарищи“ (1822). Коротенькая басня: „Голубка“ гласить слѣдующее:

Голубка, подъ кустомъ прижавшись, говорила:
„Ахъ, ястребъ пролетѣлъ! Какая злость и сила!
Но, право, я должна судьбу благодарить,
Что ястребомъ меня она не сотворила.
Не лучше ль жертвою, а не злодѣемъ быть?“

Во второй изъ названныхъ басенъ авторъ выражаетъ свое сочувствіе всѣмъ „гонимымъ судьбой“. Лисица поймала пѣтуха и, ощипавъ ему перья, уже готовилась сѣсть за обѣдъ. Случайно жертва спаслась, благодаря псу Полкану, пустившемуся ловить лисицу. Пѣтухъ безъ перьевъ возвратился въ курятникъ.

„Не думалъ никогда увидѣться я съ вами“,
Бѣдняжка курицамъ сказалъ:
„Чертъ на меня бѣду ужасную послалъ,
И если бъ не Полканъ съ зубами,
Конечно бъ не былъ я въ живыхъ!“

Въ курятникѣ однако бѣдняка не встрѣтили сочувственно.

— „Какое дѣло намъ до шалостей твоихъ!“
Всѣ куры въ голосъ закричали:
„Безъ перьевъ, голякамъ, не можемъ мы помочь.
Бѣги отсель прочь,
Пока не заклевали!“—
Ощипанный пѣтухъ, собравъ остатокъ силъ,
Отъ курицъ лыжи наострилъ.

Въ заключеніи авторъ говоритъ:

*Гонимые судьбой, не тратьте словъ напрасныхъ!
Вездѣ пріемъ такой бываетъ для несчастныхъ.*

Третья басня—„Павлинь, зябликъ и сорока“—написана на тему:

Злыхъ людей въ томъ состоитъ умѣнье,
Чтобъ недостатки находить.
А добрый счастливъ тѣмъ, что можетъ онъ хвалить.

Басня: „Великодушный царь“ такова:

На смерть невольникъ осужденный,
Лишась надежды всей, монарха поносилъ.
„Что говорить несчастный?“ спросилъ
Чиновниками царь своими окруженный.
— „Онъ о тебѣ къ Творцу“, любимецъ отвѣчалъ,
„Моленья возсылаеть,
И съ сокрушеніемъ, съ слезами умоляетъ,
Чтобъ жизнь ему ты даровалъ!“ —
„Свободенъ онъ! *Прощать—для сердца утѣшеніе!*“
— „Напрасно, государь, даруешь ты прощенье“,
Завистливый одинъ придворный закричалъ:
„Неистовый злодѣй, въ ужасномъ изступленѣ,
Тебя, я слышалъ, проклиналъ“.
— „Нѣтъ мужды: на него я милость обращаю.
Къ добру меня влечетъ любимецъ вѣрный мой;
Въ жестокой правдѣ нѣтъ отрады никакой,—
И благотворну ложь я ей предпочитаю“.

Басня: „Волкъ и его товарищъ“ по основной мысли нѣсколько аналогична съ басней: „Ощипанный пѣтухъ“: въ ней авторъ тоже заступаетъ за „несчастныхъ“, но вмѣстѣ съ тѣмъ и протестуетъ противъ эгоизма. Волкъ попалъ въ бѣду; товарищъ его не выручилъ. Басня заканчивается словами погибающаго волка:

„Я наконецъ на опытѣ узналъ,
Что *выгоды свои всѣ исполнять умѣютъ*;
Несчастные жъ друзей въ семь мѣръ не имѣютъ“.

Мягкосердый человѣкъ часто бываетъ неспособенъ къ борьбѣ и склоненъ скорѣе отвернуться отъ зла, не видѣть его, нежели вести съ нимъ борьбу. Василий Львовичъ, готовый „обнять, любить весь свѣтъ“, могъ иногда размягчаться до желанія не видѣть зла. Въ такую минуту и появилась его басня: „Сурокъ и щегленокъ“ (1808). Щегленокъ отнесся къ сурку и съ негодованіемъ и съ сожалѣніемъ вслѣдствіе того, что тотъ „вѣчно спитъ“ въ своей норѣ и не видитъ, что творится въ свѣтѣ. Сурокъ заинтересовался и проситъ щегленка рассказать ему: что же тамъ дѣется? Щегленокъ началъ:

„Отъ старика и до ребенка
Всѣ заняты умы въ столичныхъ городахъ:
Тотъ проживается, тотъ копитъ, богатится
И въ страшныхъ откупахъ;
Другой надъ картами трудится;
Заботы, происки о лентахъ, о чинахъ;
Никто не думаетъ о ближнихъ, о друзьяхъ;

Жена предъ мужемъ лицемѣрить,
А мужъ передъ женой,—и до того дошло,
Что брату братъ не вѣрить“.

На эту рѣчь:

— „Какой развратъ, какое зло!“
Вскричалъ сурокъ съ презрѣньемъ:
„Не говори съ такимъ, пожалуй, сожалѣньемъ!
Чтобъ ужасовъ такихъ не слышать и не знать,
По-моему, не лучше ль спать?“

Характерна очень и басня: „Старый левъ и звѣри“, написанная еще въ 1802 году.

Всѣ звѣри на поклонъ пришли ко льву въ пещеру.
Левъ былъ и старъ и дряхлъ: онъ шуму не любилъ;
Услужливыхъ гостей къ себѣ онъ не просилъ;
Не ко всему имѣлъ онъ вѣру;
*Онъ былъ уменъ—и для него
Покой милѣе былъ всего.*

Однакожъ принялъ левъ своихъ гостей учтиво.
Всѣ въ голосъ начали кричать,
Бранить другихъ, себя жъ, какъ можно, величать.
Такое общество и межъ людьми не диво!

Величали себя волкъ, лисица, медвѣдь, а затѣмъ, осудивъ все собраніе, „началъ слонъ болтать о подвигахъ своихъ“.

„Что нужды мнѣ до нихъ?“
Левъ молвилъ наконецъ, все потерявъ терпѣнье:
„Ступайте по домамъ!
Вы очень всѣ умны, я знаю цѣну вамъ,
Но для меня ума дороже снисхожденіе.
Овечка милая останется со мной:
Она не хвалится своею остротой
И вашихъ качествъ не имѣетъ;
Но съ нею хорошо: она любитъ умѣть“.

Авторъ прибавляетъ:

Читатель согласится самъ,
Что въ старости не умъ, а сердце нужно намъ.

Однако, при всемъ своемъ добродушіи, Василий Львовичъ, какъ образованный человѣкъ, не могъ подчасъ не возмущаться разнаго рода общественными недостатками, въ особенности проявленіемъ невѣжества. Негодующая нотка звучитъ нерѣдко и въ его басняхъ. Лучшія изъ такихъ басенъ — „Японецъ“ (1806) и „Сычи“ (1812). Приводимъ обѣ.

Одинъ японецъ молодой
 Былъ глухъ и слѣпъ, къ тому жъ нѣмой,
 Но участію своей доволенъ:
 Имѣлъ все нужное, покоенъ былъ и воленъ.
 „Благодарю боговъ“,—нерѣдко думалъ онъ,—
 „Что я въ Японіи живу благословенной!
 Японцы такъ добры, чтутъ правду и законъ,
 И я, всѣхъ чувствъ почти лишенный,
 Еще блаженствую и ими не забыть:
 Одѣтъ, обутъ и сытъ“.—

Какой-то врачъ исцѣлилъ японца чудеснымъ бальзамомъ—и
 что же исцѣленный узналъ?

Товарищи его не стоили похвалъ:
 Другъ друга грабили они безчеловѣчно,
 Вездѣ безсильный былъ погранъ,
 Въ судахъ коварство обитало,
 На торжищахъ обманъ,
 И словомъ—зло торжествовало.
 „О ужасъ!“ юноша вскричалъ
 Съ прискорбіемъ души, съ сердечными слезами:
 „Такихъ ли гнусныхъ дѣлъ отъ васъ я ожидалъ?
 Что сдѣлалось, японцы, съ вами?
 Куда ни оглянусь—въ странѣ несчастной сей
 Или безумецъ, или злодѣй!“
 Слова его судьямъ пересказали,
 И тотчасъ отданъ былъ приказъ,
 Чтобъ изъ отечества навѣкъ его изгнали. —
 „Японцы“, онъ сказалъ: „теперь я знаю васъ.
 И съ вами счастье найти, безъ спору, можно,
 Но быть уродомъ должно
 Безъ языка, ушей и глазъ.“

Въ баснѣ: „Сычи“ Василій Львовичъ подъ сычами разумѣлъ
 авторовъ-невѣждъ.

Сіяніе златого Феба
 Не можетъ нравиться сычамъ.
 Когда по тонкимъ облакамъ,
 Средь свѣтлоголубого неба,
 Онъ, гордо шествуя, даритъ отраду намъ,—
 Враги его въ дуплахъ скрываются, стонаютъ
 И Феба проклинаятъ...

Но вотъ случилось затменіе въ самый полдень, и сычи воз-
 ликовали:

Въ восторгъ сычъ кричитъ: „Друзья, злодѣя нѣтъ!
 Свѣтильникъ пагубный не существуетъ болѣ;

Нѣтъ, полно жить въ неволѣ!
 Глядѣть во всѣ глаза намъ велѣно судьбой;
 Тѣмъ благотворная навѣки воцарилась;
 Летите вслѣдъ за мной!
 Безумцевъ стая возгордилась,
 И тучею они стремятся къ небесамъ.
 Но вѣчно ль ликовать сычамъ?—
 Затменье кончилось, и солнце возсіяло;
 Въ величїи свой путь небесный воспрїяло;
 Развеселился міръ; все оживилось вновь:
 Долины, горы, роши,
 Воспѣли соловьи блаженство и любовь;
 Одни любимицы темной ноши,
 Прослыть орлами возмечтавъ,
 Валяются на землю стремглавъ.

Заканчивается басня такимъ поясненїемъ:

Какъ солнца свѣтлаго лучи,
 Сїяютъ даръ, ученье.
 Невѣжество—умовъ затменье,
 Невѣжды-авторы—сычи.

Профессоръ Халанскій считаетъ эту басню яркой выразительницей самыхъ задушевныхъ мыслей В. Пушкина. А такими мыслями его, говоря словами того же критика, были мысли о „живительной силѣ просвѣщенїя, науки“ и о „торжествѣ разума человѣка“ ⁶⁴).

Подражая Дмитріеву, В. Пушкинъ написалъ нѣсколько сказокъ; но ему не удалось раздѣлить славу автора „Модной жены“. Желая быть игривымъ, онъ изображалъ то кокетливую старуху, то невѣрную жену, то смѣшное положеніе старика мужа при молодой женѣ. Однако во всемъ этомъ нѣтъ той „замысловатости“, которая заставляла кн. Вяземскаго такъ восхищаться сказками Дмитріева. Эти сказки Пушкина бѣдны содержанїемъ. Сравните, напримѣръ, съ „Модною женой“ коротенькое произведеніе Василія Львовича, озаглавленное: „Быль“ (1808):

На Лизѣ молодой богачъ-старикъ женился,
 И участію своею онъ не доволенъ былъ.
 „Что ты задумалась?“ женѣ онъ говорилъ:
 „Я, право, пиши всей лишился
 Съ тѣхъ поръ, какъ Богъ меня съ тобой соединилъ!
 Все ты сидишь въ углу; не слышу я ни слова;
 А если молвишь что, то вѣчно *вы* да *вы*.
 Дружочекъ, любушка, скажи мнѣ нѣжно: *ты* —

И шаль турецкая готова“.

При словѣ *шаль* жена переѣнила тонъ.

„Какъ *ты* догадливъ сталъ! Поди жъ скорѣе вонъ!“

Восточная сказка Пушкина: „Кабудъ-путешественникъ“ (1818), повѣствующая о томъ, какъ хитрый дервишъ, собравшись въ Мекку, но не желая идти пѣшкомъ, выманилъ у бѣднаго и недалекаго Гассана его единственного осла—Кабуда, подъ тѣмъ предлогомъ, что послѣ путешествія онъ возвратитъ ему осла великимъ ученымъ, говорящимъ на многихъ языкахъ, и Гассанъ, показывая его, обогатится, — эта сказка, при сравненіи ея съ „Воздушными башнями“ Дмитріева, также проигрываетъ въ живости и художественности.

Но есть у Василя Львовича одна сказка (вѣрнѣе—баллада), обращающая на себя вниманіе: это—„Людмила и Усладъ“ (1818). Она замѣчательна, какъ попытка обращенія ея автора къ сюжетамъ изъ древне-русской жизни. Написана она на тему народныхъ сказаній объ измѣнѣ жены.

Теперь слѣдовало бы обратиться къ стихотвореніямъ В. Пушкина, имѣющимъ автобіографическое значеніе, но мы не говоримъ о нихъ отдѣльно потому, что имѣемъ въ виду воспользоваться ими при изложеніи свѣдѣній о его жизни.

Чувствительность, мечтательность и идиллическія стремленія В. Пушкина.—Противорѣчающая имъ любовь его юности.—Его возвышенные интересы.—Жизнь Василя Львовича, какъ рядъ фактовъ, отражающихъ его личность.

Василій Львовичъ родился въ Москвѣ въ 1770 г. и былъ старшимъ изъ двухъ сыновей подполковника артиллеріи Льва Александровича Пушкина, дѣда нашего знаменитаго поэта. Владѣя 3000 душъ, Левъ Александровичъ, преданный слуга императора Петра III, въ Екатерининскія времена уже не служилъ, а жилъ большимъ баринѣмъ то въ Москвѣ, то въ своихъ помѣстьяхъ, преимущественно въ селѣ Болдинѣ (Нижегородской губерніи, Лукьяновскаго уѣзда). О характерѣ его можно судить по слѣдующему разсказу одного изъ біографовъ В. Пушкина: „Левъ не только по имени, но и нравомъ, онъ, женатый дважды, съ обѣими женами обходился крайне круто: первую изъ нихъ, урожденную Воейкову, онъ едва ли не уморилъ въ одиночномъ заключеніи изъ ревности къ бывшему учителю его сыновей, французу (аббату Николу), котораго безъ суда и слѣдствія повѣсилъ у себя на

черномъ дворѣ. Вторую же жену свою, Ольгу Васильевну, урожденную Чичерину, мать Василя и Сергѣя Львовичей, онъ насильно повезъ въ гости, когда та чувствовала уже приближеніе родовъ, такъ что бѣдная женщина дорогою, въ каретѣ, подарила его сыномъ, и затѣмъ, полуживая привезенная домой, такъ и была уложена въ постель въ нарядѣ и брилліантахъ“ ⁶⁵⁾. Можно было бы ожидать, что деспотическій духъ отца передается и дѣтямъ, однако этого не случилось. Правда, младшій сынъ проявлялъ иногда нѣкоторую долю самодурства,—но изъ Василя Львовича выработалась личность въ высшей степени любящая и мягкая. Онъ былъ даже въ значительной степени человѣкомъ чувствительнымъ и мечтательнымъ. Само собою разумѣется, что эти черты развивались въ Василя Львовичѣ не безъ вліянія Карамзина. Прочтите его стихотвореніе: „Суйда“, которое Карамзинъ напечаталъ въ своихъ „Аонидахъ“ 1797 года,—и вы увидите въ немъ много Карамзинскаго. Вотъ важнѣйшія мѣста изъ этого стихотворенія:

Души чувствительной отрада, утѣшенье,
Прелестна тишина, покой, уединенье.
Желаній всѣхъ моихъ единственный предметъ!
Недолго вами я, къ несчастью, наслаждался;
Природы красотой недолго любовался:
Опять я въ городѣ, опять среди суетъ...

Съ какимъ весельемъ я взираль,
Какъ ты, о солнце, восходило,
Въ восторгъ всѣ чувства приводило!
Тамъ запахъ ландышей весь воздухъ наполнялъ,
Тамъ пѣли соловьи, тамъ ручеекъ журчалъ,
И Хлоя тутъ была. Чего жъ не доставало?

Я Хлоѣ говорилъ: „Послушай, для покоя
Такое же село, какъ Суйда ⁶⁶⁾, я куплю—
И буду жить съ тобой тамъ въ домикѣ прѣкрасномъ.
Насъ милые друзья пріѣдутъ посѣщать,

А мы, подъ небомъ яснымъ,
Съ сердцами чистыми ихъ станемъ угощать.

Со вкусомъ будетъ все, пріятно и не пышно;
А лучше что всего, чему смѣется свѣтъ,

У насъ рѣчей другому въ вредъ,
Ни острыхъ, колкихъ словъ никакъ не будетъ слышно.
Но утру жъ время съ кѣмъ я буду провождать?
Съ Гиршфельдомъ ⁶⁷⁾ и Руссо, съ Боннетомъ и Томсономъ;
Ихъ долгъ—къ полезному мой разумъ поощрять,
И наставленья ихъ я буду чтить закономъ.
И вы, любезные Юнгъ, Геснеръ, Циммерманъ.

Собой украсите мое уединенье.
 Кому любить добро даръ милый небомъ данъ,
 Тотъ въ васъ найдетъ всегда для сердца утѣшенье!
 Вотъ какъ я, нѣжный другъ, желаю жить съ тобой!
 Не злата множество—посредственность, покой,
 Любовь моихъ друзей, ты, Хлоя,—и доволенъ,
 И нѣтъ счастливей меня!
 Кто правъ своей душой, кто въ совѣсти спокоенъ,
 Тобой кто любимъ, имѣетъ кто тебя,
 Кто бѣдному помочь въ несчастіи не жалѣетъ,—
 Чего желать тому?—Онъ все уже имѣетъ.

Любовь къ природѣ и простотѣ заставляла В. Пушкина не только читать Томсона, но и подражать его идиллическимъ произведеніямъ, какъ напр. подражалъ онъ его „Временамъ года“ въ своемъ стихотвореніи: „Сельскій житель“ (1804), которое начинается такъ:

Кто въ мірѣ счастья прямого цѣну знаетъ,
 И сельской жизни всѣ пріятности вкушаетъ
 Въ кругу своихъ друзей, отъ шума удаленъ,—
 Тотъ истинно въ душѣ покоенъ и блаженъ.

Склонность къ мечтательности проявлялась у Василя Львовича даже и въ очень зрѣлые годы, о чемъ свидѣлствуетъ стихъ:

Молчу по суткамъ—и мечтаю,

находящійся въ стихотвореніи: „На случай шутки А. М. Пушкина“ ⁶⁸⁾ написанномъ въ 1815 г.

Но было бы ошибкой представлять себѣ Василя Львовича человѣкомъ, только стремившимся къ сельской жизни, тишинѣ и уединенію: напротивъ, это былъ большой любитель и пожить. Барская жизнь его отца имѣла свое вліяніе: Василій Львовичъ любилъ и общество и пирушки. Это, конечно, противорѣчіе; но подобныя противорѣчія въ характерахъ людей встрѣчаются часто: вспомнимъ личность императора Александра I, личность Александра Сергѣевича Пушкина въ молодости, и далѣе — Лермонтова. Къ людямъ, полнымъ внутреннихъ противорѣчій, принадлежалъ и Василій Львовичъ: съ одной стороны онъ восхищался сельскимъ уединеніемъ, а съ другой—распѣвалъ такія пѣсни, въ которыхъ приглашалъ своихъ друзей въ маскарадъ къ Ліону, гдѣ ихъ ужъ ждали и „фрау-баронесса“ и „Лиза Карловна“.

Указанные два элемента въ характерѣ В. Пушкина были однако не единственными и во всякомъ случаѣ не главными: самое

важное въ немъ то, что онъ могъ увлекаться интересами науки, литературы и вообще просвѣщенія.

Левъ Александровичъ озаботился дать сыновьямъ своимъ образованіе, по тогдашнимъ понятіямъ, блестящее. Василій Львовичъ, кромѣ французскаго языка, который онъ зналъ въ совершенствѣ, изучалъ еще нѣмецкій, англійскій, итальянскій и латинскій. Впрочемъ, нѣмецкій языкъ, по собственному признанію Василія Львовича (въ письмѣ къ Карамзину изъ Берлина), онъ зналъ плохо.

Отецъ В. Пушкина принадлежалъ къ числу тѣхъ русскихъ баръ, которые любили заводить у себя театральныя представленія и интересовались литературой. Эта любовь къ изящнымъ удовольствіямъ передалась и сыновьямъ его. Василій Львовичъ, вспоминая о своемъ дѣтствѣ въ посланіи къ брату 1797 года, указываетъ, какими интересами жили дѣти Льва Александровича.

Ты помнишь, какъ бывало
Текли часы для насъ?
Природой восхищаясь,
Гуляли мы съ тобой;
Или полезнымъ чтеньемъ
Свой просвѣщали умъ;

Или Творцу вселенной
На лирахъ пѣли гимнъ...
Поэзія святая!
Мы съ самыхъ юныхъ лѣтъ
Тобою занимались;
Ты услаждала насъ!

Страстнымъ любителемъ поэзіи и просвѣщенія оставался В. Пушкинъ и до конца дней своихъ.

Послѣ сказаннаго понятно, что жизнь Василія Львовича не могла представлять нѣчто цѣльное: въ ней должны были перекрещиваться факты самые противорѣчивые.

Остроумный отъ природы, характера, говоря вообще, веселаго и общительнаго, Василій Львовичъ, еще юношей, принимая участіе во всѣхъ домашнихъ спектакляхъ, прославился въ кружкѣ знакомыхъ, какъ хорошій актеръ и чтецъ монологовъ изъ французскихъ трагедій. Вмѣстѣ съ тѣмъ знали и о его способности необыкновенно легко писать французскіе куплеты. Прошла его первая юность, и онъ, еще въ дѣтствѣ записанный въ Измайловскій полкъ, явился въ Петербургъ на дѣйствительную службу, на которой и оставался до 1797 года. Судя по его стихотвореніямъ, написаннымъ не позже этого года, онъ нерѣдко предавался возвышеннымъ мечтамъ. Такъ напр. въ стихотвореніи: „Къ камину“ (1793), несочувственно говоря о людяхъ, принадлежавшихъ къ разнымъ отрицательнымъ типамъ, главный характеръ которыхъ обозначенъ уже въ данныхъ имъ поэтомъ прозвищахъ (Глупомо-

товы, Пустяковы, Прыгушкины, Плутovy),—Василій Львовичъ выражаетъ такое свое намѣреніе:

Стараться буду я лишь только честнымъ быть,
Законы чтить, отечеству служить,
Любить моихъ друзей, любить единенье—

и прибавляетъ:

Вотъ сердца моего прямое утѣшеніе!

Далѣе, въ посланіи къ Дмитріеву (1796), Василій Львовичъ высказываетъ сожалѣніе, что у него нѣтъ „славнаго дара“ нашихъ „бардовъ“, подъ которыми онъ разумѣетъ Державина, Хераскова, Карамзина и самого Дмитріева. Наконецъ въ 1797 г. появились его стихотворенія: „Суйда“ и посланіе къ брату. Однимъ словомъ, передъ нами молодой человѣкъ, повидимому, далекій отъ всего низменнаго. И что же? Въ Петербургѣ въ то время существовало общество: „Галера“, членами котораго состояли представители золотой молодежи, ставившей себѣ цѣлью жить не только весело, но и разгульно. В. Пушкинъ примыкаетъ къ этому обществу и дѣлается въ немъ запѣвалой. Къ этому-то времени и относится вышеупомянутая пѣсня его, обращенная къ товарищамъ:

Плыви, Галера, веселися;
Къ Ліону въ маскарадъ пустися;
Одинъ остался вечеръ намъ!
Тамъ ждутъ насъ фрау-баронесса
И сумасшедшая повѣса,
И Лиза Карловна ужъ тамъ ⁶⁹⁾.

Въ 1797 г. Василій Львовичъ выходитъ въ отставку, поселяется въ Москвѣ, женится и занимается литературой. Еще въ Петербургѣ познакомился онъ съ Дмитріевымъ, а теперь и съ Карамзинымъ, къ которому, еще не зная его лично, отправлялъ свои стихотворенія—и они печатались въ Аонидахъ. Позднѣе онъ помѣщалъ свои произведенія и въ „Вѣстникѣ Европы“. Семейная жизнь Василя Львовича однако продолжалась недолго: въ 1802 г. онъ уже развелся съ женой, которая, по семейнымъ преданіямъ Пушкиныхъ, сама была виною разрыва,—и скоро уѣхалъ за границу. Побывалъ онъ (1803—1804) въ Германіи, Франціи и Англіи. Любитель сельской простоты вернулся изъ-за границы величайшимъ франтомъ. По свидѣтельству кн. Вяземскаго, „Парижемъ отъ него такъ и вѣяло. Одѣтъ онъ былъ съ парижской иглочки съ головы до ногъ. Прическа—à la Titus, углаженная, умащенная древнимъ масломъ, huile antique. Въ простодушномъ самохвальствѣ давалъ онъ дамамъ обнюхивать голову свою“ ⁷⁰⁾.

Однако изъ-за границы Василій Львовичъ вывезъ не одно только *huile antique*: во время своего путешествія онъ, какъ говоритъ Саитовъ, собралъ драгоцѣнную библіотеку изъ лучшихъ изданій латинскихъ, французскихъ и англійскихъ писателей; многія изъ книгъ его собранія принадлежали королевской и другимъ богатымъ до революціи французскимъ библіотекамъ, такъ что извѣстный библіоманъ того времени, графъ Д. П. Бутурлинъ, завидовалъ сокровищамъ Пушкина, а самъ владѣлецъ ихъ очень гордился своимъ приобрѣтеніемъ ⁷¹⁾. Наблюдая парижскія моды и заказывая себѣ франтовскіе наряды, Василій Львовичъ въ то же время заводилъ знакомства съ европейскими литературными знаменитостями. Разсказываютъ также, что онъ, желая познакомить французовъ съ нашей народной поэзіей, помѣстилъ въ журналъ гр. Сегюра „*Archives littéraires*“ французскій переводъ нѣсколькихъ русскихъ старинныхъ пѣсень ⁷²⁾. Будучи страстнымъ любителемъ театра, В. Пушкинъ познакомился въ Парижѣ съ знаменитымъ тогда трагикомъ Тальмою и бралъ у него уроки декламации. Вообще въ бытность свою за границей Василій Львовичъ доказалъ, что возвышенные интересы интеллигентнаго человѣка имъ вовсе не забыты. Это подтверждается и сохранившимися его двумя письмами къ Карамзину: одно изъ Берлина, другое изъ Парижа. Оба они и по содержанію, и по слогу очень напоминаютъ „Письма русскаго путешественника“: то же преобладаніе умственныхъ интересовъ и та же страсть наслаждаться изящнымъ. Въ послѣднемъ отношеніи есть сходство даже въ одной подробности: въ письмѣ изъ Парижа Пушкинъ, подобно Карамзину, заявляетъ, что онъ въ искуствѣ „любитъ то, что болѣе дѣйствуетъ на сердце“ ⁷³⁾.

Возвратясь изъ-за границы въ Москву, Василій Львовичъ продолжалъ вести все ту же двойственную жизнь: съ одной стороны—обѣды, пирушки, съ другой—литературныя занятія. Послѣднія, конечно, не всегда были серьезны: мадригалы, любовныя пѣсни, *bouts-rimés* Василя Львовича — все это связывалось съ его разсѣянной свѣтской жизнью; но затѣмъ остается еще много произведеній, въ которыхъ авторъ ихъ является проповѣдникомъ гуманности и страстнымъ любителемъ просвѣщенія. Помѣщая свои произведенія во многихъ журналахъ московскихъ и петербургскихъ, В. Пушкинъ имѣлъ обширное литературное знакомство и старался поддерживать эти связи. Услыхавъ, что въ Петербургѣ основалось общество изъ молодыхъ литераторовъ — „Арзамасъ“, онъ тотчасъ же поскакалъ въ столицу, и былъ принятъ въ число членовъ этого общества и даже получилъ почетное названіе —

его „старосты“. Затѣмъ вскорѣ онъ снова вернулся въ Москву, чтобы вести тамъ свою двойственную жизнь. Любовь къ обѣдамъ и пирушкамъ не прошла ему даромъ: въ послѣдніе годы жизни онъ сильно страдалъ подагрой.

Но для характеристики Василя Львовича приведемъ еще три факта изъ его жизни. Вигель въ своихъ запискахъ рассказываетъ, что В. Пушкинъ, узнавъ однажды, что въ Петербургъ пріѣхалъ французскій дипломатическій агентъ Дюрокъ и представляетъ собою чистѣйшую картинку моднаго журнала,—немедленно понесся туда исключительно для того, чтобы позаимствоваться послѣдними новостями французскаго туалета. Вернувшись въ Москву, онъ изумилъ всѣхъ толстымъ и длиннымъ жабо, короткимъ фраккомъ и головою въ мелкихъ, курчавыхъ завиткахъ, какъ баранья шерсть, что называлось тогда прическою à la Дюрокъ ⁷⁴). Другіе два факта рассказаны Анненковымъ. Василій Львовичъ „уже едва двигался отъ подагры въ 1830 году, но продолжалъ толковать о журналахъ, и разъ въ одномъ изъ сильнѣйшихъ пароксизмовъ болѣзни нашелъ минуту сказать окружающимъ: «Какъ скучны статьи Катенина объ испанской литературѣ!» Самая смерть его, послѣдовавшая въ тотъ же годъ, имѣла одинаковый характеръ съ его жизнью. Намъ рассказывалъ одинъ изъ близкихъ его знакомыхъ, что разъ утромъ больной старикъ поднялся съ постели, добрался до шкаповъ огромной своей библіотеки, гдѣ книги стояли въ три ряда, заслоня другъ друга, отыскалъ тамъ Беранже, и съ этой ношей перешелъ на диванъ залы. Тутъ принялся онъ перелистывать любимаго своего поэта, вздохнулъ тяжело и умеръ надъ французскимъ пѣсенникомъ“ ⁷⁵).

Похоронили Василя Львовича въ Донскомъ монастырѣ, куда проводила его вся литературная Москва. Племянникъ несъ гробъ дяди отъ самаго дома покойника на Басманной.

Есть у Василя Львовича одно стихотвореніе, подъ названіемъ: „Люблю и не люблю“ (1815), въ которомъ онъ довольно полно очертилъ самого себя. Онъ сказалъ въ немъ:

Люблю я многое, конечно;
Люблю съ друзьями я шутить,
Люблю любить я ихъ сердечно,
Люблю шампанское я пить;
Люблю читать мои посланья,
Люблю я слушать и другихъ;
Люблю веселыя собранья,
Люблю красавицъ молодыхъ.
Надъ ближнимъ не люблю смѣяться.

Невѣждъ я не люблю хвалить,
Славянофиламъ удивляться,
Къ вельможамъ на поклонъ ходить.
Я не люблю людей коварныхъ,
И гордыхъ не люблю глупцовъ,
Похвальныхъ словъ высокопарныхъ
И плоскихъ, скаредныхъ стиховъ.
Люблю по модѣ одѣваться
И въ обществахъ пріятнымъ быть.

Люблю любезнымъ я казаться,
 Расина наизусть твердить;
 Люблю Державина творенья,
 Люблю я „Модную жену“,
 Люблю для сердца утѣшенья
 Хвалу я пѣть Карамзину.
 Въ собраньяхъ не люблю нахаловъ,
 Подагрой не люблю страдать;
 Я глупыхъ не люблю журналовъ;
 Я въ карты не люблю играть,
 И нашихъ Квинтильяновъ мнимыхъ

Суждений не люблю я злыхъ!
 Сердечъ я не люблю строитивыхъ,
 Актеровъ не люблю дурныхъ.
 Я въ хижинѣ моей смиренной,
 Гдѣ столько горя и заботъ,
 Подчасъ амуромъ вдохновенный,
 Люблю пѣть грацій хороводъ;
 Люблю предъ милыми друзьями
 Свою я душу изливать
 И юность рѣзвую съ слезами
 Люблю въ стихахъ воспоминать.

Но представленная въ этомъ стихотвореніи характеристика
 Василия Львовича должна быть пополнена его посланіями.

Значеніе посланія, какъ свободной литературной формы.—Посланія В. Пушкина.—Отразившаяся въ нихъ личность автора: его любовь къ поэзій и просвѣщенію и его литературные вкусы.—Его отношеніе къ Шишкову.—Характеръ его патріотизма и его религіозныхъ воззрѣній.—Отношенія дяди къ племяннику.—Стихотвореніе: „Вечеръ“.

Еще Галаховъ замѣтилъ, что съ легкой руки Карамзина у насъ начала распространяться форма стихотворнаго письма, или посланія, и далъ объясненіе этому явленію. „Шишковъ“—говоритъ онъ—„назвалъ посланія «моднымъ» родомъ стихотворства. Дѣйствительно и во Франціи и позднѣе у насъ они стали замѣнять оду, наскучившую читателямъ... «Разсужденіе объ одѣ» Даламбера (переведено въ майской кн. С.-Петербургскаго Меркурія, 1793 г.) показываетъ причины, почему посланіе болѣе отвѣтствовало духу времени и цѣлямъ поэтовъ. Главнѣйшая изъ нихъ — господство философіи, которая волею и неволею всюду вторгается: посланіе удобнѣе выражаетъ философическія мысли, допуская болѣе свободный планъ и болѣе свободные переходы изъ однихъ тоновъ въ другіе; притомъ оно скромнѣе по своей внѣшней отдѣлкѣ, не имѣя притязаній на столь пышное убранство, какое привыкли видѣть въ одѣ, и какое противорѣчило вкусу публики, устремленной философами XVIII в. къ простотѣ и естественности; наконецъ оно доступнѣе дарованіямъ всякаго размѣра, тогда какъ ода требуетъ сильнаго поэтическаго таланта. Вотъ почему стихотворное письмо сдѣлалось модною формою для нашихъ писателей, начиная съ Карамзина: они передавали въ немъ свои нравственныя и преимущественно литературныя понятія, свой взглядъ на интересы общества, свои личныя впечатлѣнія и мысли“⁷⁸).

Послания съ такимъ содержаніемъ приобрѣтають извѣстную историко-литературную цѣнность и часто служатъ хорошей характеристикой и писателя и его эпохи. Что же касается до В. Пушкина, то среди его произведеній самая цѣнная именно— посланія: въ нихъ-то и заключается главная характеристика этого писателя, какъ образованнаго человѣка своего времени.

Мы остановимся на посланіяхъ Василя Львовича, адресованныхъ къ Дмитріеву, Жуковскому, Дашкову, къ обоимъ племянникамъ — Льву и Александру Сергѣевичамъ, къ арзамасцамъ, а также и на нѣкоторыхъ другихъ. Изъ этихъ посланій мы прежде всего выносимъ представленіе объ ихъ авторѣ, какъ о страстномъ любителѣ поэзіи и просвѣщенія. Такъ, сообщивъ въ посланіи къ Льву Сергѣевичу, что поэзія и чтеніе—его отрада, Василій Львовичъ продолжаетъ:

Благодарю судьбу: я съ самыхъ юныхъ лѣтъ
Любилъ изящное, и часто отъ суетъ,
Отъ шума свѣтскаго я въ тишинѣ скрывался,
Учился и читалъ, и сердцемъ наслаждался;
Любилъ писать стихи...

Въ стихотвореніи: „Къ любимцамъ музъ“ (1804), представляющемъ очень свободное подражаніе одамъ Горация: „Къ Меценату“ и „Къ Цесарю Августу“, есть такія мысли: „Любимецъ музъ счастливъ во всѣ премѣны года“; „Кто съ музами живетъ, утѣхи вѣчно съ нимъ!“ Въ посланіи къ Жуковскому (1810), гдѣ между прочимъ авторъ сказалъ: „Въ душѣ своей ношу къ изящному любовь“, онъ сознаетъ, что современному ему русскому обществу нужно просвѣщеніе, и повторяетъ эту мысль въ посланіи къ арзамасцамъ (1816), въ стихѣ: „Прямая наша цѣль есть польза, просвѣщеніе“, а въ посланіи къ Дашкову (1811) заявляетъ: „Грѣхъ во тьмѣ ходить“. Въ томъ же посланіи къ Жуковскому встрѣчаемъ стихъ:

Что просвѣщаетъ умъ? питаетъ душу?—Чтеніе.

О своихъ литературныхъ вкусахъ Василій Львовичъ заявилъ еще въ 1796 г. въ посланіи къ Дмитріеву. Поклонникъ Карамзина и человѣкъ чувствительный, онъ однако не любилъ крайностей сентиментализма и осмѣивалъ плохихъ подражателей русскаго Стерна, какъ называлъ онъ Карамзина. Произведенія этихъ подражателей В. Пушкинъ такъ характеризуетъ:

Всѣ наши стиходѣи
Слезливой лирою прославиться хотятъ;
Все голубки у нихъ къ красавицамъ летятъ,

Все вьются ласточки, и все одиѣ затѣи;
 Всѣ хнычуть и ревуть, и мысль у всѣхъ одна:
 То вдругъ представится луна
 Во блѣднопалевой порфирѣ;
 То онъ одинъ остался въ мѣрѣ;
 Нѣтъ милой, нѣтъ драгой: она погребена
 Подъ камнемъ сѣрымъ, мшистымъ;
 То вдругъ подъ дубомъ тамъ вѣтвистымъ
 Сова уныло закричитъ;
 Завоеетъ сильно вѣтръ, любовникъ побѣжитъ,
 И слезка на струнахъ родится.
 Тутъ восклицаній тѣма и точекъ появится.

Это сатирическое изображеніе неудачныхъ сентименталистовъ, о которыхъ авторъ говоритъ:

О плаксы бѣдные! Жалка мнѣ участь ихъ!
 Они совсѣмъ того не знаютъ,
 Что гдѣ парятъ орлы, тамъ жуки не летаютъ,—

смѣло можно поставить въ параллель съ такимъ же изображеніемъ плохихъ одописцевъ у Дмитріева.

Зато Карамзина авторъ называетъ „милымъ“, „нѣжнымъ“ и признаетъ въ немъ автора со вкусомъ:

... милый, нѣжный Карамзинъ
 Въ храмъ вкуса проложилъ дорогу.

Имя Карамзина, а также и Дмитріева Василій Львовичъ упоминаетъ нѣсколько разъ въ своихъ посланіяхъ—и всегда отзывается о нихъ, какъ о писателяхъ образцовыхъ. Напримѣръ: „Дмитревъ, Карамзинъ прекрасными стихами плѣняютъ, учатъ насъ“—сказано въ стих. „Къ любимцамъ музъ“; въ посланіи къ Жуковскому читаемъ:

Во вкусъ часъ насталъ великихъ перемѣнъ:
 Явились Карамзинъ и Дмитревъ—Лафонтенъ!
 Вотъ чѣмъ всѣ русскіе должны гордиться нынѣ!

Какъ поклонникъ Карамзина и сторонникъ его реформы, В. Пушкинъ не могъ, конечно, сочувствовать литературному консерватизму Шишкова, тѣмъ болѣе, что Шишковъ не только высказывалъ свои мысли, но и рѣзко нападалъ на сторонниковъ Карамзина, въ томъ числѣ и на В. Пушкина. Послѣдній осмѣялъ наконецъ Шишкова въ своемъ посланіи къ Жуковскому, которое напечаталъ въ 12-мъ номерѣ „Цвѣтника“ за 1810 г. Шишковъ тутъ выведенъ подъ именемъ Балдуса.

Я вижу весь соборъ безграмотныхъ славянъ,
 Которыми здѣсь вкусъ къ изящному поправъ,
 Противъ меня рыкающій ужасно.
 Къ дружинѣ вопіетъ нашъ Балдусъ велегласно:
 „О братіе мои, зову на помощь васъ.
 Ударимъ на него, и первый буду азъ!
 Кто намъ грамматикѣ совѣтуетъ учиться,
 Во тьму кромѣшную, въ геенну погрузится;
 И еще смѣетъ кто Карамзина хвалить,
 Нашъ долгъ, о людие, злодѣя истребить!“

Главной причиной непріязни къ Шишкову было, разумѣется, то обстоятельство, что его теоріей „попирался вкусъ къ изящному“. Въ концѣ своего посланія Пушкинъ и говоритъ:

Въ славянскомъ языкѣ и самъ я пользу вижу,
 Но вкусъ я варварскій гоню и ненавижу.
 Въ душѣ своей ношу къ изящному любовь;
 Творенье безъ идей мою волнуетъ кровь.
 Словъ много затвердить не есть еще ученье:
 Намъ нужны не слова: намъ нужно просвѣщенье.

Въ томъ же „Цвѣтникѣ“ и въ то же время (г. 1810, №№ 11 и 12) напечатана была и статья Дашкова, опровергавшая мысль Александра Семеновича о тожествѣ языковъ русскаго и славянскаго. Защитникъ стариннаго слога разсердился — и прочелъ 3-го декабря 1810 г. въ Россійской Академіи свое „Разсужденіе о краснорѣчій Священнаго Писанія“ (напечатано въ 1811 г.). Оно было отвѣтомъ и Дашкову и Пушкину, но послѣднему досталось больше: Василія Львовича Шишковъ выставлялъ человѣкомъ сомнительной нравственности и обвинялъ въ безбожій. Послѣ этого Пушкинъ выпустилъ брошюрку (1811), въ которой помѣстилъ прежнее посланіе свое къ Жуковскому и къ нему прибавилъ новое — къ Дашкову. Брошюрка, озаглавленная: „Два посланія“, начиналась „Предувѣдомленіемъ“, гдѣ авторъ объяснялъ причину ея изданія, а именно:

„Первое изъ сихъ посланій“ — пишетъ Василій Львовичъ — „было причиною происшествія весьма страннаго въ нашей словесности. Всѣмъ извѣстна польза, проистекающая изъ сего рода дидактическихъ сочиненій: древніе и новые писатели употребляли оныя для исправленія пороковъ или, переходя отъ общаго къ частному, для направленія на прямой путь въ словесности молодыхъ, неопытныхъ авторовъ. Важная и благородная цѣль сочиненій сихъ всегда была достойно уважаема: кто бы подумалъ, что въ наше просвѣщенное время будутъ презирать ихъ, подражанія онѣмъ

называть *модными посланіями* и, что всего хуже, отвѣчать на нихъ непозволительными личностями? Въ *одномъ Присовокупленіи*, читанномъ, какъ увѣряють, въ Академіи (въ чемъ однакожь я весьма сомнѣваюсь), г. сочинитель говоритъ слѣдующее:

«Сіи судьи и стихотворцы въ посланіяхъ своихъ зываютъ къ *Виргиліямъ*, *Гомерамъ*, *Софокламъ*, *Еврипидамъ*, *Гораціямъ*, *Ювеналамъ*, *Саллустіямъ*, *Оукидидамъ*, затвердя только одни имена ихъ, и, что всего удивительнѣе, научась благочестію въ *Кандидѣ*, и *благодравію* и *знаніямъ* въ *парижскихъ переулкахъ*, съ поврежденнымъ сердцемъ и помраченнымъ умомъ вопіють противъ невѣжества и, обращаясь къ *тѣнямъ великихъ людей*, толкують о наукахъ и просвѣщеніи!».

Risum teneatis, amici? И я, вмѣсто того, чтобы сердиться на такую нескладицу, хотѣлъ бы лучше самъ посмѣяться ей отъ добраго сердца; но обвиненія, относящіяся до нравственности и вѣры, слишкомъ важны. Я долженъ былъ опровергнуть оныя—и, кажется, исполнилъ сіе во второмъ посланіи къ Д. В. Дашкову».

Въ этомъ посланіи *Василій Львовичъ* съ достоинствомъ оправдывается отъ обвиненій *Шишкова* и въ свою очередь обвиняетъ его и вообще его единомышленниковъ—въ невѣжествѣ, ханжествѣ и стремленіи тормозить просвѣщеніе. Вотъ это посланіе:

Что слышу я, Дашковъ? Какое ослѣпленье!

Какое лютое безумцевъ ополченье!

Кто тѣится жизнь свою наукамъ посвящать,

Раскольниковъ-славянъ дерзаетъ уличать,

Кто пишетъ правильно и не *варяжскимъ* слогомъ—

Не любитъ русскихъ тотъ, и виновать предъ Богомъ!

Повѣрь: слова невѣждъ пустой кимвала звукъ;

Они безумствуютъ—сіяетъ свѣтъ наукъ!

Неужель отъ того моя постраждетъ вѣра,

Что я подчасъ прочту двѣ сцены изъ *Вольтера*?

Я *христіаниномъ*, конечно, быть могу,

Хотя *французскихъ книгъ* въ каминѣ и не жгу.

Въ предубѣжденіяхъ нѣтъ святости ни мало:

Они мертвятъ нашъ умъ, и варварства начало.

Ученымъ быть не грѣхъ, но грѣхъ во тьмѣ ходить.

Невѣжда можетъ ли отечество любить?

Не тотъ къ странѣ родной усердіе питаетъ,

Кто хвалитъ все свое, чужое презираетъ;

Кто слезы льетъ о томъ, что мы не въ бородахъ,

И, бѣдный мыслями, печется о словахъ!

Но тотъ, кто, слѣдуя похвальному внушенію,

Чтитъ дарованія, стремится къ просвѣщенію;

Кто, согражданъ любя, желаетъ славы ихъ;

Кто чуждъ и зависти и предразсудковъ злыхъ!
Квириты храбрые полсвѣтомъ обладали;
Но общежитію ихъ греки обучали.
Науки перешли въ Римъ гордый изъ Аѳинъ,
И славный Цицеронъ, ораторъ-гражданинъ,
Сражая Верреса, вступаясь за Мурену,
Былъ велерѣчіемъ обязанъ Демосѳену.
Виргиліа училъ поэзіи Гомеръ;
Грядущимъ временамъ вѣкъ Августовъ примѣръ!

Такъ! Сынъ отечества науками гордится,
Во мракѣ утопать невѣжества стыдится,
Не проповѣдуетъ расколовъ никакихъ,
И въ старинѣ для насъ не видитъ дней благихъ.
Хвалу я воздаю счастливѣйшей судьбинѣ,
О мой любезный другъ, что я родился нынѣ!
Свободно я могу и мыслить и дышать,
И даже *абіе* и *аще* не писать.
Виргилій и Гомеръ бесѣдуютъ со мною;
Я съ возвышенною иду вездѣ главою;
Мой разумъ просвѣщенъ, и Сены на брегахъ
Я пѣлъ любезное отечество въ стихахъ.
Не улицы однѣ, не площади и дома:
Сен-Пьеръ, Делиль, Фонтанъ мнѣ были тамъ знакомы:
Они свидѣтели, что я въ землѣ чужой
Гордился русскимъ быть, и русскій былъ прямой.
Не грубымъ остякомъ, достойнымъ сожалѣнья:
Предсталъ предъ ними я любителемъ ученья;
Они то видѣли, что съ юныхъ дней моихъ
Познаній я искалъ не въ именахъ однихъ;
Что съ восхищеніемъ читалъ я Оукидида,
Тацита, Плинія—и, признаюсь, Кандида.

Но благочестію ученость не вредить.
За Бога, вѣру, честь мнѣ сердце говоритъ.
Родителей моихъ я помню наставленья;
Сынъ церкви долженъ быть и другомъ просвѣщенья!
Спасительный законъ ниспосланъ намъ съ небесъ,
Чтобъ быть подпорою средь счастья и слезъ.
Онъ благо и любовь. Прочь клевета и злоба!
Безбожникъ и ханжа равно порочны оба.
Въ сужденьяхъ таковыхъ не вижу я вины:
За что жъ мы на костеръ съ тобой осуждены?
За то, что мы, любя словесность и науки,
Не вѣкъ надъ букваремъ твердили *азъ* и *буки*;
За то, что смѣемъ мы ученіе хвалить,
И въ слогѣ варварскомъ ошибки находить;
За то, что мы Лагарпа понимаемъ,
Въ расколѣ не живемъ, но по-славянски знаемъ.
Что дѣлать? Вотъ нашъ грѣхъ. Я каяться готовъ.
Я, напримѣръ, твержу, что скученъ Старословъ ”),

Что длинныя его, сухія поученья—
 Морфея даръ благой для смертныхъ усыпленья,
 И если вздоръ читать пришла моя чреда,
 Неужели заснуть надъ книгою бѣда?
 Я каюсь, что въ *рѣчахъ* иныхъ не вижу плана,
 Что томовъ не пишу на древняго Бояна ⁷⁸⁾;
 Что музъ и Феба я съ Парнасса не гоню,
 Писателей дурныхъ, а не людей браню.
 Нашествіе татаръ не чтимъ мы вѣкомъ славы;
 Мы правду говоримъ—и слѣдственно неправы.

Нѣсколько позднѣе, въ посланіи къ арзамасцамъ (1816),
 Василій Львовичъ такъ грозилъ „славянамъ“:

Ихъ оды жалкія, забавныя ихъ драмы,
 Похвальныя слова, поэмы, эпиграммы,
 Конечно, не уйдутъ отъ критики моей:
 Невѣждъ учить люблю и уважать друзей.

По понятію Шишкова, Василій Львовичъ былъ совершеннѣйшій французъ и отнюдь не былъ патріотомъ ⁷⁹⁾. Шишковъ ошибался: В. Пушкину далеко не было чуждо чувство патріотизма, но оно было иного характера, нежели у Шишкова. Истинный русскій патріотъ, по словамъ его, не тотъ, кто хвалитъ все свое, а чужое презираетъ, фанатически жожетъ французскія книги и льетъ слезы о томъ, что отечество наше — не до-Петровская Русь; а тотъ, кто желаетъ своимъ согражданамъ славы на пути просвѣщенія, на пути соревнованія съ Европой, не теряя однако при этомъ чувства народной гордости, чувства народного самосознанія.

Ошибался Шишковъ и въ своемъ обвиненіи въ безбожии: въ посланіи къ Дашкову (1811) авторомъ высказаны самыя глубокія религіозныя воззрѣнія—воззрѣнія истинно просвѣщеннаго христіанина. Строки:

Смиряться должно предъ судьбой!
 Отецъ и Судія вселенной управляетъ:
 Онъ наказуетъ и прощаетъ—

находящіяся въ баснѣ: „Гнѣвъ Зевеса“ (1817), написанной по поводу возстановленія Москвы послѣ пожара, которая „изъ пепла своего возстала краше“, показываютъ взглядъ Василя Львовича на Провидѣніе, какъ на высочайшую благодать и справедливость.

Тутъ кстати замѣтить, что добродушный Василій Львовичъ вообще былъ склоненъ къ оптимистическому міросозерцанію, и вѣрилъ въ конечное торжество добра. Такъ напр. необыкновенно

добродушнымъ оптимистомъ является онъ во второмъ своемъ посланіи къ Дашкову (1814), когда говоритъ:

Живу и утѣшаюсь!	Родить: и послѣ горя
Къ надеждѣ прилѣпляюсь,	Летить веселье къ намъ...
Погоды лучшей жду.	Мой милый другъ, конечно,
Бѣда не все бѣду	Несчастье не вѣчно...

Не должно унывать.

Какъ любитель изящнаго, Василій Львовичъ не могъ не цѣнить твореній своего славнаго племянника, что и подтверждается его посланіемъ „Къ А. С. Пушкину“ 1829 г. Въ немъ дядя писалъ:

Поэтъ-племянникъ, справедливо	Очарователь и счастливецъ,
Я названъ классикомъ тобой!	Сердца ты наши полонилъ
Все, что умно, краснорѣчиво,	Своимъ талантомъ превосходнымъ.
Все, что написано съ душой,	Всѣ мысли выражать способнымъ.
Мнѣ нравится, меня плѣняетъ.	Русланъ, Кавказскій плѣнникъ твой,
Твои стихи, повѣрь, читаетъ	Фонтанъ, Цыгане и Евгений
Съ живымъ восторгомъ дядя твой.	Прекрасныхъ полны вдохновеній!
Латоны сына ты любимецъ,	Они всегда передо мной,
Тебя онъ вкусомъ одарилъ;	И не для критики пустой
Я ихъ держу: для наслажденья.	

Таковы же отношенія дяди къ племяннику были и во всѣ предыдущіе годы. Сaitовъ въ своемъ біографическомъ очеркѣ В. Пушкина говоритъ: „Изъ всѣхъ своихъ родственниковъ мужского поколѣнія Василій Львовичъ особенно любилъ брата, Сергѣя Львовича, съ которымъ его соединяла, помимо кровныхъ узъ, и тѣсная дружба, основанная на сходствѣ характеровъ. Любовь къ брату перешла и на знаменитаго племянника, который росъ на глазахъ Василія Львовича и на его же глазахъ выступилъ на литературное поприще. Первые опыты Александра Сергѣевича были приняты дядею съ истиннымъ восхищеніемъ. Возлагая большія надежды на геніальнаго юношу, Василій Львовичъ внимательно слѣдилъ за развитіемъ его могучаго дарованія, и каждое новое произведеніе Александра Сергѣевича возбуждало неподдѣльный восторгъ въ дядѣ, который и выражалъ его въ своихъ посланіяхъ къ племяннику“ ⁸⁰⁾. Что же касается до эпиграммы Василія Львовича:

Какой-то стихотворъ (довольно ихъ у насъ)
 Послалъ двѣ оды на Парнассъ.
 Онъ въ нихъ описывалъ красу природы, неба,
 Цвѣтъ розо-желтый облаковъ,
 Шумъ листьевъ, вой звѣрей, ночное пѣнье совъ,
 И милости просилъ у Феба.

Читая, Фебъ зѣвалъ—и наконецъ спросилъ:

Какихъ лѣтъ стихотворецъ былъ,

И оды громкія давно ли сочиняетъ?

— „Ему пятнадцать лѣтъ“, Эрата отвѣчаетъ.

„Пятнадцать только лѣтъ?“—„Не болѣе того!“

„Такъ розгами его!“

то эпиграмма эта совершенно ошибочно принималась за выходку дяди противъ племянника ⁸¹⁾: теперь уже извѣстно, что она была напечатана еще въ 1798 г. въ Аонидахъ, т.-е. когда Александра Сергѣевича еще и на свѣтъ не было. Къ тому же она и не оригинальная, а подражаніе французской. Эпиграмма же Александра Сергѣевича, начинающаяся стихомъ:

Мальчишка Фебу гимнъ поднесъ

и долгое время считавшаяся отвѣтной колкостью по адресу дяди ⁸²⁾, есть не что иное, какъ передѣлка вышеприведенной эпиграммы Василя Львовича, и авторъ, какъ тоже теперь извѣстно, имѣлъ тутъ въ виду вовсе не дядю, а Надеждина.

Говоря о стихотвореніяхъ В. Пушкина, нельзя не остановиться еще на одномъ изъ нихъ: на стихотвореніи: „Вечеръ“ (1798), въ которомъ авторъ задумалъ набросать картинку нравовъ современнаго ему московскаго общества, т.-е. задумалъ то, что такъ талантливо было выполнено впослѣдствіи Грибоѣдовымъ. Конечно, стихотвореніе: „Вечеръ“ и знаменитая комедія Грибоѣдова—вещи, которыя въ художественномъ отношеніи и въ отношеніи полноты изображенія нечего и сравнивать; тѣмъ не менѣе нельзя и не указать, что нѣкоторыя мѣста у Пушкина содержаніемъ своимъ напоминаютъ „Горе отъ ума“. Авторъ описываетъ проведенный имъ вечеръ въ одномъ московскомъ домѣ. Тутъ, кромѣ хозяина, толкующаго лишь объ одной музыкѣ, и хозяйки, занятой только тѣмъ, чтобы пристроить свою дочь за графа, который „знатенъ и хорошъ, и съ лучшими знакомъ“, были еще гости—„содомъ вралей“: тамъ были и Стукодѣй, несносный говорунъ и сплетникъ, и всѣхъ бранящая Змѣяда, и сплетница Белиза, и наконецъ—Вралевъ. Въ разсказѣ объ этомъ Вралевѣ и собраны такія черты московскаго общества, изъ которыхъ многія напоминаютъ Фамусова.

Несчастнаго меня съ Вралевымъ посадили—

И милымъ, подлинно, сосѣдомъ наградили!

Не медля началъ онъ вопросы мнѣ творить:

Кто я таковъ? Что я? Гдѣ я изволю жить?

Потомъ, о молодыхъ и старыхъ разсуждая:
 „Нѣтъ, нынче жизнь плоха“, твердилъ онъ въздыхая:
 „Все стало мудрено, нѣтъ добраго ни въ чемъ;
 Вотъ я-таки скажу и о сынкѣ моемъ:
 Ужъ малый въ двадцать лѣтъ, а книги лишь читаетъ,
 Не ищетъ ни чиновъ, ни счастья не желаетъ;
 Я дочь Рубинова посваталъ за него;
 Любезный мой сынокъ не хочетъ и того.
 На деньгахъ, батюшка, никакъ де не женюсь.
 А я жену возьму, когда въ нее влюблюся.
 Какъ быть, не знаю, съ нимъ,—и чувствую я то,
 Что будетъ онъ бѣднякъ, а болѣе ничто.
 Вотъ что произвели проклятыя науки!
 Не нужно золото—давай Жанъ-Жака въ руки!
 Да полно, старые не лучше молодыхъ;
 Не много разницы найдешь ты нынѣ въ нихъ.
 Нерѣдко и старикъ, что дѣлаетъ, не знаетъ;
 Онъ хулить молодыхъ—и имъ же потакаетъ.
 Князь Миловъ въ пятьдесятъ и слишкомъ уже лѣтъ
 Спроказилъ такъ теперь, что весь дивится свѣтъ.
 Онъ, будучи богатъ и дочь одну имѣя,
 Воспитывать ее, какъ должно, не жалѣя,
 Рѣшился наконецъ бѣдняжку погубить:
 Майора одного изволь на ней женить!
 И что жъ онъ говоритъ себѣ во оправданье?
 Ты со смѣху умрешь. Вотъ все его желанье:
 Мой зять любезенъ мнѣ, и скромень, и уменъ;
 Онъ свѣта пустотой никакъ не ослѣпленъ;
 Совѣтовъ де моихъ онъ вѣчно не забудетъ;
 Въ глубокой старости меня покоить будетъ.
 Не знатенъ, бѣденъ онъ—я для него богатъ;
 А честность знатности дороже мнѣ стократно!
 — Вотъ, другъ сердечный мой, какъ нынче разсуждаютъ!
 И умниками ихъ иные называютъ!“

Въ стихотвореніи дано въ извѣстной мѣрѣ мѣсто и роли Чап-
 каго, какъ лица, осуждающаго недостатки общества: ее взялъ на
 себя самъ авторъ. Вотъ его ироническій отвѣтъ на реплику
 Вралева:

Сосѣдъ мой тутъ умолкъ; въ отраду я ему
 Сказалъ, что рѣдкіе послѣдуютъ тому;
 Что Миловыхъ князей у насъ, конечно, мало;
 Что золото копить желанье не пропало;
 Что любимъ мы чины и ленты получать,
 Не любимъ только ихъ заслугой доставать;
 Что также здѣсь не всѣ охотники до чтенья;
 Что рѣдкіе у насъ желаютъ просвѣщенья;
 Не всякій знаніямъ честь должну воздастъ,

И часто враль, глупецъ разумникомъ слыветъ;
Достоинствъ лаврами у насъ не украшаютъ;
Здѣсь любятъ плясуновъ—ученыхъ презираютъ.

Авторъ, подобно Чацкому, не только осуждаетъ общественные недостатки, но и томится, страдаетъ при видѣ ихъ. Въ одномъ мѣстѣ комедіи Чацкій говоритъ:

Да, мочи нѣтъ!.. мильонъ терзаній!
Груди—отъ дружескихъ тисковъ,
Ногамъ—отъ шарканья, ушамъ—отъ восклицаній,
А пуше—головѣ отъ всякихъ пустяковъ ⁸⁸).

Подобную же жалобу высказываетъ и Пушкинъ въ самомъ началѣ своего стихотворенія:

Нѣтъ болѣ силъ терпѣть! Куда ни сунься: споры,
И сплетни, и обманъ, и глупость, и раздоры!

Параллель можно провести и дальше. Чацкій въ концѣ комедіи бѣжитъ изъ Москвы, чтобы „искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ“. В. Пушкинъ заканчиваетъ свое стихотвореніе выраженіемъ подобнаго же желанія уйти отъ описаннаго имъ общества.

О хижина моя! пріятнѣй ты сто разъ
Всѣхъ модныхъ ужиновъ, концертовъ всѣхъ и баловъ,
Гдѣ часто видимъ мы безумцевъ и нахаловъ!
Въ тебѣ насмѣшекъ злыхъ, въ тебѣ злословья нѣтъ:
Въ тебѣ спокойствіе и тишина живетъ;
Въ тебѣ и разумъ мой и духъ всегда свободенъ.
Утѣхи мнѣ дарить свѣтъ модный не способенъ,
И для того теперь навѣкъ прощаюсь съ нимъ:
Фортуны не найду я съ сердцемъ въ немъ моимъ!

Оцѣнка произведеній В. Пушкина прежними критиками и статья профессора Халанскаго. — Вопросъ о вліяніи дяди на поэтическое творчество племянника.

Еще Жуковскій въ своемъ посланіи къ Василию Львовичу (1814) писалъ:

Послушай, Пушкинъ другъ, твой слогъ отменно чистъ;
Грамматика тебя угодникомъ считаетъ,
И никогда твой вкусъ не ковыляетъ.
Но кажется, что ты подчасъ многорѣчистъ;
Что стихотворный жаръ твой могъ бы быть живѣе,
А выраженія короче и сильнѣе.

Съ этимъ отзывомъ согласны всѣ. Дѣйствительно В. Пушкинъ, старавшійся подражать слогу Дмитріева, какъ онъ самъ засвидѣтельствовалъ о томъ въ посланіи къ Жуковскому (1810 г.), очень заботился о внѣшней отдѣлкѣ своихъ произведеній—и въ этомъ отношеніи достигалъ значительной степени изящества. Профессоръ Халанскій говоритъ: „Василій Львовичъ возводилъ въ законъ литературной дѣятельности требованіе простоты, естественности рѣчи, изящество ея, обогащеніе литературнаго языка, принципъ свободы творчества, основаннаго на нравственномъ благородствѣ мыслей писателя“ ⁸⁴). И тутъ же авторъ этой цитаты приводитъ слѣдующіе стихи В. Пушкина:

Прямая наша цѣль есть польза, просвѣщенье,
 Богатство языка и вкуса очищенье.
 Кто мыслить правильно, кто мыслить благородно,
 Тотъ изъясняется пріятно и свободно ⁸⁵).

Согласны всѣ также и въ томъ, что Василій Львовичъ не обладалъ сильнымъ творческимъ талантомъ, и можно не спорить съ Авенариусомъ, когда онъ говоритъ, что „по поэтическому вдохновенію ни одна пьеса В. Пушкина не выходитъ за уровень посредственности“ ⁸⁶). Но зато нельзя согласиться съ тѣмъ же критикомъ, когда онъ не хочетъ признать также и внутреннихъ достоинствъ поэзіи В. Пушкина, достоинствъ самаго содержанія его произведеній. Впрочемъ иные критики идутъ въ этомъ отношеніи еще далѣе: Саитовъ, напримѣръ, говоритъ, что „со стороны идеи произведенія Пушкина отличаются *безсодержательностію*“ ⁸⁷). Пыпинъ, вовсе не упоминая о Васиіи Львовичѣ въ своей „Исторіи русской литературы“, вѣроятно, раздѣляетъ взглядъ Саитова. Между тѣмъ принять этотъ взглядъ мѣшаютъ факты. Мы уже видѣли, что басни Васиіа Львовича и его посланія отнюдь нельзя назвать безсодержательными. Въ первыхъ онъ является весьма симпатичнымъ проповѣдникомъ гуманности. А на подобную проповѣдь недавно высказанъ у насъ очень глубокій взглядъ: ее признаютъ одной изъ характерныхъ чертъ нашей литературы XIX вѣка. Профессоръ Халанскій пишетъ: „призывъ къ сердцу, къ состраданію, эта проповѣдь милости къ падшимъ, является выдающеюся, руководящею идеей всей русской литературы XIX в. отъ «Бѣдной Лизы» Карамзина до Катерины Масловой романа «Воскресенье» гр. Толстого“ ⁸⁸).

Въ посланіяхъ своихъ—да и во многихъ другихъ стихотвореніяхъ—Василій Львовичъ является горячимъ защитникомъ про-

свѣщенія—и эти произведенія его именно богаты содержаніемъ. Впрочемъ въ этомъ лучше всего убѣждаетъ статья Халанскаго, посвященная вопросу о вліяніи дяди на поэтическое творчество племянника. Авторъ этой статьи даетъ цѣлый рядъ чрезвычайно любопытныхъ параллелей, изъ которыхъ ясно видно, что многія воззрѣнія Александра Сергѣевича усвоены имъ отъ дяди, многія чувства его были отголоскомъ чувствъ Василія Львовича. Мы, конечно, не будемъ приводить всего того, что указываетъ Халанскій, но для образца остановимся на нѣсколькихъ параллеляхъ.

Въ баснѣ В. Пушкина: „Великодушный царь“ есть между прочимъ слѣдующіе стихи:

Къ добру меня влечетъ любимецъ вѣрный мой;
Въ жестокой правдѣ нѣтъ отрады никакой,
И благотворну ложь я ей предпочитаю.

Въ баснѣ же: „Старый левъ и звѣри“ высказана такая мораль:

Читатель согласится самъ,
Что въ старости не умъ, а сердце нужно намъ.

Халанскій говоритъ: „Тѣми же мыслями, тѣмъ же воззваніемъ къ милосердію проникнуты произведенія Ал. Сергѣевича: «Анджело» (1834) и «Герой» (1830). Въ послѣднемъ повторяются почти буквально изреченія Вас. Львовича:

Да будетъ проклятъ правды свѣтъ,	Тѣмъ низкихъ истинъ мнѣ дороже
Когда посредственности холодной,	Насъ возвышающій обманъ.
Завистливой, къ соблазну жадной,	Оставь герою сердце! Что же
Онъ угождаетъ праздно! Нѣтъ,	Онъ будетъ безъ него? тиранъ!

„Какъ Василія Львовича, такъ и Ал. Сергѣевича“—пишетъ Халанскій—„отличало жизнелюбіе въ поэзіи. Въ «Стихахъ на заданныя рѣмы» (1804), представляющихъ «разсужденіе о жизни, смерти и любви», въ которое включена незамѣченная современниками и даже друзьями передѣлка словъ Клавдіо sc. I, Act. III драмы Шекспира: Measure for measure, Вас. Льв. говоритъ:

... Смерть, грозный великанъ,
Уноситъ все съ собой. И дубъ и маяранъ,
И червь и человѣкъ въ рукахъ ея—воланъ.
Поймаетъ вмигъ она и спрячетъ въ свой карманъ,
Откуда не уйдешь ни въ Лондонъ ни въ Миланъ

.....
..... Могила—не диванъ.

Когда подумаю, что лѣзтъ мнѣ въ чемоданъ,
Что тамъ исчезнетъ все: и голова и станъ,
Поморщусь и вздрогну...

Но пусть я буду живъ! Пусть жизни *караванъ*
Въ дорогѣ будетъ ввѣкъ. Французъ и *молдаванъ*.
Твердятъ, что смерти путь и трудень и *песчанъ*,
А въ жизни мило все: крапива и *тюльпанъ*.
Живу, люблю, горю...

„Если исключить изъ этихъ стиховъ модную для свѣтскаго общества того времени, какъ несоотвѣтствующую серьезности ихъ содержанія, нѣсколько шутовскую форму, какою являются здѣсь *заданныя рѣзмы* (bouts-rimés), то въ положительной части своей оно окажется предшественникомъ того дифирамба жизни, который высказываетъ у А. Серг. Клавдіо въ пьесѣ: «Анджело», представляющей передѣлку той же «Мѣры за мѣру» Шекспира и вносящей въ шекспировскій образъ Клавдіо черту чисто-пушкинскаго жизнерадостнаго, отчасти пантеистическаго оптимизма.

Такъ... умереть,
Идти невѣдомо куда, во гробъ тлѣть,
Въ холодной тѣснотѣ... Увы! *земля прекрасна*,
И *жизнь мила*. А тутъ войти въ нѣмую мглу,
Стремглавъ низвергнуться въ кипящую смолу... и т. д.

„Невольно по поводу этого и слѣдующихъ отраженій воззрѣній и литературныхъ симпатій Вас. Львовича въ поэзіи его гениальнаго племянника припоминаются слѣдующія слова Венеитинова:

И слово сильное случайно
Изъ груди вырвется твоей;
Уронишь ты его недаромъ:

Оно чужую грудь зажжетъ,
Въ нее какъ искра упадетъ,
А въ ней пробудится пожаромъ.

„Несомнѣнно, такими искрами для впечатлительной натуры гениальнаго поэта были возвышенныя воззрѣнія просвѣщеннаго и добраго Вас. Львовича на жизнь, природу и людей, западавшія въ нее иногда можетъ быть невольно, безсознательно, въ томъ живомъ взаимодействіи, которое существуетъ между учителемъ и учениками въ школѣ, между старшими и младшими членами въ семьѣ“.

Далѣе слѣдуютъ параллели воззрѣній обоихъ писателей на жизнь, природу и людей, а затѣмъ и параллели ихъ литературныхъ симпатій. Изъ послѣднихъ вотъ одна, для примѣра.

Василій Львовичъ, какъ извѣстно, не любилъ напыщенности въ поэзіи и темноты въ выраженіи. „Тѣ же самыя воззрѣнія на качества литературнаго языка и на задачи литературной дѣятельности“—говоритъ Халанскій—„развиваетъ уже 16—17-тилѣтній

поэтъ-племянникъ въ своихъ лицейскихъ стихотвореніяхъ, несомнѣнно, подѣ влияніемъ наставленій своего «парнаскаго отца»:

Напыщенными стихами,
Наборомъ громозвучныхъ словъ
Я пѣть пустого не умѣю,

писалъ Ал. Сергѣевичъ въ 1815 году:

И въ лиру превращать не смѣю
Мое гусяное перо.

„Въ стихотвореніи: «Желаніе», написанномъ въ 1816 году Ал. Сергѣевичъ пишетъ дядѣ:

Христось воскресъ, питомецъ Феба.
Дай Богъ, чтобъ, милостію неба,
Разсудокъ на Руси воскресъ.
Дай Богъ, чтобы во всей вселенной
Воскресли миръ и тишина...

Но:

Да не воскреснуть отъ забвенья	Писали слишкомъ мудрено,
Всѣ тѣ, которые на свѣтѣ	То-есть и хладно и темно,
Что очень стыдно и грѣшно.	

„Въ сказкѣ: «Бова» (1815) Пушкинъ выражаетъ намѣреніе писать такъ, чтобы его всѣ поняли «отъ мала до велика»“.

Думаемъ, что послѣ статьи Халанскаго едва ли удержится взглядъ на В. Пушкина, какъ на поэта безъ содержанія. Да и можетъ ли не имѣть содержанія поэзія писателя, котораго величайшій нашъ поэтъ называлъ своимъ „парнасскимъ дядей“, своимъ „парнасскимъ отцомъ“—и называлъ, какъ теперь доказано, не въ шутку, не съ ироніей, а съ чувствомъ глубокаго уваженія.

IV. А. Е. Измайловъ (1779—1831).

Своеобразное подражаніе Измайлова Карамзину. — Его романъ: „Евгеній, или пагубныя слѣдствія дурного воспитанія и сообщества“. — Его восточныя повѣсти. — Нѣсколько словъ о Бенитцкомъ.

Въ числѣ подражателей Карамзина былъ и Александръ Ефимовичъ Измайловъ: его тоже затронулъ образъ страдающей Лизы—и онъ написалъ повѣсть: „Бѣдная Маша“ (1803). Но такъ какъ Измайловъ, по природѣ своей, не былъ способенъ къ сентиментальности, подражаніе его Карамзину вышло своеобразнымъ: вмѣсто трогательнаго разсказа онъ создалъ ужасную мелодраму

и залилъ конецъ своей повѣсти кровью. Содержаніе ея слѣдующее:

Въ [городѣ N жилъ пожилой и отставной оберъ-офицеръ Простаковъ, человѣкъ „посредственнаго достатка, посредственнаго разума, но весьма добраго сердца“; жилъ онъ со старухой, своей женой, „одинаковыхъ съ нимъ свойствъ“. Съ ними жила и племянница ихъ, сирота Маша. „Смирна, послушлива, прекрасна и любезна, она входила у всѣхъ въ любовь. Ей было семнадцать лѣтъ. Всякая мать говорила своему сыну: «Дай тебѣ Богъ такую невѣсту, какова Маша!» Многие за нее сватались, но иные не казались ей, другіе ея родственникамъ. Наконецъ сыскался такой женихъ, который зналъ искусство нравиться и молодымъ и старымъ“. Это былъ Миловъ, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати пяти, статный, ловкій, бойкій, учтивый и щеголь. Онъ не жилъ въ городѣ N, но пріѣхалъ туда по своимъ дѣламъ. Услышавши о достоинствахъ Маши и о ея приданомъ, которое, какъ замѣчаетъ авторъ, „было не очень велико, однакоже и не мало“, онъ черезъ сваху знакомится съ семействомъ Простакова, пріобрѣтаетъ общее расположеніе—и женится на полюбившей его дѣвушкѣ.

Нѣсколько мѣсяцевъ Маша живетъ съ мужемъ счастливо, потому что увѣрена въ его любви къ ней, и уже готовится быть матерью, какъ вдругъ Миловъ объявляетъ, что ему нужно съѣздить въ тотъ городъ, гдѣ онъ жилъ до свадьбы. Маша хотѣла было ѣхать вмѣстѣ съ нимъ, но Миловъ, „вспомоществуемый Простаковымъ и Простаковою, истощилъ все свое краснорѣчіе для отвращенія своей жены отъ сего намѣренія, увѣрялъ ее, что онъ скоро возвратится, и что она, будучи беременна, не можетъ перенести безпокойство дороги. Не забывъ сдѣлать и обыкновеннаго обѣщанія отъѣзжающихъ: писать часто письма. Наканунѣ ихъ разлуки выпросилъ онъ у Маши деньги и жемчугъ, которые взялъ за нею въ приданое“. На другой день онъ уѣхалъ—и пропалъ безъ вѣсти. Маша, у которой уже родился прекрасный мальчикъ, горюетъ, плачетъ и молится Богу, а Простаковъ пишетъ письма къ своимъ знакомымъ въ тотъ городъ, куда уѣхалъ мужъ его племянницы, и получаетъ наконецъ извѣстіе, что въ городѣ этомъ никакого Милова нѣтъ и никогда не бывало. Простаковъ не зналъ, что и думать о зятѣ; но вотъ „въ одинъ день получаетъ письмо отъ своего знакома, который пировалъ на свадьбѣ его племянницы и который поѣхалъ недавно въ одинъ городъ за своею нуждою. Грамотка сія была слѣдующаго содержанія:

«Государь мой, Пантелеймонъ Трифоновичъ обще съ Государыней Саламанидою Тарасьевою, желаю вамъ на многія лѣта здравствовать!»

«Усердно поздравляю васъ съ наступившею Святой Четырехдесятицею, желаю вамъ душеспасительно оную проводить; вѣдомляю притомъ, во-первыхъ, что я пріѣхалъ сюда живъ и здоровъ, а во-вторыхъ, что нашелъ здѣсь вашего зятя, сирѣчь мужа вашей племянницы, господина Милова. Да будетъ вамъ, государю моему, вѣдомо, что онъ находится не у дѣлъ, а женатъ уже три года на другой женѣ, не на русской, а на нѣмкѣ; живетъ здѣсь съ нею и ѣстъ по постамъ скромное. Совѣтую вамъ, яко старинный другъ, приказать вашей племянницѣ, чтобы она о семъ не печалилась, а подала бы лучше на него просьбу, куда подобаешь. За симъ остаюсь вашъ вѣрный слуга

Филимонъ Фатюевъ».

«П. П. Здѣсь варять изрядное-таки пиво, но только, по глупому обыкновенію, кладутъ въ него мало хмелю; вина же цѣльнаго и хорошей водки не скоро найдешь».

Маша была въ отчаяніи, которое Измайловъ описываетъ безъ всякой сентиментальности. Узнавъ о письмѣ Фатюева, «бѣдная Маша сдѣлалась бѣла, какъ хлопчатая бумага, ахнула и чуть не уронила съ рукъ своего сына. Тетка вырвала его у нея. Онъ заплакалъ; Маша услышала и, не говоря ни слова, взяла его къ себѣ на колѣна. Долго хранила она глубокое молчаніе и глядѣла на образа, всплеснувъ руками. Наконецъ заблестѣли слезы на черныхъ ея рѣсницахъ и полились ручьями на маленькаго Милова». Въ слѣдующую за тѣмъ сцену авторъ вноситъ даже комическій элементъ. «Что теперь сдѣлаешь, Машенька?» сказалъ ей Простаковъ.—Что сдѣлаю, дядюшка?... Поѣду къ нему съ сыномъ.—«Да развѣ ты не слыхала, что онъ живетъ съ другой женою, которая еще и не нашей вѣры?»—Слышала, дядюшка, все слышала!—«Тебя разведутъ съ нимъ, коли ты на него попросишь... Что тебѣ у него дѣлать?»—Мнѣ просить на моего мужа? Что мнѣ у него дѣлать?... Я буду у него все дѣлать, стану стараться угождать ему... и злодѣйкѣ моей,—промолвила она, зарыдавши.—Нѣмкѣ-то! басурманкѣ-то! вскричала тетка. Въ своемъ ли ты умѣ, Машенька?—Разумный дядя, почесывая у себя въ головѣ и не зная, чѣмъ отвратить племянницу отъ сего намѣренія, сказалъ ей: «Они уморятъ тебя, Машенька, по постнымъ днямъ съ голоду. Ты, вѣдь, не захочешь мяса, какъ другая, въ среду

и пятницу... Проклятый! у насъ онъ не всякій день пилъ и наливки, а теперь со своею женою изволить, чай, кушать по постамъ кофе со сливками».—Сильные доводы Простакова и Простаковой не могли убѣдить Машу: они принуждены были отпустить ее съ сыномъ къ вѣроломному Милову.“

Съ этого мѣста повѣсти начинается кровавый финалъ ея.

„Пріѣхавши Маша благополучно въ тотъ городъ, гдѣ жилъ ея мужъ, освѣдомляется о его квартирѣ и, взявши съ собою своего сына, идетъ прямо къ нему въ домъ. Входитъ въ прихожую и слышитъ въ другой комнатѣ голосъ Милова. Сердце у ней затрепетало. Она боится туда войти. Двери были не плотно затворены; Маша подходитъ на цыпочкахъ и смотритъ въ нихъ потихоньку. Что она увидѣла! Измѣнникъ сидѣлъ на стулѣ; соперница ея сидѣла на колѣняхъ, будучи полуодѣта. Обнявъ его одною рукою и положивъ нерадиво голову къ нему на плечо, она цѣловала его нѣжно. Онъ держалъ другую ея руку, прижималъ оную къ губамъ и груди своей, и говорилъ ей: «Какъ я люблю тебя, моя милая Шарлотта!» Маша не могла долго смотреть на сію картину. Вдругъ входитъ она къ нимъ. Ноги у ней подгибаются. Шарлотта, увидя прекрасную молодую женщину, одѣтую просто и трясущуюся отъ страха, говоритъ ей ласково: «Кого тебѣ надобно, душенька?»—Мужа, сударыня, моего мужа.—«Какого мужа?» спрашиваетъ изумленная Шарлотта. Миловъ, поблѣднѣвши, какъ преступникъ, котораго терзаетъ совѣсть и страхъ приготовляющейся для него казни, бросается къ ногамъ своихъ женъ, признается имъ во всемъ, проситъ прощенія и заключаетъ тѣмъ, что не можетъ жить безъ нихъ обѣихъ. Маша всхлипываетъ и рыдаетъ; Шарлотта, стараясь, но не могши скрыть своихъ слезъ, бросаетъ ужасный взоръ на измѣнника и выходитъ съ поспѣшностью изъ комнаты; Миловъ хочетъ удержать ее за платье, но въ самое то время заплакалъ сынъ его, котораго еще онъ не видывалъ. Онъ встаетъ, беретъ его къ себѣ на руки, покрываетъ лицо его горячими слезами и поцѣлуями и вздыхая отдастъ его обратно Машѣ, у которой взялъ, самъ же идетъ искать Шарлотту. Несчастный едва успѣлъ отворить дверь въ ту горницу, въ которую она вышла, какъ испускаетъ страшный крикъ. Маша бѣжитъ на оный и видитъ свою соперницу, распростертую на полу и всю въ крови. Въ обнаженной груди ея, которую недавно ласкала рука Милова, былъ вонзенъ большой ножикъ; кровавые пузыри выскакивали изъ глубокой раны, и кровь текла ручьемъ по полу съ ея платья прямо къ ногамъ ея мужа..

Отчаянный Миловъ падаетъ безъ чувствъ о край желѣзнаго сундука; кровь потекла у него изъ темени и смѣшалась съ кровью Шарлотты“. Вскорѣ Миловъ приходитъ въ себя. „Безмолвенъ и мраченъ, смотритъ онъ съ минутою на мертвую Шарлотту, потомъ окидываетъ глазами все лежащее на полу, схватываетъ ножъ, запекшійся въ крови жены его, и хочетъ пронзить имъ себѣ сердце... Трепещущая Маша вырываетъ у него ножъ, перерѣзавъ себѣ пальцы“.

Миловъ заболѣваетъ горячкою; Маша ухаживаетъ за нимъ, и недѣли черезъ двѣ жаръ и бредъ прошли. Маша идетъ въ церковь помолиться о здравіи мужа и причастить сына. „Возвратившись домой, она велитъ открывать ставни въ комнатѣ, гдѣ лежалъ больной, думая, что онъ скоро проснется; сама же входитъ въ нее, скинувъ башмаки у порога, отдергиваетъ занавѣсы у постели и приподнимаетъ полегоньку одѣяло. Въ ту самую минуту открываютъ одно окно — и дневной свѣтъ, проходя сквозь оное, показываетъ Машѣ утопающій въ крови трупъ Милова. Простыня, подушка, одѣяло, полъ—все было обагрено въ оной. Бѣдная падаетъ на тѣло своего мужа, испуская дикій вопль, и остается безъ движенія нѣсколько часовъ“.

„Несчастный, въ отсутствіе Маши, разрѣзалъ у себя на рукахъ и на ногахъ жилы перочиннымъ ножикомъ... и истекъ весь кровью“.

Заканчивается повѣсть такъ:

„На подушкѣ у Милова нашли письмо, написанное имъ передъ кончиною къ своей женѣ. Оно состояло въ сихъ строкахъ:

«Я рѣшился и заслуживаю умереть. Любезная Маша, не плачь обо мнѣ: злодѣй не достоинъ слезъ твоихъ. Я любилъ тебя, клянусь въ томъ при послѣднемъ часѣ моей жизни самимъ Богомъ, меня наказующимъ... Но я любилъ прежде еще Шарлотту и... Ты не знала ее: она во всемъ тебѣ была подобна... И я, я погубилъ васъ обѣихъ!... Правосудный Боже! воздай злодѣю по дѣламъ его».

«Маша, любезная Маша! согласишься жить для несчастнаго нашего сына; заклинаю тебя въ томъ горестнымъ концомъ моимъ».

„Всякій чувствительный читатель можетъ себѣ представить, какъ рвалась несчастная вдова Милова. Она называла себя убійцею своей соперницы и своего мужа, проклинала тотъ часъ, въ который пріѣхала въ сей городъ, сѣтовала на судьбу, что даровала ей сына. Священный долгъ матери и христіанки препятствовалъ ей кончить жизнь свою“.

„Ничто не могло удержать Машу быть свидѣтельницею позорныхъ похоронъ ея мужа. Самоубійцу вывели за городъ на большое поле, зарыли тамъ въ могилу, въ которой была положена Шарлотта, и похоронили трупъ его вмѣстѣ съ ея трупомъ. Маша изъ всего имѣнія, оставшагося послѣ Милова, взяла себѣ только одинъ его силуэтъ, возвратилась въ домъ своихъ родственниковъ, гдѣ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ и умерла съ грусти“⁸⁹⁾.

Не смотря на то, что авторъ, видимо, рассчитывалъ растрогать читателя концомъ своей повѣсти, сдѣлавъ его, насколько могъ, чувствительнымъ,—цѣль его едва ли была достигнута, такъ какъ въ психологической сторонѣ его произведенія слишкомъ ужъ много неестественнаго и непонятнаго, и прежде всего непонятенъ самъ Милловъ. Женатый человѣкъ, страстно любящій свою Шарлотту, онъ женится на другой женщинѣ не только потому, что у нея есть приданое, но и потому, что „наслышался о ея достоинствахъ“. Затѣмъ онъ бросаетъ Машу ради Шарлотты, потомъ заявляетъ о своей любви къ нимъ обѣимъ, хочетъ заколоть себя, лишившись Шарлотты, и наконецъ умираетъ, терзаемый совѣстью, и передъ смертью опять признается въ любви къ Машѣ... Все это какая-то психологическая путаница, сплетеніе явленій непонятныхъ и не разъясненныхъ.

Но за то въ повѣсти Измайлова есть другая сторона, не придуманная, а реальная: это—изображеніе современныхъ автору типовъ, нравовъ и обычаевъ. Благодаря этой сторонѣ, повѣсть Измайлова выдвигаютъ сравнительно съ другими подражаніями „Бѣдной Лизѣ“. Такъ, напримѣръ, проф. Владимировъ говоритъ: „Карамзину принадлежитъ безплодное вліяніе на сентиментальные романы, подъ названіями: «Несчастливая Лиза» кн. Долгорукова, «Несчастный Л., россійское сочиненіе», «Марьяна роща» Жуковского. Только маленькій рассказъ баснописца А. Измайлова: «Бѣдная Маша», не смотря на сплетеніе трагическихъ условій, приближается къ реализму въ силу присущаго этому баснописцу таланта въ изображеніи простонародныхъ и городскихъ типовъ“⁹⁰⁾. Къ этому надо прибавить еще слѣдующее: изображеніе указанныхъ типовъ и вообще современныхъ нравовъ нерѣдко сопровождается тѣмъ насмѣшливымъ отношеніемъ автора, которое впослѣдствіи такъ отличало Гоголя, и потому, по нашему мнѣнію, на А. Измайлова можно смотрѣть, какъ на маленькаго предшественника нашего великаго юмориста. Образцы юмора Измайлова читатель нашъ отчасти уже видѣлъ: письмо Фатюева

и дальше — разговоръ между обоими Простаковыми и Машей. Приведемъ изъ его повѣсти еще два мѣста съ юмористическимъ изображеніемъ современной ей дѣйствительности.

Говоря о сватовствѣ Милова, авторъ изображаетъ такую картину. Сваха „старушка набожной фizioноміи“, любившая, чтобы ей подносили „чарочки“ и „рублевики“, „входить въ комнату и, помолвившись, кланяется низехонько хозяину и хозяйкѣ. — Мнѣ есть до вашей милости нужда, говоритъ она имъ. — Какая, голубушка, какая? спрашиваетъ ее Простаковъ. — У васъ есть товаръ, а у меня купецъ. — Садись-ка, садись... Дай-ка, жена, намъ наливочки. — Сватается, батюшка, за вашу племянницу молодець — смирный, постоянный и, какъ красная дѣвушка, хмельного въ ротъ не беретъ. — Хорошо, старушка, хорошо; да таковъ ли онъ полно? сказала Простакова свахѣ, поднося ей рюмку крѣпкой наливки. — Чтобы мнѣ, старой вѣдьмѣ, сейчасъ захлебнуться, коли я вамъ лгу... Сами изволите увидѣть, коли прикажете ему къ себѣ побывать. — Пусть пожалуетъ, пусть пожалуетъ: мы рады дорогому гостю“.

Говоря о томъ, какъ жили другъ съ другомъ Миловъ и Маша, Измайловъ въ насмѣшливомъ тонѣ намекаетъ на современные ему семейные нравы: „Маша любила весьма горячо своего мужа, думала, что и онъ ее любить, потому что много ее цѣловаль и никогда съ ней не бранился, хотя было тогда у мужей въ ихъ городѣ обыкновеніе бранить раза два или три въ недѣлю своихъ женъ для того, чтобы онѣ ихъ почитали“.

Стремленіе изображать реальную жизнь — и притомъ именно отрицательную сторону этой жизни, равно какъ и насмѣшливый тонъ въ описаніи ея проявились въ Измайловѣ еще раньше: въ его романѣ: „Евгеній, или пагубныя слѣдствія дурного воспитанія и сообщества“, начавшемъ печататься въ 1799 г. Насмѣшливый тонъ есть уже въ первой главѣ романа, озаглавленной: „Кто таковы были родители Евгенія“. Въ этой главѣ находимъ такое описаніе отца и матери героя романа — Евгенія Лукича Негодяева:

„Господинъ Негодяевъ находился въ статской службѣ болѣе сорока лѣтъ. Получа чинъ коллежскаго ассесора, пошелъ онъ въ отставку съ небольшою пенсією. Онъ имѣлъ за собою около пятидесяти душъ крестьянъ въ лучшихъ деревняхъ и нѣсколько каменныхъ домовъ и лавокъ въ Москвѣ. Никто не могъ сдѣлать ему укоризны, что имѣніе сіе получилъ онъ отъ своихъ предковъ: ибо отецъ его, служивши канцеляристомъ, издерживалъ въ питейныхъ домахъ весь свой окладной и неокладной доходъ, нако-

нецъ попался, по несчастію, въ солдаты, оставя послѣ себя сыну (который въ то время былъ еще копейстомъ) одинъ старый войлокъ, занимавшій у него мѣсто постели“.

„Итакъ г. Негодяевъ нажилъ себѣ, какъ говаривалъ онъ самъ, *кусокъ хлѣба* благословеніемъ Божиимъ за услуги, оказанныя имъ ближнему“.

„Оставивши службу на 55 году своей жизни, первое его намѣреніе было наложить на себя узы брака, ибо былъ вдовъ и бездѣтень. Онъ женился на единородной дочери одного престарѣлаго и весьма богатаго дворянина, который далъ за нею въ приданое половину своего имѣнія, и, спустя нѣсколько мѣсяцевъ послѣ свадьбы, переселился на вѣчную жизнь, сдѣлавши и другой половины наслѣдниками своего зятя и свою дочь“.

„Женившись, г. Негодяевъ не упражнялся единственно, какъ прочіе новобрачные, въ цѣлованіи со своею женою. Оставивши службу, не оставилъ онъ труды, и, казалось, жилъ единственно для услугъ рода христіанскаго. Богатая вдова и сирота, которыхъ оспаривали право наслѣдства, находили себѣ въ немъ сильнаго защитника передъ зеркаломъ правосудія; кладовая его и бумажникъ его были отверсты для всякаго неимущаго, который только давалъ хорошій закладъ и хорошіе проценты. Онъ былъ весьма богобоязливъ и, не сотворивши крестнаго знаменія, не выпивалъ ни одной рюмки водки и не писалъ ни одной челобитной“.

„Давши читателю нѣкоторое понятіе о г. Негодяевѣ, почти таю за нужное описать ему нѣсколько и его супругу. Она очень помнила то, что была природная дворянка, что была богата, и знала не хуже своего мужа, что онъ въ рангѣ сухопутнаго майора. Имѣла не малыя свѣдѣнія въ искусствѣ нарядовъ и злословія. Любила своего мужа за то только, что онъ былъ, какъ я уже сказалъ, ассесоръ, что не мѣшалъ ей жить на *знатной ногѣ*, слушался ея совѣтовъ и исполнялъ ея просьбы“.

Отъ этой четы родился герой романа—Евгеній Негодяевъ, и главное содержаніе произведенія заключается въ изложеніи его жизни. Излагая ее, авторъ большею частью держится насмѣшливаго тона, то оставаясь веселымъ юмористомъ, то переходя къ довольно злой ироніи.

Едва родился Евгеній, его записали въ гвардію сержантомъ, и такъ какъ госпожа Негодяева не желала исполнять *мнимый* и безпокойный долгъ матери, ему взяли кормилицу. „Часто, когда онъ пронзительнымъ крикомъ требовалъ отъ нея себѣ пищи и

мѣшалъ симъ дремать ей надъ его колыбелью, она ниспускала на его лядвія тяжелые удары своей десницы“. Когда же Евгений началъ ходить и говорить, ему сшили гвардейскій мундиръ съ золотыми галунами, и „прежде, нежели еще его выучили молиться Богу, твердили ему безпрестанно, что онъ дворянинъ и сержантъ гвардіи“. „Въ штатѣ его состояло болѣе десяти нянюшекъ, мамушекъ и ихъ дѣтей. Иныя его одѣвали, иныя раздѣвали; однѣ рассказывали ему любопытныя повѣсти объ чертяхъ и прекрасныхъ царевнахъ, другія забавляли его разными играми; тѣ крали у него конфекты, тѣ игрушки. Онъ часто ушибался, и выучился отъ нихъ бранить какъ ихъ самихъ, такъ и всѣхъ тѣхъ, кто его хоть мало разсердить. Г-жа Негодяева хохотала отъ радости по цѣлой четверти часа, когда онъ, нахмуря брови и топая объ полъ ногою, называлъ ее въ глаза *дурой* и *свиньею*“. Первымъ наставникомъ Евгения былъ французъ, monsieur le Pendard, который въ своемъ отечествѣ былъ солдатомъ и „проходилъ неоднократно сквозь длинные ряды своихъ собратій, вооруженныхъ длинными прутьями, и въ знакъ геройскихъ своихъ подвиговъ имѣлъ у себя на плечѣ литеру V“. „Господинъ ле-Пандардъ походилъ очень ласково со своимъ воспитанникомъ, и не отягощалъ его трудами, зная, что строгость и принужденіе не могутъ быть ни къ чему полезны... Говорилъ же съ нимъ всегда по-французски... Въ теченіе двухъ лѣтъ Евгений выучился нѣсколько лепетать на французскомъ языкѣ, и уже могъ на немъ называть въ глаза дураками тѣхъ, которые онаго не разумѣли. Г-жа Негодяева чуть не плакала отъ радости, обнимала его, называла своею утѣхою, награждала его щедро конфектами, и исполняла его прихоти; рачительному же учителю дѣланы были часто подарки и прибавки жалованья“.

„Да не подумаютъ“,—говоритъ авторъ,—„тѣ читатели, которые полагаютъ за нужное всякому человѣку хотя нѣкоторое знаніе собственнаго своего языка, что Евгений не былъ обученъ російской грамотѣ. Нѣтъ, приходскій священникъ, человѣкъ недостаточный, но хорошаго поведенія и хорошихъ свѣдѣній, приходилъ, по желанію г-на Негодяева, каждую недѣлю два часа для наставленія его сына въ познаніи буквъ и катехизиса, получая за свои труды время отъ времени попорченный деревенскій запасъ въ маломъ количествѣ. Евгений не могъ терпѣть церковной печати и густой бороды своего учителя. Едва онъ въ три года выучился посредственно читать по-русски, и вытверженное имъ съ великимъ трудомъ десятословіе забылъ послѣ того такъ же легко, какъ и имя своего наставника“.

Когда le Pendard, пробывъ у Негодяевыхъ около 4 лѣтъ, наконецъ убѣжалъ, обокравши ихъ, Евгенія отдали въ пансіонъ, содержимый, конечно, иностранцемъ. Переходя къ этому событію, авторъ обращается къ своимъ современникамъ со слѣдующимъ ироническимъ совѣтомъ: „Отцы и матери, желающіе у себя имѣть дѣтей благовоспитанныхъ, отдавайте ихъ въ пансіоны, содержимые честными иностранцами. Тамъ-то молодые люди обучаются съ удивительною скоростію чужимъ языкамъ, составляющимъ главнѣйшую часть просвѣщенія дворянства, долженствующаго занимать со временемъ почетныя въ государствѣ мѣста; тамъ-то полезное танцованіе сдѣлаетъ въ непродолжительное время ихъ *фигуру развязанною*; тамъ-то образуется вкусъ отрочества и юношества обоого пола въ платьяхъ и нарядахъ. Такъ поступилъ г. Негодяевъ и г-жа Негодяева послѣ ле-Пандардова побѣга“.

Въ пансіонѣ, куда отдали Евгенія, было около ста воспитанниковъ и воспитанницъ. Его содержалъ нѣмецъ Езелманъ, бывшій въ своемъ отечествѣ шинкаремъ. Преподаваніе было, конечно, плохое, но въ „лепетаньи“ по-французски Евгеній все-таки усовершенствовался, а главное—на урокахъ г. Коверкина научился прекрасно танцовать. Эти уроки авторъ описываетъ такъ: „Каждую среду и субботу всѣ пансіонеры и пансіонерки, подъ предводительствомъ г. Коверкина, собирались ввечеру въ большую залу, первые—будучи причесаны къ лицу искуснымъ парикмахеромъ, надѣвши на себя новомодные фраки и легкіе англійскіе башмаки; послѣднія же—имѣя нерадиво завитые распущенные по плечамъ локоны и, подобныя бѣлизною снѣгу, на себѣ шемизы, препоясанныя лентою любимаго цвѣта. Едва г. Коверкинъ давалъ знакъ рукою, то сидѣвшіе въ углу зала два красноносые музыканта начинали соглашать свои инструменты, а ученики его, большіе и малые, подходили съ петиметрскою осанкою и поклонами къ дѣвицамъ, прося ихъ съ собою танцовать и представляя имъ въ лайковой перчаткѣ свою руку; тѣ же подавали имъ свою съ пріятною улыбкою и жеманствомъ, и становились на свои мѣста. Г. Коверкинъ, обращая повсюду глаза и видя всѣхъ въ готовности, давалъ вторичный знакъ рукою, ударяя притомъ крѣпко ногою объ полъ. Въ одно мгновеніе ока обѣ скрипки издавали громкіе звуки; танцующіе, держа другъ друга за руки, двигались попарно со своего мѣста въ надлежащемъ порядкѣ, раздѣлялись,—нагибались съ пріятностію и присѣдали, опустя внизъ руки, подавали обратно оныя другъ другу со сладострастною нерадивостію, соединялись опять и составляли чрезъ нѣсколько

времени круглую цѣпь... Тутъ-то Евгений помрачалъ всѣхъ своимъ достоинствомъ“.

„Свободное время отъ трудовъ Евгений употреблялъ вмѣстѣ со своими товарищами на разныя невинныя дѣтскія игры и увеселенія. Нерѣдко по вечерамъ, собравшись и запершись въ его комнатѣ (онъ имѣлъ особую горницу, и, сверхъ 400 за ученіе и за столъ, платилъ Езельману за нее ежегодно 200 рублей), отдаленной отъ прочихъ, дѣлали небольшой банкъ, или опоражнивали съ нимъ чашу пунша, приготовленнаго его слугою, который исполнялъ съ великимъ проворствомъ и съ надлежащею скромностію препорученныя ему дѣла отъ молодого господина, не смѣя ему не повиноваться подъ страхомъ жесточайшаго наказанія. Читеніемъ же не столь много занимались, сколько карточною игрою. Въ пансіонѣ читали только на французскомъ языкѣ «Тысячу и одну ночь», а на русскомъ—письменные сочиненія того поэта, который въ храмахъ Бахуса составлялъ стихи въ честь Пріаму. Изъ послѣднихъ многіе переписывались съ жадностію и выучивались наизусть“.

„Такимъ-то образомъ употреблялъ молодой Негодяевъ свое время и деньги во всю бытность его въ пансіонѣ болѣе пяти лѣтъ“.

Вышелъ Евгений изъ пансіона по слѣдующему случаю. Влюбившись въ одну изъ воспитанницъ, Марію, онъ воспользовался ея легковѣрнымъ отношеніемъ къ его обѣщанію жениться на ней и совершилъ безчестный поступокъ. Езельманъ хотѣлъ было наказать своего питомца, такъ какъ о поступкѣ его узнали уже многіе въ пансіонѣ, но мать Евгенія, „посмѣявшись довольно дѣтскимъ шалостямъ“ сына, рѣшила, что не хочетъ болѣе, чтобы онъ учился у такихъ людей, которые „не знаютъ обходиться съ благородными дѣтьми“. Марія занемогла горячкою и умерла.

Отецъ и мать Негодяева отдали послѣ того сына въ университетъ „для того, чтобы, по выходѣ изъ онаго на большой театръ свѣта, получилъ онъ отъ всѣхъ зрителей и актеровъ, его наполняющихъ, пріятное названіе *благовоспитаннаго и ученаго* молодого человѣка“. Евгений или спалъ на лекціяхъ, или прогуливалъ ихъ; „спрошенный же въ классѣ наставникомъ, испытующимъ его память, повторялъ громко слова, произносимыя ему тихо услужливыми его пріятелями, или хранилъ молчаніе“. Эти „услужливые пріятели“ были вмѣстѣ съ тѣмъ и „подлыми наемниками“. Съ однимъ изъ нихъ Евгений подружился. Это былъ Развратинъ, молодой, человѣкъ „посредственныхъ дарова-

ній, посредственныхъ знаній, испорченныхъ нравовъ и испорченнаго сердца“; онъ „хвасталъ, какъ педантъ, пилъ, какъ ремесленникъ, игралъ на бильярдѣ, какъ маркеръ, злословилъ, какъ богомолка, и умѣлъ съ несказаннымъ искусствомъ жить на счетъ другихъ. Онъ не наблюдалъ ни естественнаго закона, ни христіанскаго, вытвердилъ противъ послѣдняго нѣсколько возраженій, которыхъ никогда не изслѣдывалъ, нѣсколько также именъ славныхъ вольнодумцевъ, и повторялъ тѣ и другія безпрестанно передъ глупцами своихъ лѣтъ, спорилъ съ кѣмъ могъ, и получалъ имя *бойкаго* отъ невѣждъ, не могущихъ опровергнуть его доказательствъ“.

Затѣмъ авторъ описываетъ воспитаніе Евгенія въ школѣ Развратина.

„Однажды Развратинъ, бывши наединѣ съ Негодяевымъ, увидѣлъ по случаю у него на шеѣ крестъ.—У тебя на шеѣ крестъ! вскричалъ онъ, захохотавши, какъ пьяный дуракъ.—Да, золотой, отвѣчалъ Евгеній, показывая ему оный.—Зачѣмъ ты его носишь?—Твоя правда, зачѣмъ? мнѣ онъ очень мѣшаетъ... Говорятъ, что будто всякій христіанинъ *оближерованъ* имѣть на себѣ крестъ.—Такъ ты христіанинъ, сынъ православныя греко-каѳолическія церкви?—Съ чего ты взялъ, что я католикъ? я не католической, а *русской* вѣры.—Ха! ха! ха! ты не пропускаешь, я думаю, ни одной литургіи?—Литургіи?... Что это такое?—То-есть обѣдни.—Нѣтъ, я встаю поздно по воскресеньямъ и по праздникамъ.—По сколько ты кладешь всякій день поклоновъ ввечеру и поутру?—Я не молюсь никогда въ землю, да часто случается, что ложусь спать, ни разу не перекрестившись.—Я чаю, ты много знаешь наизусть молитвъ?—Да я много въ самомъ дѣлѣ ихъ зналъ, пять или шесть никакъ,—не помню право,—а теперь всѣ ихъ позабылъ.—Ха! ха! ха! хорошо, что ты не совсѣмъ закоренѣлъ въ невѣжествѣ: тебѣ можно еще подать руку помощи, и ежели ты мнѣ общаешься во всемъ вѣрить и во всемъ меня слушаться (ты это долженъ), то я, по дружбѣ, превращу тебя изъ грубаго невѣжи въ просвѣщеннаго вольнодумца... Благодаря убѣдительнымъ силлогизмамъ господина Развратина, молодой Негодяевъ скорѣ сталъ считать за смѣшныя предразсудки и нелѣпыя мнѣнія то, на чемъ основывается благополучіе людей, и чего они не имѣя, не могутъ имѣть большого предпочтенія передъ бессмысленными и лютыми животными. Богопочитаніе, честность и добродѣтели, дѣлающія человѣка существомъ благороднымъ, были въ глазахъ его химерою, свойствами, приличными

однимъ простолюдинамъ.—Есть такіе предрасудки,—говорилъ ему мудрый другъ его, — которымъ просвѣщенный долженъ смѣяться, но которые имѣть наружно бываетъ ему иногда надобно. Напримѣръ, любовь къ родителямъ есть самый глупый предрасудокъ. Скажутъ, что ты обязанъ любить своего отца и мать, потому что они тебѣ дали жизнь, воспитаніе, пекутся о твоёмъ благополучіи. Я отвѣчаю на это, что если они дали тебѣ жизнь, то не съ намѣреніемъ, но посреди взаимнаго своего наслажденія; что если они тебя кормили, поили, одѣвали, учили и стараются сдѣлать счастливыми, то они должны это дѣлать, поелику ты служишь имъ утѣхою, и они довольно заплачены за свои попеченія удовольствіемъ ихъ тебѣ оказывать. Почему же ты имъ обязанъ любовію, а особливо почтеніемъ? Но родители твои богаты; притворяйся, что ихъ любишь до такого же безумія, какъ они тебя; что ихъ почитаешь столько же, сколько глупый подчиненный своего начальника, ты можешь симъ средствомъ получить отъ нихъ болѣе денегъ на твои надобности.—Такъ, такъ, отвѣчалъ внимательный юноша: ты говоришь правду“.

„Евгеній находился въ университетѣ съ полгода. Въ столь короткое время, кромѣ рѣдкихъ знаній, имъ тутъ пріобрѣтенныхъ и упомянутыхъ мною, стараніемъ г. Развратина выучился онъ играть на бильярдѣ и усовершенствовался въ познаніи напитковъ, также въ обращеніи съ женщинами, обращающимися съ цѣлымъ свѣтомъ. Таково было его воспитаніе, стоящее нѣсколько тысячъ его родителямъ“.

Измайловъ въ лицѣ Развратина, какъ раньше его Фонвинъ въ лицѣ Иванушки, изобразилъ тѣхъ молодыхъ людей въ современномъ ему русскомъ обществѣ, которые способны были усваивать лишь однѣ отрицательныя стороны западно-европейской культуры. По отношенію къ этимъ людямъ, при умственной и нравственной ихъ скудости, мало имѣла значенія та „страстная влюбчивость въ попадавшія на глаза идеи и представленія“, которую Анненковъ приписываетъ молодежи Александровской эпохи: тутъ дѣло было проще: отголоски матеріалистическихъ ученій приходились на руку такимъ людямъ, какъ Развратинъ и Негодяевъ, да притомъ еще можно было и пощеголять либерализмомъ, прослыть подъ лестнымъ именемъ „вольнодумца“. Такой славой увлекались у насъ лица, бывшія и не Развратину чета: напримѣръ, Радищевъ ⁹¹⁾.

Вышелъ Евгеній изъ университета потому, что онъ, числясь въ полковомъ спискѣ третьимъ сержантомъ, могъ перваго января

того года получить чинъ прапорщика гвардіи, но однако подъ условіемъ явиться въ полкъ за нѣсколько мѣсяцевъ до производства. Родители снарядили его въ Петербургъ, дали ему съ собой десятокъ крѣпостныхъ слугъ и пять тысячъ рублей, „насколько ихъ ему станетъ“; чтобы не было скучно, къ свитѣ присоединили Развратина, и напутствовали такими совѣтами: „Береги свое здоровье; по праздничнымъ днямъ ходи на поклонъ къ своимъ командирамъ, чтобы они были до тебя милостивы“, говорилъ отецъ.—„Не скучай знатымъ дамамъ дѣлать *компанію* въ карточной игрѣ и въ *променадахъ*; выполняй всѣ ихъ *комиссіи*: черезъ это можешь получить себѣ счастье“,—совѣтовала мать.—„Не тотъ одинъ чины хватаетъ, кто надъ работою умираетъ“,—перебивалъ г. Негодяевъ свою супругу:—„ты не очень прилежи къ службѣ. Когда достанется идти въ караулъ въ сырую или холодную погоду, такъ можно за себя и нанять... Ружьемъ учиться тебѣ не совѣтую: ты малый молодой, нѣжнаго воспитанія—тебѣ вертѣтъ этакимъ чертомъ фунтовъ въ пятнадцать!... Да и зачѣмъ? Вѣдь ты не солдатскій сынъ. Пожалуй, не долго себя испортить“. Мать, въ свою очередь, перебивала отца: „На тебѣ, мой ангелъ, никто не можетъ взыскать, что ты не будешь знать военного артикула: ты служишь не изъ одного жалованья, какъ иные. Слава Богу, тебѣ есть что прожить. Чтобы блеснуть въ большомъ кругу, не жалѣй денегъ ни на экипажъ ни на платье; этого мало, чтобы перенимать у другихъ моды: старайся, чтобы ихъ у тебя перенимали“.

Евгеній наконецъ отправился. Дорогой онъ не желалъ скучать: пилъ пуншъ, „обращался“ съ женщинами, игралъ въ карты. Около Новгорода попался онъ въ руки шулеру и проигралъ ему 4000 р. „Въ великой задумчивости ходилъ онъ съ полчаса по избѣ взадъ и впередъ. Бѣдный юноша грызъ у себя ногти, не смотрѣлъ ни на кого, не говорилъ ни съ кѣмъ, даже съ самимъ Развратинымъ. Наконецъ прервалъ свое молчаніе, приказавши собирать на столъ. Сѣвши ужинать, отвѣдалъ, по просьбѣ своего друга, нѣкоторыя блюда, нашель, что они были очень дурно приготовлены, побросалъ ихъ всѣ на полъ и обѣщаясь клятвенно высѣчь на завтра невиннаго повара (своего крѣпостного). Послѣ ужина, на сонъ грядущій, влѣпилъ двѣ пощечины раздѣвавшему его камердинеру и заснулъ не очень скоро“. Изъ непріятнаго положенія выручилъ Развратинъ. Онъ сочинилъ письмо, изъ котораго родители Евгенія должны были узнать, что на одной изъ ночовокъ случился пожаръ, что сынъ ихъ былъ

въ великой опасности; что Развратинъ спасъ его, а деньги всѣ сгорѣли; что у Развратина были прикопленные 500 р., и онъ снабдилъ ими Евгенія. Все это была ложь: пожаръ во время дороги Евгеній дѣйствительно видѣлъ, но нисколько не былъ въ опасности и даже любовался имъ; денегъ Развратинъ ему тоже не давалъ. Но обманъ имѣлъ успѣхъ: отецъ Негодяева выслалъ пять тысячъ сыну и тысячу Развратину, частію въ возмѣщеніе мнимаго долга, частію въ награду за самоотверженное спасеніе друга. Молодой Негодяевъ былъ въ восторгѣ и говорилъ Развратину: „помогай мнѣ обманывать и впередъ хорошенько ба-
тюшку и матушку“. И Развратинъ усердно помогалъ.

Друзья наконецъ пріѣхали въ Петербургъ. Евгеній является въ полкъ и поступаетъ на дѣйствительную службу, которая однако отнимаетъ у него чрезвычайно ничтожное время, да и не-сетъ онъ ее спустя рукава. Главное его занятіе—свѣтскія раз-влеченія, карточная игра, „обращеніе“ съ женщинами. Онъ, какъ говорится, прожигаетъ жизнь—и кончаетъ тѣмъ, что проживаетъ въ пять лѣтъ все то, что отецъ его нажилъ въ пятьдесятъ, впа-
даетъ въ неоплатные долги, хочетъ поправить свои дѣла выгод-ною женитьбою, но, по просьбѣ заимодавцевъ, попадаетъ въ за-
ключеніе, заболѣваетъ горячкою и умираетъ на 24-мъ году своей безпутной жизни.

Изображая петербургскую жизнь Евгенія, авторъ вводитъ въ свой рассказъ очень много современныхъ ему типовъ и ри-суетъ не мало бытовыхъ картинъ. Укажемъ на типы Вѣтрова, Лицемѣркиной, Тысящникова и его супруги, Подлянкова, Мило-
взорова и его дочери.

„Вѣтровъ былъ надворный совѣтникъ и человѣкъ не моло-дыхъ лѣтъ, жившій уже давно со своею супругою и дѣтьми въ Петербургѣ за собственнымъ тяжёлымъ дѣломъ и за весело-
стями, которыми наслаждаются въ сей столицѣ. Онъ имѣлъ 400 крестьянъ, которые были очень зажиточны, пока ему не при-
надлежали, и 50,000 долгу. Проживалъ очень хорошо оброкъ, получаемый имъ съ деревень своихъ, и имѣлъ удовольствіе тще-
славиться тѣмъ, что годовой его расходъ превышаетъ доходъ болѣе, нежели вдвое“.

„Лицемѣркина была бездѣтная лѣтъ пятидесяти вдова и не-убогая помѣщица. Усердна къ Божьей церкви, учащала оную часто“, но, „должники ея сѣтовали на безсовѣстные проценты, кото-
рые она брала съ нихъ; крестьяне ея роптали на тяжелый оброкъ, ею на нихъ положенный; дворовые ея люди жаловались на малую

мѣсячину... Лицемѣрка носила обыкновенно платье темнаго цвѣта, а бѣлилась такъ неумѣренно, какъ чернозубая купчиха 3-й гильдіи“.

„Тысящниковъ, весьма богатый дворянинъ, прибылъ недавно въ Петербургъ со своею супругою, столь же надутою, какъ и онъ, деревенскою дворянкою. Ни съ оружіемъ, ни съ вѣсами правосудія не служа своему государству, онъ былъ добрый помѣщикъ“. Почему же?—Крестьяне, говоритъ авторъ иронически, „работали на него *только* въ недѣлю пять дней; въ воскресенье же онъ приказывалъ имъ ходить къ обѣднѣ и позволялъ забавляться вечеромъ пляскою, сколько угодно. «Грѣхъ великій,—говорилъ имъ баринъ,—работать въ праздникъ, а особливо на себя. Коли грѣшимъ не по принужденію, а по своей волѣ сами, сами и отвѣчать за грѣхъ будемъ». Крестьянки были также заняты трудами, какъ и крестьяне. Никто въ его владѣніяхъ не вкушалъ праздной пищи, кромѣ малыхъ ребятъ, свиней и его супруги. Г-жа Тысящникова, живши въ деревнѣ, вставала по городскому. Часовъ въ десять и позже возвѣщала она открытіе глазъ своихъ звономъ колокольчика. Прежде еще окончанія онаго вбѣгала изъ дѣвичей къ ней горничная ея дѣвушка. Поклонившись низехонько своей барынѣ, спрашивала ее съ подобострастіемъ: «Что изволите, сударыня, приказать?»—Ча... говорила госпожа, зѣвая и протирая глаза.—Проворная дѣвка мгновенно исчезала и въ ту же минуту являлась обратно, неся на подносѣ чашку чаю. Въ то время, какъ барыня приподымалась съ постели и садилась на оную, служанка наливала ей на блюдце чай, который она кушала съ разнообразными кривляньями“.

Если читатель потрудится прочесть дальнѣйшее описаніе г-жи Тысящниковой, оно, безъ сомнѣнія, напомнитъ ему многое въ романѣ Гончарова: „Обломовъ“.

„Часто случалось, что когда сія нянька готовилась вылить остальное количество изъ чашки на блюдечко, рука г. Тысящниковой дѣлала ей знакъ отверженія, голова ея упала на подушки, отъ коихъ недавно еще отдѣлилась, глаза смыкались. Минутъ черезъ пять отверзались они паки, и паки она принималась кушать китайскій напитокъ. Послѣ сего, не говоря ни слова, опускала она съ кровати изъ-подъ одеяла свою ногу, и чулокъ надѣвался на оную руками служанки; потомъ и другую. Наконецъ вставала она и надѣвала на себя юбку и шляфрокъ съ помощію горничной; умывшись же, обтирала полотенцемъ лицо свое уже безъ ея пособія, и, обратя потомъ оное къ шкафу, наполненному

иконами, дѣлала крестныя знаменія собственною своею десницею. Послѣ мольбы своей, продолжавшейся болѣе минуты, принимала отдохновеніе на стулѣ болѣе часа, въ которое время парикмахеръ чесалъ ея волосы, и она занималась разговорами или съ мужемъ, возвратившимся со скотнаго двора, или съ сосѣдками, прїѣзжавшими къ ней часто разгонять скуку, или съ кѣмъ, случалось. Причесавшись и одѣвшись совсѣмъ, г. Тысящникова шла изъ своей уборной въ столовую, гдѣ кушанье уже было готово. Вставши изъ-за обѣденнаго стола, садилась за ломберный и играла въ карты часу до седьмого. Она приняла въ свой домъ собесѣдницею одну женщину за то только, что умѣла играть въ вистъ и въ пикетъ, загадывать на картахъ и рассказывать множество всякихъ исторій. Накушавшись послѣ обѣда чаю, лѣтнею порою прохаживалась она по саду, по рощамъ, по лугамъ, или каталась по рѣкѣ въ небольшой шлюпкѣ вплоть до самаго ужина. Зимой же и тогда, когда не можно было прогуливаться, болѣе загадывала и играла въ карты, болѣе спала, болѣе разговаривала, заставляла часто дѣвокъ пѣть передъ собою пѣсни и сказывать ей національныя повѣсти... Вотъ какъ она проводила цѣлые дни, если не выѣзжала въ гости*.

„И чѣмъ же другимъ надлежало ей заниматься?“—спрашиваетъ авторъ.—„Воспитаніемъ ли малолѣтнихъ дѣтей своихъ? Оное препоручено было кормилицамъ, нянюшкамъ и мамушкамъ. Хозяйствомъ ли? Оное также возложено было на ея родственницу, бѣдную сиротку, которую отличала она отъ своихъ служительницъ, сажая съ собою за столъ. Читеніемъ ли? Она почти вовсе не умѣла читать“.

Въ Подлянковѣ есть черты, напоминающія и Молчалина и Загорѣцкаго.

„Подлянковъ былъ титулярный совѣтникъ, ходившій въ свое мѣсто, въ которомъ онъ служилъ, при окончаніи каждаго мѣсяца, а къ своимъ командирамъ—каждый праздникъ. Двадцать лѣтъ находился онъ въ службѣ, и двадцать уже лѣтъ зналъ собственнымъ своимъ опытомъ, что нѣкоторые начальники примѣчаютъ подчиненныхъ болѣе въ своей передней, нежели у должности во время часовъ присутствія. Не однимъ только своимъ начальникамъ, но и всѣмъ тѣмъ, которыхъ благосклонность могла ему быть полезна, оказывалъ онъ свое почтеніе, преданность и работѣ, хотя бы то былъ подлый придверникъ или камердинеръ его покровителя и милостивца (Такъ онъ именовалъ всѣхъ кумировъ, коимъ поклонялся). Будучи вхожъ во многіе дома, во мно-

гихъ изъ нихъ обѣдывалъ и ужинывалъ поочередно. Онъ глядѣлъ каждое утро въ календарь своего сочиненія—(тутъ невольно вспоминается и Фамусовъ),—въ который внесены были дни тезоименитства и рожденія знакомыхъ ему особъ, супругъ и дѣтей ихъ. Всѣ почти его у себя терпѣли, поелику онъ за свое насыщеніе сносилъ терпѣливо всякія ругательныя насмѣшки и былъ угрожающе до самой забавной подлости. Когда кто ронялъ нечаянно что-нибудь близъ его, онъ упadalъ мгновенно однимъ колѣномъ на полъ и поднималъ упавшую вещь съ удивительнымъ проворствомъ. Когда кто при немъ приказывалъ слугѣ что-нибудь себѣ принести, онъ предупреждалъ его въ исполненіи и, получа должную передъ лакеемъ похвалу, радовался несказанно. Хотѣлось ли кому достать чего,—надлежало о семъ лишь сказать г. Подлянкову: онъ тотчасъ съ радостію все найдетъ, все сыщетъ. Надобно ли кому купить лошадь, человѣка,—онъ купитъ, и еще хорошихъ. Надобно ли нанять карету, ложу, домъ,—онъ найметъ, и самыхъ удобныхъ. Надобно ли кому узнать внутреннее состояніе какого семейства, его тайны,—онъ откроетъ и самыя сокровенныя. Надобно ли кому человѣка, женщину,—онъ представитъ и отрекомендуетъ. Дай только ему на все сіе потребное количество денегъ. Третій уже годъ получаетъ онъ по сту рублей пенсіона отъ одного щедраго графа, которому рекомендовалъ онъ родную свою племянницу".—Портретъ г. Подлянкава: „Станъ его такъ же низокъ, какъ и душа. Кланялся чрезвычайно часто и низко, сдѣлался онъ сутуловатымъ. Малые свои и острые глаза потупляетъ долу, когда говорить съ кѣмъ, и временно возводитъ ихъ съ украдкою и съ подобострастіемъ на того, кого рѣчи слушаетъ со вниманіемъ крѣпостного слуги. Носъ у него длинноватый, краснѣющійся иногда отъ щелчковъ, даваемыхъ ему молодыми шалунами, любящими, по своему малоумію, хохотать надъ болью другого, отъ которой бы сами заплакали. Сія шутка и прочія сего рода не покрываютъ чела г. Подлянкава мракомъ досады и смущенія, но принуждаютъ его смѣяться вмѣстѣ со смѣющимися и ругающимися надъ нимъ. Истинная или притворная улыбка, не знаю, но мелькаетъ всегда на устахъ его, когда только разговоръ не слишкомъ важенъ. Голосъ его тихъ и мягокъ, какъ у безжалованнаго писаря въ ту минуту, въ которую онъ проситъ съ учтивостію у щедраго челобитчика себѣ на пропитаніе“.

Миловзоровъ, Назарій Антоновичъ, былъ шулеръ, принимавшій у себя гостей и обыгрывавшій ихъ. Онъ мастеръ былъ наживать деньги и разными другими безчестными средствами. Дочь его

была ему въ этихъ дѣлахъ помощницей. Вотъ, напримѣръ, что они продѣлали съ недальновиднымъ Евгеніемъ. Дочь Миловзорова, Любовь Назарьевна, притворилась страстно влюбленной въ Негодяева, который давно уже искалъ сближенія съ ней. Устроено было, при помощи горничной (Катерины), ночное свиданіе въ комнатѣ барышни. Но это была хитрая ловушка. „Только лишь было сталъ подносить Евгенийъ прекрасную ручку къ устамъ своимъ, чтобы ихъ прилѣпить къ оной, вдругъ явился, нечаянно въ сію комнату Назарій Антоновичъ съ обыкновенною своею улыбкою, съ большимъ пистолетомъ въ правой рукѣ и съ потаеннымъ фонаремъ въ лѣвой, въ шлафрокъ и колпакъ... Вскипѣвшая въ жилахъ Евгенія кровь застыла мгновенно при видѣ длиннаго пистолета, онъ сдѣлался блѣденъ, какъ воротникъ у его сорочки, и остался на колѣняхъ неподвиженъ и безмолвенъ, какъ преступникъ, ожидающій смертельнаго удара.—Ахъ, это вы, Евгенийъ Лукичъ! сказалъ ему г. Миловзоровъ, поклонившись, улыбнувшись и сдѣлавши приличный жестъ своимъ пистолетомъ.—Какимъ образомъ?... Да что вы изволите беспокоиться, стоять?... прошу покорно садиться... сядьте же, сдѣлайте милость, хоть вотъ тутъ у столика, на которомъ стоитъ чернильница.—Евгеній всталъ съ колѣнокъ на назначенный себѣ стулъ. Всѣ его члены тряслися отъ страха, какъ отъ сильной лихорадки. Г. Миловзоровъ сѣлъ возлѣ него къ столику, держа все пистолетъ свой въ рукѣ. Оба они нѣсколько минутъ хранили молчаніе. Назарій Антоновичъ, казалось, занимался важнымъ размышленіемъ; Евгеній же Лукичъ не спускалъ глазъ съ лица его и дрожалъ въ неизвѣстности непритворно. Наконецъ первый разверзъ уста свои.—Катерина!—сказалъ онъ, возвысивъ голосъ:—сыщи мнѣ, подай скорѣе того...—Чего, сударь, изволите приказывать?—спросила у него съ подобострастіемъ Катерина, вошедши немедленно изъ своей комнаты въ барышнину спальню.—Бумаги бѣлой, листъ, больше не надо.—Катерина сыскала въ минуту въ барышнининомъ комодѣ и подала ему листъ бѣлой бумаги. Улыбнувшись онъ тутъ и взглянувъ на Евгенія, сказалъ ему ласково: „я побезпокою васъ, Евгенийъ Лукичъ, моею просьбою потрудиться написать строкъ шесть или семь, не болѣе“. Евгеній, будучи готовъ написать шесть или семь страницъ, только чтобы симъ отъ него отдѣлаться, съ охотою согласился на его предложеніе.—Я вамъ буду диктовать,—говорилъ ему Назарій Антоновичъ.—Извольте-съ.—Сей моментъ. *Тысяча семьсотъ девяносто перваго года, генваря десятаго числа...*—Напишаль-съ.—Очень хорошо-съ... я, нижеименованный, занялъ у коллежскаго ассесора...—

У господина коллежскаго ассесора?—Хоть такъ-съ, все равно... *Назарья Антоновича Миловзорова десять тысячъ рублей...* Десять тысячъ извольте потрудиться написать не цифрами, а складомъ.— Слушаю-съ.— Написали? — Написалъ-съ. — Извольте-съ: *которыя по прошествіи одного мѣсяца долженъ я всѣ сполна съ указанными процентами, съ рубля по шести, отдать ему, Миловзорову, непременно.* — Г-ну Миловзорову? — Какъ угодно... *Во увѣреніе чего и подписуюсь. своеюручно...* Тутъ извольте теперь подписать свой чинъ, имя и фамилію. — Сію минуту-съ...—Что вы изволите трудиться засыпать: пожалуйста мнѣ, я самъ засыплю. — Назарій Антоновичъ, взявши изъ рукъ Евгенія написанныя имъ строчки, засыпалъ ихъ самъ, прочиталъ двукратно со вниманіемъ и, не находя тутъ никакихъ ошибокъ, кромѣ орфографическихъ, которыя Евгеній, какъ дворянинъ, всегда дѣлывалъ, спряталъ бумажку сію за пазуху и поблагодарилъ его съ учтивостію за его послушаніе и трудъ.—Извините меня,—сказалъ онъ ему,—что я такъ долго васъ задержалъ: вы, чай, давно уже хотите почивать; я васъ самъ провожу со свѣчою.—Евгеній взялъ свою шляпу и сдѣлалъ низкій поклонъ Назарью Антоновичу; Назарій Антоновичъ поклонился ему съ улыбкою и, положивши пистолетъ свой за пазуху, взялъ со стола свѣчу и проводилъ его съ нею до самаго крыльца. Тутъ спросилъ онъ у него, нѣтъ ли съ нимъ десяти тысячъ. Евгеній утвердилъ клятвою, что нѣтъ и что какъ только лишь скоро будутъ, то отдастъ ему тотчасъ же оныя съ благодарностію.—Я увѣренъ, Евгеній Лукичъ,—сказалъ г. Миловзоровъ,—что вы не допустите меня протестовать вашъ вексель, или писать объ вашемъ долгѣ къ вашимъ родителямъ.—Сказавши сіи слова, крикнулъ онъ дворника, велѣлъ ему проводить до воротъ Евгенія и, пожелавъ Евгенію покойной ночи, простился съ нимъ, зашелъ въ комнату къ своей дочери, расцѣловалъ ее и общалъ ей дать на наряды и на платье тысячу рублей, когда получить по векселю деньги“ ⁹²).

Извѣстно, что съ конца XVIII столѣтія стала у насъ развиваться мода на мелкія стихотворенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ появилась какая-то стихоманія: всѣ пустились писать стихи, даже и такіе люди, какъ Развратинъ. Измайловъ хотя и самъ былъ немалый стихоманъ, тѣмъ не менѣе осмѣивалъ эту современную ему страсть въ тѣхъ случаяхъ, когда она принадлежала лицу или бездарному, или унижавшему поэзію корыстными цѣлями. Поклѣдней сортъ стихослагателей онъ и вывелъ въ своемъ романѣ. „Лучшій родъ стихотворенія“—говоритъ выставленный имъ низ-

менный стихотворецъ—„есть похвальный. — Я пишу похвальныя оды, эпистолы, эпитафii, эпитаамы, мадригалы и всякіе поздравительныя стихи. — Развратинъ не могъ тутъ удержаться отъ смѣха. — Чему вы смѣетесь? спросилъ его важный стихотворецъ. — Вы говорите, что лучший родъ стихотворенія есть похвальный... — И конечно... Я вамъ докажу это сію же минуту. Эта табакерка, — говорилъ онъ, вынувъ изъ кармана золотую табакерку, — стоитъ полтора ста рублей; она подарена мнѣ богатымъ купцомъ за эпистолу, въ которой превознесъ я его добродѣтели и назвалъ своимъ меценатомъ... Нѣтъ нужды, что онъ человѣкъ не весьма честный и умный. — Потомъ, вынувъ также изъ кармана прекрасныя золотыя съ цѣпочкою часы, продолжалъ: — Эти часы стоятъ болѣе 200 руб. и получены мною за оду на день рожденія одного знатнаго господина. На рукѣ моей этотъ брилліантовый перстень знатоки цѣнятъ въ 500 рублей; мнѣ подарилъ его богатый заводчикъ, которому поднесъ я поздравительныя стихи на получение чина. Коротко вамъ сказать, все, что я ни получилъ, получилъ отъ стиховъ, и отъ стиховъ похвальныхъ“⁹³⁾.

Какъ позднѣе Грибоѣдовъ, такъ и Измайловъ, конечно, не въ такихъ художественныхъ картинахъ, какъ первый, даетъ читателю понять, до какой степени тогдашнее свѣтское общество было пусто и лишено всякихъ серьезныхъ интересовъ. Въ гостиныхъ собирались люди „различнаго пола, различнаго возраста, различнаго званія и различнаго дурачества... Мужчины между собою разговаривали наиболѣе объ самой первой для разговора матеріи, т.-е. объ настоящей погодѣ, недавнихъ происшествіяхъ при дворѣ и въ городѣ, объ пустякахъ, объ дуракахъ и о прочемъ; женщины же объ модныхъ убранствахъ, объ увеселеніяхъ, также о глупостяхъ и порокахъ, разумѣется, не о своихъ собственныхъ, но о чужихъ. Молодые щеголи мѣшались въ рѣчи дамъ, сообщали имъ новости, могущія быть достойнымъ ихъ вниманія, предлагали имъ свои замѣчанія, соглашались поспѣшно съ ихъ мнѣніями и наперерывъ сыпали словами, заключающими въ себѣ много ласкательства и мало смысла“⁹⁴⁾.

Относительно „ласкательства“ авторъ замѣчаетъ въ одномъ мѣстѣ, что оно „есть надежнѣйшее средство полюбоваться тварямъ самолюбивымъ до глупаго легковѣрія“⁹⁵⁾.

Указанія на грубое и жестокое обращеніе помѣщиковъ съ крѣпостными также нашли себѣ не мало мѣста въ разсматриваемомъ произведеніи. Вотъ образчикъ: посылая сыну деньги послѣ извѣстія о пожарѣ, г. Негодаевъ пишетъ, между прочимъ, слѣ-

дующее: „Петръ-то Евдокимовичъ (Развратинъ) вишь тебѣ чужь чужанинъ, а вытащилъ тебя изъ поल्या, пишешь ты, даромъ что опалилъ на себѣ волосы; свои же всѣ мошенники, которыхъ я отпустилъ съ тобою, и не хватились тебя, благо что сами выскочили изъ огня. Послушай, что я тебѣ прикажу: передери ихъ всѣхъ хорошенько, знаешь—по-моему; спусти имъ со спины до пять кожу: лучше будутъ служить своему барину и беречь его здоровье. Если жъ ты ихъ высѣкъ уже прежде, такъ нѣтъ нужды: высѣки ихъ въ другой разъ; то за себя, а то за меня“ ⁹⁶).

Выходки противъ невѣжества дворянъ, непониманія ими своего долга и разныхъ другихъ темныхъ сторонъ ихъ—встрѣчаются у Измайлова безпрестанно. Вотъ одна изъ нихъ: Евгенийъ, послѣ своего неудачнаго посѣщенія дѣвицы Миловзоровой, почувствовалъ себя нехорошо и рѣшился пустить себѣ кровь.—„Умѣешь ли ты пускать кровь?“—спрашиваетъ онъ приглашеннаго цирульника. Тотъ отвѣчаетъ: „Вѣдь, сударь, только между одними чиновными и благородными людьми есть такіе, которые не знаютъ своей должности, а не между нашей братьи, подлецовъ“ ⁹⁷).

Иногда авторъ романа является моралистомъ. Такъ, напримеръ, по поводу изображенныхъ имъ кокетокъ, и притомъ — не безупречной нравственности, онъ восклицаетъ: „Женщины, женщины! которыя жалуется на то, что любовники ваши становятся къ вамъ непочтительны, зачѣмъ не стараетесь вы вселить въ нихъ почтеніе прежде еще, нежели вселите въ нихъ любовь? Вселить же къ себѣ почтеніе въ мужчину, каковъ бы онъ ни былъ, однимъ своимъ убранствомъ женщинѣ, право, невозможно“ ⁹⁸).

Типъ матери-кокетки (матери-кукушки, по изображенію Крылова) тоже есть у Измайлова: онъ выведенъ въ лицѣ г-жи Вѣтровой. Кормилица входитъ въ комнату съ ребенкомъ.—„Зачѣмъ ты, дура, принесла ко мнѣ этого плаксу?“—говоритъ ей Вѣтрова. „Слушай, не приноси его ко мнѣ впередъ, когда я тебѣ не прикажу, а то ты съ нимъ повадилась беспокоить меня каждое утро... пошла же вонъ!“—И, обращаясь къ Евгению, прибавляетъ: „Не повѣрите вы, какъ досадно имѣть дѣтей, а особливо маленькихъ... Если бъ не дѣти, не такъ бы я казалась старою“ ⁹⁹).

Заключая въ себѣ широкую картину современныхъ автору нравовъ, романъ Измайлова замѣчателенъ еще и тѣмъ, что въ общемъ ходѣ развитія нашей литературы онъ является звеномъ, соединяющимъ Екатерининское время съ послѣдующимъ. Съ одной стороны онъ есть какъ бы продолженіе сатирической литературы Екатерининскаго періода, и въ изображенныхъ въ немъ лицахъ мы

узнаемъ отчасти черты, принадлежавшія Ханжахиной, Чудихиной, Простаковымъ, Иванушкѣ и многимъ другимъ литературнымъ типамъ той эпохи; встрѣчаемъ письма родителей Евгенія къ сыну, очень напоминающія помѣщавшіяся въ „Живописцѣ“ Новикова письма къ Оалалею; встрѣчаемъ даже рассказъ о торговцѣ фруктами, который никакъ не можетъ получить денегъ отъ задолжавшаго ему дворянина, и рассказъ объ употребленіи произведеній печати на *папильоты* ¹⁰⁰⁾, т.-е. встрѣчаемъ такіе же рассказы, какіе есть и въ „Быляхъ и небылицахъ“ императрицы Екатерины; наконецъ чувствуемъ ту же грубоватость, шероховатость оболочки романа, какая была и у сатирическихъ произведеній Екатерининскаго времени. Но съ другой стороны — передъ нами довольно значительнаго объема *реальный* романъ, т.-е. такая литературная форма, которая въ послѣдствіи съ такимъ успѣхомъ обрабатывалась нашими поэтами-художниками, и въ этомъ романѣ мы встрѣчаемъ типы, въ изображеніи которыхъ Измайловъ является предшественникомъ позднѣйшихъ нашихъ писателей. Такимъ образомъ между Измайловымъ и этими писателями устанавливается извѣстная историческая связь.

Въ „Русской Старинѣ“ 1900 г. помѣщена большая статья объ Измайловѣ ¹⁰¹⁾. Авторъ ея, Кубасовъ, излагая подробно біографію этого писателя и затѣмъ очерчивая литературную его дѣятельность, говоритъ между прочимъ и о романѣ: „Евгеній“. „Романъ этотъ, повѣствующій о жизни и приключеніяхъ одного изъ представителей тогдашней дворянской *jeunesse dorée*“, — пишетъ Кубасовъ, — „далъ возможность молодому автору выказать замѣчательную наблюдательность. Въ небольшомъ сравнительно произведеніи *) онъ успѣлъ широко охватить мрачныя стороны современнаго ему провинціальнаго и городского дворянства, правда, заходя въ своихъ изображеніяхъ порой за границы требуемой отъ печатнаго произведенія благопристойности. Какъ бы то ни было, но романъ этотъ, какъ рядъ яркихъ бытовыхъ картинъ, объединенныхъ симпатичной идеей — показать пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія, доставилъ автору нѣкоторую извѣстность“ ¹⁰²⁾. Далѣе Кубасовъ замѣчаетъ:

„Роману Измайлова историкъ литературы долженъ отвести если не важное, то во всякомъ случаѣ далеко не второстепенное мѣсто въ ряду нашихъ первыхъ по времени романовъ уже потому, что «Евгеній» одинъ изъ первыхъ, или, лучше сказать, пер-

*) Однако въ триста съ лишнимъ страницъ, болѣе убористыхъ, нежели страницы Смирдинскихъ изданій.

вый русскій реальный романъ, ибо ни въ одномъ изъ русскихъ романовъ до Измайлова мы не встрѣчаемъ такого реального изображенія нашего быта, какъ въ романѣ «Евгеній». Картины, составленныя Измайловымъ, реальны и—надо отдать ему справедливость—фотографически точны: раскройте мемуары того времени, приподнимите сатирическій покровъ съ листовъ русскихъ сатирическихъ журналовъ конца прошлаго столѣтія—и передъ вами мелькнутъ портреты русскихъ людей, такъ поразительно схожіе съ портретами, даваемыми Измайловымъ. Отмѣтимъ при этомъ, что молодой авторъ затрогивалъ въ своемъ романѣ одинъ изъ жгучихъ вопросовъ того времени—воспитаніе и, показывая обществу похожденія Евгенія, имѣлъ весьма серьезную и хорошую идею¹⁰³).

Но далѣе цитируемый авторъ, переходя къ указанію слабыхъ сторонъ романа Измайлова, выражаетъ свою мысль не совсѣмъ ясно и какъ бы противорѣчить себѣ: раньше (въ іюньской кн.) онъ призналъ картины Измайлова „объединенными“ симпатичной идеей“, а затѣмъ (въ августовской кн.) говоритъ, что читатель „не видитъ той объединяющей идеи, которая охватывала бы все произведеніе“¹⁰⁴). Дѣлаемое критикомъ сравненіе романа Измайлова съ „Мертвыми душами“ Гоголя также не отличается ясностью. Намъ кажется, что авторъ статьи хотѣлъ сказать слѣдующее. Изображая своихъ героевъ, Измайловъ остается вѣренъ дѣйствительности, но съ ограниченіемъ: всѣ тѣ пороки, которые описываетъ романистъ, были въ обществѣ; но все же люди, ими отличавшіеся, были люди, и былъ въ нихъ хоть какой-нибудь проблескъ Божьей искры. Между тѣмъ Измайловъ изображаетъ своихъ героевъ исключительно погрязшими въ порокахъ—и герои его потому возбуждаютъ только презрѣніе. Не то у Гоголя: „въ каждомъ героѣ его не трудно усмотрѣть *всѣ* чело-вѣческія движенія, и потому-то всѣ они возбуждаютъ къ себѣ глубокое сочувствіе въ душѣ читателя, у котораго найдется чувство жалости и состраданья даже и при взглядѣ на Плюшкина, эту «прорѣху на челоуѣчествѣ»“. Короче говоря, Измайловъ отлично умѣлъ изображать пороки челоуѣка, но не умѣлъ изображать самого челоуѣка: онъ не былъ хорошимъ психологомъ. Въ этомъ-то и заключается слабая сторона его романа¹⁰⁵). Да и трудно было не быть этой сторонѣ: авторъ былъ еще очень молодъ.

Осьмнадцати, не больше, лѣтъ

Урода этого я произвелъ на свѣтъ —

говорилъ онъ впослѣдствіи, опредѣляя время созданія своего романа.

Во времена Измайлова у насъ была распространена занесенная къ намъ изъ Франціи мода и на восточныя сказки и повѣсти. Этой модѣ заплатилъ дань и Дмитріевъ своими „Воздушными башнями“ и В. Пушкинъ своимъ „Кабудомъ“. Ей заплатилъ дань и Измайловъ, написавъ двѣ повѣсти: „Ибрагимъ и Османъ“ и „Наставленіе стараго индійскаго мудреца молодому государю“. Первая изъ нихъ остается главнымъ образомъ въ сферѣ общей морали и проводить ту идею, что безъ труда и добраго сердца нѣтъ счастья. Наставленіе: „трудись, дѣлай добро—и будешь счастливъ“ авторъ повѣсти повторяетъ нѣсколько разъ. Но и въ этой повѣсти уже ясно видно желаніе автора коснуться specialнаго вопроса—вопроса о правящей власти. Реформы молодого императора побудили изображать идеаль правящей власти не одного Карамзина, но и другихъ писателей. Въ числѣ ихъ былъ и Измайловъ. Идеаль государя изображенъ имъ въ лицѣ Гаруна-Альрашида, о которомъ онъ говоритъ слѣдующее:

„Калифъ Гарунъ-Альрашидъ былъ мудрый и добрый государь. Подданные почитали и любили его. Да и какъ не почитать, какъ не любить такого государя, который дѣлаетъ все для пользы и славы своего народа! Онъ распространилъ просвѣщеніе въ своемъ государствѣ; умножилъ челоѣколюбивыя заведенія; уменьшилъ налоги и умножилъ государственные доходы, ободряя земледѣліе, промышленность и торговлю; устроилъ наилучшимъ образомъ войско, которое употреблялъ не для завоеванія чужихъ областей, но для защиты своего народа и союзниковъ; болѣе же всего подданные любили его за то, что онъ установилъ повсюду между ними строжайшее правосудіе. Кто былъ угнетаемъ властью сильнаго и тщетно искалъ въ судахъ для себя справедливости, тотъ находилъ наконецъ оную у престола калифа: ибо калифъ позволялъ въ такомъ случаѣ приносить себѣ жалобы не только письменно, но и словесно. Онъ выслушивалъ благосклонно даже послѣдняго ремесленника и поселянина, разыскивалъ самъ дѣло; и если открывалось, что принесшій ему жалобу дѣйствительно былъ притѣсненъ, то наказывалъ виновныхъ примѣрнымъ образомъ. Ложные доноски и безразсудные просители, которые дерзали беспокоить калифа и похищать у него драгоцѣнное время, получали также каждый соразмѣрное съ своимъ преступленіемъ наказаніе. Всѣ знали, что калифъ былъ правосуденъ, и опасались дѣлать неправосудіе; всѣ знали, что калифъ, при величайшемъ хладнокровіи, имѣлъ чрезвычайную проницательность,—и опасались дѣлать ему неосновательные доносы. Съ начала вступленія

его на престолъ, когда онъ объявилъ, что будетъ принимать лично отъ всѣхъ жалобы, стали являться къ нему многочисленныя толпы людей разнаго состоянія. Дѣйствительно, много тогда между ними было утѣсненныхъ, но гораздо еще болѣе того клеветниковъ и безразсудныхъ, которые требовали, чтобы самое маловажное дѣло, въ противность установленнаго порядка, рѣшено было въ ихъ пользу однимъ словомъ или начертаніемъ руки калифа. Послѣ однако того, когда калифъ сдѣлалъ вездѣ судьями людей свѣдущихъ и испытанной честности; когда судьи незнающіе и безпечные лишены были своихъ мѣстъ, а корыстолюбивые получили позорное наказаніе; когда опредѣлено было ясно, въ какомъ точно случаѣ должно приносить лично жалобу калифу, то число просителей чрезвычайно уменьшилось; цѣлыя недѣли, а иногда и мѣсяцы не являлись просители къ калифу. Впрочемъ всякій, кто имѣлъ до него необходимую надобность, могъ свободно говорить съ нимъ во всякое время и во всякомъ мѣстѣ“.

Вторая восточная повѣсть Измайлова есть уже очевидное обращеніе къ государю, лишь замаскированное восточной обстановкой. Такъ смотритъ на нее и Кубасовъ и видитъ въ ней „желаніе автора преподать молодому монарху нѣсколько полезныхъ совѣтовъ по части отношенія къ своимъ подданнымъ“ ¹⁰⁸).

„О государь!“—говоритъ въ повѣсти старшій индійскій мудрецъ: — „судьба сдѣлала тебя властелиномъ многочисленнаго и славнаго народа; но природа была къ тебѣ еще гораздо щедрѣе. Она дала тебѣ счастливыя способности, доброе сердце, обширный и здравый умъ. О государь! употреби во благо дары, данныя тебѣ природою, употреби во благо и мои наставленія“.

„Никто не имѣетъ столь много способовъ дѣлать добро, какъ государь. Простой гражданинъ не можетъ иногда во всю жизнь свою принести столько пользы, сколько государь въ одинъ часъ, въ одно мгновеніе. Итакъ, имѣй всегда единственною цѣлью, единымъ предметомъ—благо народа, вѣреннаго твоему управленію. Береги время болѣе всѣхъ сокровищъ: время для государей неоцѣненно“.

„Безъ труда не вкушаютъ никогда прямого удовольствія; безъ труда человѣкъ бываетъ ниже всякаго животнаго; безъ труда нельзя пріобрѣсти славы и безсмертія. Но труды заслуживаютъ уваженія по мѣрѣ происходящей отъ нихъ пользы. Занимайся, государь, одними великими дѣлами, т.-е. пользою своего народа,—и ты будешь великимъ государемъ“.

„Сладострастіе, роскошь и нѣга должны занимать только слабыя и низкія души. Великій человѣкъ ищетъ не чувственныхъ удовольствій, но нравственныхъ. Чѣмъ болѣе встрѣчаетъ онъ препятствій въ благородныхъ своихъ намѣреніяхъ и подвигахъ, тѣмъ болѣе пріобрѣтаетъ себѣ славы. О государы! ты служишь здѣсь, на землѣ, изображеніемъ Верховнаго Существа: уподобляйся же Ему, сколько можешь, и старайся не имѣть слабостей, унижающихъ человѣчество“.

„Бремя правленія слишкомъ тяжело для одного государя, ибо онъ человѣкъ. Но тягость сію могутъ тебѣ облегчить многіе изъ твоихъ подданныхъ. Ищи съ разборчивостью достойныхъ людей, и ты, вѣрно, ихъ найдешь. Давай мѣста и должности по способностямъ и достоинствамъ; а не по роду и другимъ случайнымъ преимуществамъ. Всякое мѣсто будетъ тогда занимаемо съ похвалою; всякая должность будетъ исправляема съ желаемымъ успѣхомъ“...

„Награждая заслуги и добродѣтели, наказывая преступленія и пороки. Въ семь-то состоитъ прямой долгъ государя... Правосудіе есть отличительное свойство мудраго правителя“.

„Будь другомъ просвѣщенія. Ободряй науки, художества и самыя ремесла. Никакое государство не можетъ быть совершенно счастливо безъ просвѣщенія; а просвѣщеніе, такъ какъ и промышленность, безъ ободренія не могутъ быть въ цвѣтущемъ состояніи“.

„Будь благодѣтелемъ своихъ подданныхъ, будь отцомъ и утѣшителемъ несчастныхъ. Вдовы и сироты суть твои дѣти. Твоя рука должна стереть ихъ слезы, твоя рука должна дать имъ пищу и доставить убѣжище. Употребляй сокровища свои не на суетное великолѣпіе и пышность, но на пользу своихъ подданныхъ. Поощряй трудолюбіе, доставляй способы всякому снискивать себѣ пропитаніе—и въ твоёмъ государствѣ не будетъ тунеядцевъ и нищихъ“.

„Щади кровь и даже самый потъ своихъ подданныхъ. Не обременяй ихъ излишними налогами и не начинай никогда войны безъ необходимой нужды. Заставь трепетать своихъ сосѣдей твоего оружія, но и увѣрь народъ свой, что кровь его и спокойствіе для тебя драгоцѣнны“.

„Я увѣренъ, что сіи мои наставленія не возбуждять твоего гнѣва. Мудрый не пренебрегаетъ ничѣмъ совѣтами, но разсматриваетъ оныя и слѣдуетъ имъ, когда чувствуетъ ихъ пользу“.

„Позволяй всѣмъ говорить себѣ правду. Слушай ее и загради слухъ твой лести. Лесть погубила много государей; но любовь къ истинѣ многимъ изъ нихъ доставила безсмертіе“.

Здѣсь кстати упомянуть о соперникѣ Измайлова въ восточныхъ повѣстяхъ—Бенитцкомъ, который былъ одаренъ значительнымъ литературнымъ талантомъ и писалъ художественнѣе и лучшимъ языкомъ, нежели Измайловъ.

Александръ Петровичъ Бенитцкій (1780—1809), воспитанникъ пансіона Шадена, прослуживъ нѣкоторое время въ арміи, служилъ потомъ при Комиссіи составленія законовъ. Какъ литераторъ, онъ славился главнымъ образомъ, какъ хорошій повѣствователь: рассказъ его отличается живостью, остроуміемъ и чистымъ, пріятнымъ языкомъ. Изъ восточныхъ повѣстей его наиболѣе извѣстны: „Бедуинъ“ и „На другой день“. Первая и теперь еще не забыта: она помѣщена въ третьей части „Русской хрестоматіи“ Н. Покровскаго. Содержаніе ея заключается въ сопоставленіи двухъ лицъ: турка Османа и бедуина. Первый надмененъ, хвастливъ и презираетъ бедуина, какъ челоуѣка, принадлежащаго къ народу, который, по словамъ Османа, „не что иное, какъ шайка разбойниковъ“. Турки же,—говорилъ онъ,—„издавна славятся по всему Востоку храбростью, добродушіемъ и милосердіемъ“. Между тѣмъ на дѣлѣ оказывается, что эти три качества и есть у бедуина; Османъ же обнаруживаетъ трусость, жестокость и мстительность. Выводъ изъ повѣсти выраженъ словами бедуина: „Замѣть себѣ, Османъ, что вездѣ есть добродѣтельные люди, вездѣ есть и злые“.

Гораздо значительнѣе по содержанію повѣсть, или, какъ она названа авторомъ, индѣйская сказка: „На другой день“, напечатанная въ журналѣ: „Цвѣтникъ“ 1809 г., № 1. Завязка ея романическая, но въ развязкѣ затрогивается серьезный общественный вопросъ.

Нарудъ, багарскій набабъ, влюбляется въ дочь воина—Ониду. Долго разбирается браминомъ и факиромъ вопросъ о томъ, „что должно дѣлать въ такомъ случаѣ, когда набabu понравится красавица“. Браминъ въ рѣшеніи вопроса руководится своими корыстными цѣлями, факиръ—аскетической философіей.—Неудовлетворенный набабъ посылаетъ вопросъ свой въ бенаресскій университетъ, но и отъ него не добивается толку; не разрѣшилъ его и знаменитый врачъ Рааръ, „кого слава гремѣла на сорока трехъ кладбищахъ“. Въ рассказъ объ этомъ разрѣшеніи вопроса внесено авторомъ много неподдѣльнаго юмора. Кончилось дѣло

наконецъ тѣмъ, что набабъ рѣшился послѣдовать одному внушенію сердца — и отправился объяснить съ своей красавицей.

— Онида, прекрасная Онида! что долженъ сдѣлать человѣкъ, который ищетъ любви твоей? что долженъ сдѣлать я, дабы снискать взаимную любовь Ониды?—спрашиваетъ набабъ у дѣвушки.

— Подвергнуться испытанію,—отвѣчаетъ ему та.

— Испытаніе мое, государь, начну я *на другой день*.

Долго приходилъ Нарудъ къ Онидѣ, и она все говорила ему, что испытывать его будетъ *на другой день*.

Наконецъ начинается главная часть повѣсти. Потерявшій терпѣніе набабъ является къ Онидѣ, и между ними происходитъ такой разговоръ:

— Умоляю тебя не упоминать болѣе ненавистнаго слова: *на другой день*; оно безконечно какъ вѣчность, мучительно какъ адъ; ахъ, или мало еще терпѣлъ я отъ него?

„Вѣрно менѣе, нежели я и несчастный отецъ мой!“.

— Менѣе? несчастный?—ты плачешь? менѣе?

„Увы, мы много, слишкомъ много потерпѣли отъ сего ужаснаго слова!“

— Правосудный Бримгъ, что я слышу? объяснись, прекрасная; заклинаю тебя, объяснись!

„Буду откровенна передъ моимъ государемъ; не утаю ничего, ибо надѣюсь оказать услугу ему и всѣмъ его подданнымъ; надѣюсь, что, открывъ злоупотребленіе приближенныхъ его, закрою раны страждущаго человѣчества“.

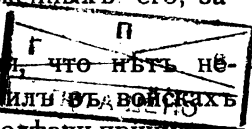
„О Нарудъ, Нарудъ! ты заблуждался, думалъ, что нѣтъ несчастныхъ въ твоемъ владѣніи! Отецъ мой служилъ ~~въ войскахъ~~ твоего родителя пятьдесятъ лѣтъ; старость и болѣзни принудили его покинуть знамена твои черезъ годъ по восшествіи твоёмъ на престолъ. Заслуги позволяли ему надѣяться получить награду, опредѣленную законами; но исполнители законовъ предали забвенію долговременную его службу и славные подвиги; они извѣстны были одному покойному государю“.

— Имя отца твоего?

„Беккиръ“.

— ... Онида, ты несправедлива: подвиги Беккировы и мнѣ извѣстны; но я никогда не видалъ его въ моихъ чертогахъ.

„Ибо доступъ подданному къ тебѣ труднѣе, нежели грѣшнику къ вратамъ рая“.



— И я слышу объ этомъ въ первый разъ? и найры (дворяне) не стыдятся прославлять мое милосердіе?

„Отецъ мой прибѣгнулъ къ твоему намѣстнику“.

— Къ моему другу, Онида, къ моему истинному другу.

„Твой другъ и намѣстникъ отказалъ ему“.

— Отказалъ!

„Но до отказа своего приказывалъ, просилъ приходить *на другой день* цѣлый годъ, межъ тѣмъ какъ мы часто не имѣли на другой день пропитанія“.

Далѣе набабъ узнаетъ, что другое лицо, которое тоже могло помочь Беккиру, приказывало приходить ему *на другой день* ровно полтора года—и наконецъ отказало ему въ просьбѣ совершенно.

Возмутилось благородное сердце набаба; онъ наказалъ виновныхъ, торжественно объявилъ Ониду своей невѣстой, и въ его правленіе больше „не было употребляемо слово: *на другой день*“. Но по смерти его хитрые брамины придумали другое слово, которое значить точь-въ-точь то же, что и то, которое перестали употреблять при Нарудѣ. Слово это—*завтра* ¹⁰⁷⁾.

Басни и сказки Измайлова.

Ихъ предметъ, рѣзкій тонъ автора и благородное его намѣреніе.—Вопросъ объ ихъ самостоятельности, о принадлежности ихъ къ извѣстному виду, о захватываемомъ ими кругѣ людей. — Цинизмъ изображенія въ нихъ.—Впечатлѣніе, производимое ими на читателя.—Образная характеристика баснописца.

Въ романѣ: „Евгеній“ уже опредѣлилось направленіе литературной дѣятельности Измайлова: его талантъ состоялъ главнѣйшимъ образомъ въ изображеніи темныхъ сторонъ современнаго ему общества, и онъ, слѣдуя внушенію своего таланта, и посвятилъ самую значительную часть своихъ произведеній именно изображенію современныхъ недостатковъ и пороковъ. Почувствовавъ, что романъ—форма, которая не совсѣмъ-то ему далась, онъ занялся баснями — и въ послѣдствіи считалъ ихъ лучшими своими твореніями. Какъ въ романѣ, такъ и въ басняхъ онъ прежде всего является обличителемъ. Обличителемъ остается онъ и въ тѣхъ небольшихъ пьескахъ, которыя въ изданіи его сочиненій названы „сказками“.

Между баснями и сказками Измайлова есть не мало такихъ, которыя касаются современнаго ему чиновничьяго міра. Такъ, напримѣръ, одна изъ нихъ осмѣиваетъ тогдашній судъ и обри-

совываетъ положеніе тяжущихся. Басня эта названа: „Устрица и двое прохожихъ“. Два пріятеля, гуляя по морскому берегу, нашли устрицу—и заспорили, кому изъ нихъ воспользоваться ею.

Еще у нихъ продоллся бъ споръ,
Когда бъ не подоспѣлъ судья къ нимъ *Миротворъ*.
Онъ началъ съ важностью, по формѣ, судъ допросомъ,
Взялъ устрицу, открылъ—
И проглотилъ.

„Ну, слушайте—скажать—теперь опредѣленье:
По раковинѣ вамъ дается во владѣнье;
Ступайте съ миромъ по домамъ“.

Въ заключеніи авторъ говоритъ:

Всѣ тяжбы выгодны лишь стряпчимъ да судьямъ.

Еще рѣзче осмѣявъ старинный судъ въ баснѣ: „Скотское правосудіе“, которую авторъ и начинаетъ и заканчиваетъ выраженіемъ своего негодованія.

*Не бойся, говорятъ, суда,
А бойся вотъ судьи. И то бѣда:
Какъ секретарь доложить,
Такъ и судья плохой положить.
Напорютъ цѣлую тетрадь,
Пропишутъ, спутають, завяжутъ—
И грамотному не понять,
А настоящего и главнаго не скажутъ.*

Далѣе слѣдуетъ самая басня.

Левъ сдѣлалъ приставомъ собаку при овцахъ.
Волкамъ собака—страхъ.
Одинъ изъ нихъ хотѣлъ ягненкомъ поживиться.
Схватилъ его ѣ въ лѣсъ понесъ;
Но нагналъ вора вѣрный песъ,
И долженъ былъ волкъ ужина лишиться
Да клокомъ шерсти поплатиться.
Волкъ съ жалобой въ судъ идетъ
(Оселъ тамъ былъ судья, а секретарь—лисица,
Докладывать большая мастерица),
Гусенка на поклонъ секретарю несетъ.
Докладъ лисица подаетъ:
Отъ слова до слова прошеніе прописала,
Законы подвела,
Но объ ягненкѣ не сказала.
И какъ сказать? она при дѣлѣ не была.
И вотъ, безъ всякихъ справокъ
И безъ очныхъ, какъ должно, ставокъ,

Послѣдоваль журналъ, что, „въ силу скотскихъ правъ,
За оскорбленіе волчьей чести
И вырваньемъ съ азартомъ шерсти,
Взыскать съ собаки должно штрафъ,
Безчестье и увѣчье;
А стадо все овечье
Пріятелю *на время* поручить.
Собаку же отъ мѣста удалить,
Для соблюденія пользы львиной“.

Заканчивается басня такъ:

Что дѣлаетъ докладъ лисы и судъ ослиный,
Особенно вдали, въ глуши!
По дудкѣ ихъ тамъ и яляши.

Очень хороша, по живости изображенія и правдивости передачи, сказка: „Приказные синонимы“, гдѣ рѣчь идетъ о взяткахъ.

Какой-то человѣкъ имѣлъ въ приказѣ дѣло.
Онъ правъ былъ и богатъ; итакъ, взявъ денегъ, смѣло
Къ секретарю ранехонько идетъ,
Челомъ ему, а самъ мошонку вынимаетъ,
И передъ нимъ на столъ крестовики кладетъ.
Тотъ, бросивши перо, просителя сажаетъ,
Но съ денегъ самъ не сводитъ глазъ.
„Вчерашняго числа въ приказъ
Я подалъ, батюшка, прошенье...“
— Читалъ его, ты правъ! все знаю!— „А рѣшенье
Когда послѣдуетъ? осмѣлюся спросить“.
— Да стоитъ только *доложить*...
А тамъ и въ городъ свой ты можешь убираться,
Чѣмъ здѣсь напрасно проживаться!—
„Счастливо жъ оставаться!“
Проситель черезъ день пришелъ опять въ приказъ.
„Что жъ, батюшка, указъ
По дѣлу моему? Когда бъ сегодня можно...“
— Вѣдь я сказалъ тебѣ, что *доложить* мнѣ должно.—
Проситель принужденъ былъ съ мѣсяцъ тутъ прожить
И слышалъ то жъ да то: *лишь только доложить*.
Не зналъ, что дѣлать, челобитчикъ;
Но сжалился надъ нимъ повѣтчикъ.
„Ну, полно, не тужи“,
Шепнулъ онъ такъ ему: „всю правду мнѣ скажи:
Чтѣ далъ секретарю?—Да двадцать пять цѣлковыхъ.—
„Ну, такъ десяточекъ еще ты доложи,
Да мнѣ пять рубликовъ. Учи васъ, безтолковыхъ!
Не смыслите, что *доложить*
Все то же, что и *приложить*“.

Фунтъ чаю взять еще съ тебя за объясненье!"

Истецъ исполнилъ все тотчасъ,

И на другой же день какъ-разъ

Поспѣлъ экстрактъ, опредѣленье—

И выдали ему указъ.

Это тонкое обращеніе секретаря съ истцомъ напоминаетъ позднѣйшія судейскія тонкости, которыя описываетъ Гоголь въ XI-й главѣ „Мертвыхъ душъ“, когда изображаетъ Чичикова, какъ чиновника, принимающаго просителя ¹⁰⁸).

Подобное же взиманіе взятокъ изображено и въ сказкѣ: „Такъ, да не такъ“, гдѣ выставленъ „воевода“, который „безъ взятокъ дня пробыть не могъ“.

Однажды поутру пришелъ къ нему пріятель,

Питейныхъ сборовъ содержатель,

И говоритъ: „Изъ Питера сейчасъ

Я получилъ письмо; мнѣ пишутъ, что въ правленье

Къ вамъ съ той же почтою отправится указъ

Сената, чтобы мнѣ отдать за долгъ имѣнье

Корнета Тройкина. Вотъ дѣлай одолженіе!

Наличныхъ у меня взялъ тысячу шестьдесятъ,

А за имѣніе дадутъ ли пятьдесятъ!...

Но самъ я виноватъ; введите во владѣнье“.

— Не можно, братецъ, сдѣлать *такъ*.—

„Какъ?

Сенатъ велѣлъ, такъ сдѣлать должно“.

— Конечно, только *такъ* не можно.—

„Помилуйте, сенатъ...“

— Все знаю, братъ!

Пускай велѣлъ сенатъ отдать тебѣ имѣнье:

Мы по сенатскому указу исполненіе

Сегодня жъ сдѣлаемъ,—однако, все не *такъ*...

„Ахъ, извините! Ну, какой же я дуракъ!

Забылъ вамъ доложить: ко мнѣ вчера прислали

Изъ Оренбурга двѣ прекраснѣйшія шали;

Изъ нихъ одну...“

— Да обѣ ужъ пришли: я подарю женѣ,

Другую дочери.—Проситель поклонился,

И съ шалими чрезъ пять минутъ назадъ явился.

Послѣ этого указъ о вводѣ во владѣнье былъ написанъ тотчасъ же. Сказка оканчивается слѣдующими двумя стихами:

Вотъ воевода мой хоть глупъ, но не дуракъ:

Онъ ничего не дѣлалъ *такъ*.

Есть у Измайлова и крайне грубые, циническіе типы взяточниковъ, „не имѣющихъ стыда“: они берутъ и съ просителя, бе-

ругъ и съ его соперника—и рѣшаютъ дѣло въ пользу того, кто больше далъ. Таковъ, на примѣръ, совѣтникъ, выведенный въ сказкѣ: „Карета и лошади“: проситель подарилъ ему карету, а его соперникъ—четверку лошадей. Лошади оказались дороже кареты, и подарившій ихъ выигралъ дѣло. Характеристика этого совѣтника, а вмѣстѣ съ тѣмъ—и тогдашняго суда, такова:

... совѣтникъ былъ дѣлецъ,
Великій взяточникъ, невѣжда и законникъ:
Указъ прибравши на указъ,
Оправитъ всякаго за денежки какъ-разъ.
Когда напишетъ самъ экстрактъ, опредѣленье,
Хоть юрисконсультамъ отдай на разсмотрѣнье:
Въ законахъ пропуска, ей Богу, не найдутъ,
А дѣла не поймутъ:
Такъ спутаетъ, такъ свяжетъ,
И бѣлымъ наконецъ вамъ черное покажетъ.
Кто больше дастъ ему, тотъ у него и правъ.

Маленькая пьеска: „Фонарь“, напоминающая „Сычей“ Вас. Пушкина, пытается указать и причину темныхъ явленій въ тогдашнемъ судейскомъ мірѣ.

Поставили на улицѣ фонарь—
И уняли ночного вора.
Плутъ секретарь
Остерегается прямого прокурора.
То ль дѣло воровать въ потьмахъ!
То ль дѣло командиръ, который не читаетъ,
Не смыслить ничего въ дѣлахъ,
А подписью своей бумаги утверждаетъ!
Хвала отъ всѣхъ воровъ, воришекъ—темнотѣ,
Невѣжеству и глупой добротѣ.

Невѣжество было, конечно, главной причиной зла; но развиваться злу способствовало и самое устройство тогдашнихъ нашихъ судовъ.

Казнокрадство также не миновало сатиры Измайлова. Въ сказкѣ: „Смѣтливый экономъ“ представленъ чиновникъ, получающій въ годъ 396 рублей жалованья, а между тѣмъ онъ „въ пять-шесть лѣтъ себѣ построилъ домъ, по крайней мѣрѣ, тысячъ во сто“. Характеристика казнокрада написана въ видѣ разговора между нимъ и авторомъ.

„А что, Климъ Сидорычъ“, я у него спросилъ:
„Воруешь ты? Скажи всю правду-матку,
Скажи пожалуйста“.—На что тебѣ? Ха! ха!
Самъ знаешь, кто же безъ грѣха? —

„А много ль въ годъ?“—Ну, тысячъ до десятку,

А можетъ быть — и слишкомъ два. —

„Вотъ ты купилъ теперь дрова...

Почемъ?“—По десяти, и то едва-едва

Знакомый уступилъ: зато дрова какія!

Осины нѣтъ, все березнякъ!—

„Какую жъ цѣну въ счетъ поставишь ты? Двѣнадцать?“

— Избави, Господи! да что я за дуракъ! —

„Неужели тринадцать?“

— Смѣшенъ ты, право, мнѣ!—„Четырнадцать? Пятнадцать?“

— Да, какъ тебѣ не такъ!

По десяти купилъ, по десяти поставлю;

Знай, никогда въ цѣнѣ полушки не прибавлю.

Но сажень сотъ пятокъ я у себя оставлю.

Басни и сказки Измайлова вообще очень богаты современностью: какъ въ романѣ его, такъ и въ этихъ маленькихъ произведеніяхъ можно найти не мало современныхъ автору типовъ, конечно—типовъ отрицательныхъ, которые и любилъ изображать Измайловъ. Вотъ, напримѣръ, хорошій портретъ спесивой городской барыни, изъ тѣхъ, которыхъ дѣйствительно можно было называть „дворянками-буянками“, какъ и назвалъ ее авторъ въ заглавіи своей сказки.

Одна изъ городскихъ и самыхъ важныхъ дамъ,

По долгу христіанки

Вошедши въ Божій храмъ,

Плыветъ, поднявши носъ, какъ гордая дворянки,

Которыя крестьянъ, мѣщанъ

Едва ли чтутъ за христіанъ;

Жеманится, пытитъ. Лакей большой предъ нею.

Но въ церкви тѣснота—прохода не даютъ.

„Что ты зѣваешь, плутъ?“

Кричитъ она лакею:

„Не можешь растолкать, уродъ,

Приказныхъ этихъ модницъ,

Чепечницъ и купчихъ платочницъ?

Пусти меня впередъ!“

И барыня моя—нѣтъ, барышня, дѣвица,

Рванулася впередъ, какъ лвыца.

Съ отважностью лихого мясника,

Который съ братіей своей изъ кабака

По площади бѣжитъ рвать голову съ быка,

Идетъ она и всѣхъ толкаетъ подъ бока

На обѣ стороны локтями,

Ступаетъ съ форсу каблуками

На ноги секретаршъ смиренныхъ и купчихъ,

Да и ворчитъ еще на нихъ.

Вотъ вдругъ впередъ взглянула:

Стоить смиренхонько тутъ барышня одна,
Одѣта за просто и молится она.
Злодѣйка такъ ее толкнула,
Что та упала на амвонъ.—
Раздался вопль и стонъ.
Діаконъ оглянулся —
И содрогнулся.
Но чѣмъ же кончилось? — Она остановилась,
Не извинилась,
И Богу съ важностью дворянской помолилась;
Потомъ же на уборы дамъ
Глядѣла и косилась.

Разсказавъ сказку, авторъ изливаетъ свое негодованіе слѣдующимъ образомъ:

О стыдъ! о срамъ!
И это сдѣлала дворянка и дѣвица?
Проклятая срамница!
Будь я архіерей
Или хоть протоіерей,
То, право бѣ, проучилъ злодѣйку:
На паперти бѣ ее поставилъ у дверей,
Вздѣвъ ожерелье ей желѣзное на шейку *).
Сошлось бы множество народа поглядѣть.
Дай, Господи, ей вѣкъ весь въ дѣвкахъ просидѣть!

Деспотическое отношеніе къ крѣпостнымъ слугамъ обрисовано въ сказкѣ: „Капризъ госпожи“.

„Послушай, маменька, мой другъ“,
Супругъ говорилъ супругъ:
„Ванюшка давича мнѣ въ ноги повалился...“
— Что, вѣрно, пьянъ вчера напился?
Ну, папенька, прости для праздника его. —
„Нѣтъ, маменька, не то: онъ, знаешь ли, влюбился“.
— Влюбился! а въ кого?
„Да въ горничную Катерину:
Охотою идетъ Катюша за него“.
— Велю я положить женитьбу имъ на спину! —
„Ты шутишь?“ — Никогда я съ вами не шучу!
Жените ихъ, а я ужъ на своемъ поставлю:
Въ деревню ихъ отправлю
И тамъ свиней пасти заставлю.
Вотъ вздумали женить слугу!
Да я, сударь, терпѣть женатыхъ не могу.

*) Въ старину надѣвали въ церквахъ желѣзные ошейники на тѣхъ, которые дѣлали тамъ какое-либо безчиніе. Ошейники сіи прикованы были цѣпью къ стѣнамъ. (Примѣч. изъ изданія 1891 года).

Сказка эта напоминает то мѣсто въ комедіи императрицы Екатерины: „О время!“, гдѣ г-жа Ханжакина, разсерженная просьбой слуги позволить ему жениться, „велѣла его высѣчь и положить женитьбу ту на спинѣ“.

Въ сказкѣ: „Обманчивая наружность“ представленъ интересный типъ помѣщика, интересный по сочетанію въ немъ такихъ чертъ, какъ любовь къ роскоши, хлѣбосольство, самодурство, расточительность и—ростовщичество. Жилъ онъ въ своей подмосковной, гдѣ имѣлъ огромный домъ, паркъ, оранжереи, звѣринецъ, свой оркестръ, своихъ актеровъ, актрисъ, пѣвицъ и танцовщицъ—изъ крѣпостныхъ; держалъ трехъ французовъ и двѣ сотни собакъ; имѣлъ 5000 душъ и—милліонъ долгу; „къ своимъ собакамъ звалъ сосѣдскихъ *по билетамъ*; рожденіе праздновалъ любимыхъ лошадей“, и при всемъ томъ—давалъ деньги подъ залогъ.

Случалось иногда—бралъ туфли онъ въ закладъ,
Халатъ, кушакъ, иль шапку, или миску.

Иной типъ ростовщика указанъ въ сказкѣ: „Собака и воръ“. Этотъ былъ

Обманщикъ, . . . скупецъ,
Ну, настоящій жидъ, а впрочемъ христіанинъ:
Посты онъ свято наблюдалъ,
Заутрени не пропускалъ,
И по полушкѣ въ день на рубль процентовъ бралъ.

Тутъ кстати упомянуть и о сказкѣ: „Совѣсть разбойника“, гдѣ Измайловъ, выводя, подобно Загоскину (въ „Юриі Милославскомъ“), разбойника, который боится не соблюдать поста, а людей убиваетъ съ хладнокровнымъ сердцемъ, заканчиваетъ свой рассказъ замѣчаніемъ:

И не разбойники за грѣхъ большой считаютъ
Въ постъ оскормиться, обѣдню прогулять,
А ближняго оклеветать,
Имѣніе и съ нимъ нерѣдко жизнь отнять —
Въ достоинство еще и въ честь себѣ вмѣняютъ.

Сатира Измайлова коснулась и пьянства. Лучшимъ произведеніемъ его на эту тему можно считать сказку: „Пьяница“, герой которой взятъ не изъ простонародья, а изъ чиновничьей среды: это—нашъ *квартирный* старинныхъ временъ.

Пьянюшкинъ, отставной квартирный,
Совѣтникъ титулярный,
Исправно насандаливъ носъ,

Въ худой шинелишкѣ, зимой, въ большой морозъ,
 По улицѣ шель утромъ и шатался.
 На встрѣчу кумъ ему, майоръ Петровъ, попался.
 „Мое почтеніе!“— А! здравствуй, Емельянъ
 Архиповичъ! да ты, братъ, видно,
 Уже позавтракалъ! Ну, какъ тебѣ не стыдно?
 Еще обѣденъ нѣтъ, а ты, какъ стелька, пьянъ!—
 „Ахъ, виноватъ, мой благодѣтель!
 Вѣдь съ *горя*, мой отецъ!“—Такъ съ горя-то и пить?—
 „Да какъ же быть?
 Вотъ Богъ вамъ, Алексѣй Ивановичъ, свидѣтель:
 Ъсть нечего; всѣ дѣти босикомъ;
 Жену оставилъ я съ однимъ лишь пятакомъ.
 Гдѣ взять? Давно уже безъ мѣста я, несчастный!
 Сгубилъ меня разбойникъ приставъ частный!
 Я до отставки не пивалъ:
 Спросите, скажетъ весь кварталъ“.

Сжалился надъ Пьянюшкинымъ майоръ Петровъ и далъ ему
 „полсотенки рублей“.—„Вотъ крестникамъ снеси!“

Летить Пьянюшкинъ нашъ,—отколъ взялися ноги,—
 И чуть-чуть не упалъ разъ пять среди дороги.
 Летить... домой?—О, нѣтъ!—Неужели въ кабакъ?
 Да, какъ бы вамъ не такъ!
 Въ трактиръ, а не въ кабакъ, зашелъ; чтобы промѣна
 Съ бумажки бѣленькой напрасно не платить,
 Спросилъ ветчинки тамъ и хрѣна,
 Немножко такъ перехватить,
 Да рюмку водочки, потомъ бутылку пива,
 А послѣ пуншику стаканъ,
 Другой . . . и наконецъ—о диво!—
 Пьянюшкинъ напился уже мертвецки пьянъ;
 Къ несчастію, еще въ трактирѣ онъ подрался,
 А съ кѣмъ, за что—и самъ того не зналъ;
 На лѣстницѣ споткнулся и упалъ,
 И весь, какъ чертъ, въ грязи, въ крови перемарался.
 Вотъ вечеромъ его по улицѣ ведутъ
 Два воина осанки важной,
 Съ сѣкирами, въ бронѣ сермяжной.
 Толпа кругомъ. И кумъ, гдѣ ни возьмися тутъ,
 Увидѣлъ, изумился,
 Пожалъ плечами и спросилъ:
 —Что? вѣрно, съ *горя* ты, бѣднякъ, опять напился?—
 „За здравіе твое *отъ радости* я пилъ!“

Подмѣчалъ иногда Измайловъ недостатки и въ крестьянской
 средѣ. Въ этомъ отношеніи замѣчательна басня: „Крестьянинъ и
 кляча“: въ ней, кромѣ очень типичнаго изображенія глупаго кре-

стьянина, не умѣвшаго поберечь своей лошади, есть еще нѣсколь-
ко стиховъ, которыми авторъ заступился за животныхъ.

„Ну, матушка!.. о дьяволъ! стала!“ —
Филать такъ клячѣ говорилъ
Въ лѣсу, гдѣ дровъ онъ пропасть нарубилъ
И возъ престрашный навалилъ:—
„И съ мѣста не сошла еще, уже устала!
Дворянка!.. я тебѣ вотъ дамъ!“
При словѣ семь схватилъ Филать мой хворостину,
И ею ну возить онъ бѣдную скотину
И по спинѣ и по бокамъ.
Упала кляча на колѣни,
Какъ будто милости хотѣла симъ просить;
Филать неумолимъ, терпѣть не можетъ лѣни,
И продолжаетъ бить.
Приподнялась она тутъ, нѣхотя на ноги
И кой-какъ потащила возъ.
„Пошла! пошла! легко: смотри, какой морозъ!“
Но кляча стала вдругъ опять среди дороги,
И далѣе нейдетъ.
Опять Филать ее съ плеча дубиной бьетъ.
Упала бѣдная — и уже не встаетъ,
Не тронется, не шевелится.
Филать, примѣтя то, дивится—
Посмотрить: кляча умерла!
Какъ взвостъ мой мужикъ: „Одна лишь и была
Лошадушка — и та вотъ пала!
Пропала голова моя теперь, пропала!
Чѣмъ прогнѣвилъ тебя, о Господи, Филать?“
А самъ, бездѣльникъ, виновать.

Конецъ басни такой:

Ужъ нечего сказать, крестьяне
Какъ мучать бѣдныхъ лошадей!
Не хуже, право, чѣмъ людей
Въ какой-нибудь глуши дворяне.

Современностью отличаются и тѣ басни и сказки Измайло-
ва, въ которыхъ онъ нападаетъ на стихотворцевъ. Мы уже упо-
минали, что во время Измайлова развилась у насъ стихоманія.
Онъ, самъ будучи большимъ любителемъ писать стихи и слагать
ихъ при всякомъ удобномъ случаѣ, тѣмъ не менѣе осмѣивалъ
бездарныхъ стихослагателей и такихъ риемачей, которые зло-
употребляли своими стихами, имѣя въ виду корыстную цѣль. Без-
дарность стихотворца осмѣяна Измайловымъ, напримѣръ, въ бас-

нѣ: „Гора въ родахъ“. Приведа извѣстный разсказъ о томъ, какъ гора родила мышонка, авторъ говоритъ:

Но это старая, всѣ знаютъ, побасенка;
А вотъ я былъ скажу: одинъ поэтъ писалъ
• Не день, не два, а цѣлый мѣсяцъ сряду,
Чернилъ себя, крестилъ, мараль;
Потомъ, друзей созвавъ, предъ ними прочиталь...
Шараду.

Съ другой стороны и плодовитость не всегда есть признакъ дарованія. На плодовитыхъ, но бездарныхъ борзописцевъ сложена Измайловымъ басня: „Львица и свинья“. Похвалялась свинья тѣмъ, что она можетъ приносить вдругъ цѣлую дюжину дѣтей, между тѣмъ какъ львица родить только одного дѣтеныша, да и то не каждый годъ. Но львица дала ей понять, что она родить льва, а свинья—поросятъ. Въ заключеніи басни авторъ замѣчаетъ:

Георгики писалъ Виргилій девять лѣтъ;
А право, въ девять дней у нашего Вралева
Поэма можетъ быть готова.
Зато Вралевъ—риемачъ, Виргилій же—поэтъ.

Въ баснѣ: „Яшка-поваръ“ Измайловъ замѣтилъ, что поспѣшность можетъ быть вредна и при даровитости писателя. Яшка былъ малый смышленный,

И то, надъ чѣмъ иной потѣетъ
Обыкновенно цѣлый часъ,
Въ минуту у него поспѣетъ.

Зато онъ то пересолить, то пересушить. Такъ и

Иной писатель поспѣшитъ,
Да всѣхъ и насмѣшитъ.

Изображеніе стихомановъ Измайловъ доводилъ иногда до степени карикатуры. Такимъ является оно въ его сказкѣ: „Встрѣча двухъ подругъ“. Впрочемъ, „не смотря на утрировку представленія, перешедшаго границы правдоподобія“,—говоритъ Галаховъ,—„разсказъ любопытенъ, потому что изъ него можно видѣть, до чего доходила нѣкогда метроманія“¹⁰⁹). Двѣ дамы, бывшія подруги, встрѣтились въ гостиномъ дворѣ. У одной мужъ богатъ, скупъ и ревнивъ, а у другой—„и старъ и глупъ, и къ этому же—стихотворецъ“. Онъ своими стихами уморилъ уже двухъ женъ и не даетъ покою третьей. Не успѣли подруги разговариваться, какъ уже подходитъ къ нимъ злодѣй-стихотворецъ,

а также и мужъ-ревнивецъ, совѣтникъ Проваловъ, и авторъ дѣла ведетъ свой разсказъ такъ:

—А у меня посланье есть!
 (Вскричалъ, къ нимъ подошедши,
 Риемачъ сѣдой и сумасшедшій).
 Анюта, знаешь ли? тебѣ я написалъ
 Прелестный мадригалъ.
 Послушай . . . — „Батюшка! да постыдись народу
 И дай съ знакомыми ты мнѣ поговорить“.
 — А смѣю васъ, сударь, спросить,
 Читали ли вы оду
 На погребеніе Прибыткина купца?
 У Холмогорскаго пѣвца,
 Ей Богу, нѣтъ такой! Войдемте въ эту лавку;
 Я оду вамъ прочту, да притчей пять въ прибавку. —
 Сказаль и за воротъ совѣтника схватилъ;
 А тотъ хоть изумился,
 Но за руку жену съ собою потащилъ.
 Народъ предъ лавкою столпился,
 И по гостиному двору прохода нѣтъ.
 Бессовѣстный поэтъ,
 Что силы есть, стихи читаетъ,
 Жена напрасно унимаетъ,
 Купецъ изъ лавки выгоняетъ,
 Сидѣлецъ головой качаетъ—
 Онъ ничего не примѣчаетъ,
 А все читаетъ да читаетъ,
 И отъ себя ревнивца не пускаетъ.
 Тотъ все молчалъ, молчалъ;
 Но напоследокъ закричалъ:
 Ой, караулъ!—и побѣжалъ.
 Риемачъ за нимъ—кричитъ: *держи, держите!*
 Я притчей не читалъ еще, а вы бѣжите!
 И оба скрылися изъ глазъ.
 „Ну, матушка, такихъ проказъ
 (Прасковья Марковна сказала),
 Признаться, я не ожидала.
 Мой Петръ Кондратьевичъ ревнивъ,
 Взыскателенъ, сварливъ:
 Но все сносите, чѣмъ вашъ мучитель“.

Достается стихотворцамъ и во многихъ другихъ басняхъ и сказкахъ Измайлова, а вмѣстѣ съ ними и прочимъ плохимъ писателямъ, каковы, на примѣръ, дурные переводчики классиковъ (б. „Кукушка“), завистливые критики (б. „Павлинь, два гуся и нырокъ“). Въ первой изъ нихъ представлена кукушка, увѣряющая всѣхъ птицъ, что она научилась пѣть точнехонько, какъ со-

ловей. Птицы выражаютъ желаніе послушать ее. Кукушка, усѣвшись на верхній сукъ, начала твердить свое „куку, куку, куку!“ Авторъ прибавляетъ къ баснѣ:

Кукушка хвастуна на память мнѣ приводитъ,
Который классиковъ-поэтовъ переводитъ.

Во второй баснѣ разсказывается о томъ, какъ въ то время, когда всѣ птицы любовались хвостомъ павлина, два гуся, сидя въ лужѣ, осуждали его ноги и голосъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія на его красивый хвостъ. Нырокъ имъ сказалъ:

Я съ вами, господа, согласенъ:
Въ ногахъ и въ голосъ одинъ у васъ порокъ;
Но у павлина хвостъ прекрасенъ“.

Заключеніе басни такое:

Ахъ, сколько и у насъ есть критиковъ такихъ,
Которые талантъ отличный ненавидятъ
За то, что нѣтъ его у нихъ,
И съ радостью въ другомъ свой недостатокъ видятъ.

Когда шла борьба между послѣдователями Карамзина и славянофилами, Измайловъ былъ на сторонѣ реформы, и въ 1811 году написалъ сатиру на Шишкова въ формѣ басни: „Шутъ въ парикѣ“.

Однажды въ маскарадѣ
Явился старый шутъ въ неслыханномъ нарядѣ:
Съ хрустальной запонкой и воротомъ косымъ;
Изъ ткани пестрая на немъ была срачица,
Да съ гульфикомъ большимъ
Атласна черна исподница.
Съ нагнутыхъ плечъ его висѣлъ
Запачканный тулупъ, но настоящій русскій;
На головѣ же онъ имѣлъ
Распудренный парикъ французскій.
За старымъ шуткомъ вслѣдъ шелъ молодой чудакъ,
Въ престранномъ тоже одѣяньѣ:
Въ какомъ-то шахматномъ, смѣшномъ полукафтанѣ,
И съ колокольчикомъ торчалъ на немъ колпакъ.
Лишь въ залу чучелы вступили,
Никто не могъ свести съ нихъ глазъ.
Старикъ, пожавъ плечыи, воскликнулъ: „Вижу азъ,
Коликой степени достигли развращенья!
О! . . . но воздержимся еще отъ удивленья!
О буйно скопище безумцевъ и невѣждъ!
И мужескъ полъ и женскъ совлекся тѣхъ одеждъ,
Которыя дѣдовъ и бабокъ украшали.

Почто французскія вы моды переняли?
 Воззрите на меня, на юношу сего,
 Такъ иноземнаго не найдешь ничего.
 Все русское на насъ, изящно все и лѣпо;
 Мы любимъ старое, и вы любите слѣпо. . .“

Тутъ нѣкто старика прервалъ
 И вѣжливо ему сказалъ:
За что встѣхъ, дѣдушка, поносишь?
Ты самъ парикъ французскій носишь.
 О, если бы кто видѣлъ тутъ,
 Какъ разозлился старый шутъ!

Сначала у него языкъ прильпе гортани;
 Потомъ ужъ кое-какъ собрался съ силой онъ,
 И полился изъ устъ его источникъ брани.
Безбожникъ! закричалъ: измѣнникъ, франмасонъ!
Сжечь надобно его: на вѣру нападаетъ!
 Что жъ это былъ за шутъ—никто не отгадаетъ.

Сатирическія басни и сказки Измайлова вообще отличаются рѣзкостью; но она доходила до бранчивости, когда авторъ изображалъ вопіющія отступленія отъ добра и истины. Тогда обозвать секретаря-плута „подлецомъ“, прижимистаго кулака — „мерзавцемъ“—Измайловъ нисколько не стѣснялся. Тонъ этотъ, конечно, грубый; но онъ, какъ говоритъ Галаховъ, „былъ слѣдствіемъ благороднаго негодованія“. „Никто“—продолжаетъ критикъ—„не могъ осудить автора за рѣзкость словъ, зная, что она происходитъ отъ любви къ честности и благородству, отъ нелюбви къ безчестію и низости. Измайловъ былъ человѣкъ добрый и не былъ въ силахъ удерживать свое сочувствіе къ добру. Онъ всегда выражалъ его... какъ выражалъ?—это вопросъ другого рода. Выраженія разнятся по тону и цвѣту, но благородное намѣреніе остается благороднымъ намѣреніемъ“¹¹⁰).

Зато рѣзкое слово давало иногда Измайлову возможность высказаться чрезвычайно выразительно. Такъ, напримѣръ, рассказавъ о помѣщикѣ Власѣ Перфильевичѣ, который не умѣлъ между своими плутами-приказчиками отличить честнаго, оскорбилъ его и даже обошелся съ нимъ хуже, чѣмъ съ кравшими у него, авторъ заканчиваетъ свою сказку („Помѣщикъ и управители“) такъ:

Каковъ Перфильевичъ?... *Повѣсилъ бы его!*

Затѣмъ у Измайлова есть много такихъ басенъ и сказокъ, гдѣ онъ изображаетъ болѣе или менѣе общіе типы порочныхъ людей; таковы напр. тѣ пьески, въ которыхъ онъ выводитъ скуп-

цовъ, лицемѣровъ, людей надменныхъ, людей безтолковыхъ и т. п. Эти произведенія тоже сатирическаго характера и тоже отличаются подчасъ большою рѣзкостью. Вотъ, напримѣръ, басня: „Собака на сѣнѣ“.

Собака на сѣнѣ лежитъ
И къ сѣну не пускаетъ,
Отъ злости вся дрожитъ
И лаеъ:
 Не дамъ, не дамъ,
 Не дамъ я вамъ, ворамъ!
 Не дамъ, не дамъ!
Къ собакѣ злой, проклятой
Ни добрый конь ни волъ рогатый,
Не только что смиренная овца,
Не смѣютъ подойти рвануть клочокъ сѣнца.
А между тѣмъ козель, смердящій, бородастый,
Съ надменной важностью стоитъ
Съ двумя козами
Передъ ея глазами,
Блеютъ, кряхтятъ,
И сѣно взапуски ѣдятъ.
— Да что жъ собака-то? Ужель она не видитъ?
— Нѣтъ, видитъ; но козла съ козами не обидитъ;
Они хоть сѣно и ѣдятъ,
Да говорятъ:
 „Вотъ песь, какого не бывало:
 Какъ много лаеъ! какъ спитъ мало!
 Собакамъ всѣмъ честь и краса!
Ахъ, надобно ему дать золотой ошейникъ!“
— Нѣтъ, этотъ песь—мошенникъ!
 Дубиной бы такого пса
 Или каменьемъ, для примѣра,
 Какъ шельму-лицемѣра;
 А объ козла, объ козъ
Не худо бъ изломать пука три добрыхъ лозъ.

Осмѣиваетъ Измайловъ и женскіе типы: жены упрямые, невѣрныя, лукавыя выведены имъ въ сказкахъ: „Утопленица“, „Снѣжный ребенокъ“ и „Отчаяніе матери“.

Басни и сказки Измайлова не всѣ самостоятельны: Галаховъ насчитываетъ у него до 60 заимствованныхъ пьесокъ—изъ Эзопа, Лафонтена, Флоріана, Баратона, Виже, Ламотта, Лессинга, Геллерта и др. Есть подражанія и русскимъ баснописцамъ: Хемницеру, Дмитріеву и въ особенности Крылову, въ подражаніе ко-

тому написаны басни: „Филинъ и чижъ“, „Два кота“, „Роза и репейникъ“, „Макарьевнина уха“, „Блины“, „Лгунъ“, „Пѣвчіе“, „Завѣтное пиво“ ¹¹¹). Тѣмъ не менѣе у Измайлова много и оригинальныхъ басенъ и сказокъ, и лучшія изъ нихъ принадлежатъ именно къ оригинальнымъ.

Галаховъ относитъ басни Измайлова главнымъ образомъ къ разряду дидактическихъ. Дѣйствительно, у него есть нѣсколько басенъ, написанныхъ исключительно съ цѣлю поучить. Таковы, напримѣръ, басни: „Два пѣтуха“, „Козель и лисица“, „Коть и крысы“, „Левъ и лисица“, проповѣдующія мораль: „безъ осторожности опасенъ и успѣхъ“; „предвидѣть надобно во всѣхъ дѣлахъ конецъ“; „шутя, да только осторожно: не то въ бѣду попасться можно“; „съ умомъ и отъ бѣды спасешься иногда“. Вѣрно также и то, что Измайловъ любилъ поучать и, какъ говоритъ Галаховъ, чрезвычайно заботился о нравоученіи, прибавлялъ его даже и тогда, когда оно „уже ясно обнаружено самымъ разсказомъ“ ¹¹²). Но все это, по нашему мнѣнію, нисколько не мѣшаетъ Измайлову оставаться главнымъ образомъ баснописцемъ-сатирикомъ. Да и самъ Галаховъ, перейдя отъ теоретической части своей статьи къ разсмотрѣнію самыхъ басенъ, безпрестанно отмѣчаетъ ихъ, какъ сатиру—то на лицо, то на какой-либо болѣе или менѣе общій порокъ или недостатокъ.

Впрочемъ новѣйшая критика не придаетъ большой важности такимъ чисто теоретическимъ вопросамъ, какъ вопросъ о видѣ басни. Кубасовъ, напримѣръ, говоритъ: „главное достоинство басни заключается въ ея *національности*; басня прежде всего должна быть вѣрнымъ выраженіемъ національности, не взирая на то, развита ли въ ней въ достаточной мѣрѣ фабула, поставлено ли въ началѣ или въ концѣ нѣсколько строкъ морали, или же послѣдняя вытекаетъ непосредственно изъ басни и т. п. Второе требованіе отъ басни—*современность*“ ¹¹³).

То обстоятельство, что Галаховъ долго останавливается на вопросѣ о томъ, къ какому виду отнести басни Измайлова, тѣмъ страннѣе, что въ другомъ теоретическомъ вопросѣ—въ вопросѣ о раздѣленіи басенъ Измайлова на собственно басни и сказки,—онъ видитъ лишь одинъ педантизмъ. Онъ замѣчаетъ: „кажется, Измайловъ называлъ не баснями все то, гдѣ главное дѣйствіе производится людьми, а не животными. Основаніе педантическое, рѣшительно бесполезное какъ для сущности басеннаго разсказа, такъ и для его литературнаго достоинства. Крыловъ, который былъ всего меньше педантъ, откинулъ систематическія раздѣленія

и подраздѣленія своихъ геніальныхъ произведеній. У него басня— просто образцовая басня—и больше ничего“ 114).

Мы вполне раздѣляемъ этотъ взглядъ Галахова, и если при томъ или другомъ произведеніи Измайлова удерживали кличку то басни, то сказки, такъ это единственно лишь для удобства читателя, на тотъ случай, если онъ захотѣлъ бы отыскать произведение въ собраніи сочиненій этого автора, такъ какъ дѣленіе на басни и сказки осталось даже и въ изданіи 1891 года.

Но если главное достоинство басни—національность и современность, то въ такомъ достоинствѣ баснямъ Измайлова отказать нельзя: въ нихъ есть много и національнаго и современнаго, или, какъ выразился Галаховъ, въ нихъ есть „*современная національность*“. Да не быть она и не могла, потому что авторъ бралъ сюжеты изъ *современной* ему *русской* жизни. Теперь остается еще вопросъ: какой кругъ общества занималъ Измайловъ?—Галаховъ сказалъ, а Кубасовъ за нимъ повторилъ, будто Измайловъ изображаетъ преимущественно „низкій, простонародный кругъ нашей жизни“. 115).

Но мы думаемъ, что даже и ограничивающее слово „преимущественно“ (у Галахова; а у Кубасова: „обыкновенно“) не дѣлаетъ замѣчаніе справедливымъ: Измайловъ очень часто выводитъ и чиновниковъ, да не только однихъ квартальныхъ, но и судей и воеводъ; выводитъ помѣщиковъ, и при томъ такихъ, которые умѣли наживать миллионъ долгу; выводитъ спесивыхъ дворянокъ-буянокъ. Все это лица, не принадлежащія къ простонародью. А его стихотворцы, переводчики классиковъ, критики? А эта бабушка, которая, забывъ свою молодость, журить внучку за танцы и говорить:

Охъ, этотъ вальсъ
Погубить васъ!
Жаль, право: нѣтъ закона,
Чтобы не танцовать на балахъ қотильона!
А вашъ проклятый rot rougi
Лукавый побери!
Чуть не стрѣлялися изъ-за него въ Твери.

Развѣ это лица изъ простонародья? Не къ низкому, простонародному классу относятся, безъ сомнѣнія, и герои пьески: „Несчастный любовникъ“ — княжна Бѣлянкина и офицеръ Султановъ; не изъ простого народа и дуэлисты, осмѣянные въ баснѣ „Поединокъ“. Вѣрнѣе, слѣдовательно, сказать, что басни Измайлова касаются весьма различныхъ слоевъ русскаго общества.

Но, повторяя слова Галахова, Кубасовъ прибавилъ къ нимъ еще слѣдующее: „Сфера предметовъ, которыхъ обыкновенно касался Измайловъ, *низменная* порода людей“. Вотъ съ этимъ опредѣленіемъ нельзя не согласиться: дѣйствительно, Измайловъ любилъ изображать не *низкій* кругъ людей по сословію, а *низменный* по нравственному уровню. И на изображеніе „низменной породы людей“ онъ не жалѣлъ красокъ, и часто до того, что вносилъ въ это изображеніе цинизмъ. Такъ, напримѣръ, не будь въ баснѣ, или, какъ назвалъ ее авторъ, въ сказкѣ: „Пьяница“ тѣхъ строкъ, въ которыхъ говорится, что герой въ трактирѣ подрался, упалъ на лѣстницѣ и „весь, какъ чертъ, въ грязи, въ крови перемарался“,—личность квартальнаго Пьянюшкина не отталкивала бы читателя и внушала бы къ себѣ прежде всего сожалѣніе. Но указанная прибавка красокъ сдѣлала его образъ циничнымъ и внушаетъ читателю значительную степень отвращенія къ герою разсказа. Галаховъ говоритъ, что *цинизмъ изображенія* есть та черта, которая отличаетъ Измайлова отъ другихъ баснописцевъ ¹¹⁶).

Цинизмъ изображенія и вообще грубоватость басенъ Измайлова могутъ, конечно, не нравиться читателю; но онъ, какъ замѣтилъ Кубасовъ, „безъ сомнѣнія, обратитъ вниманіе на тотъ симпатичный образъ самого автора, который просвѣчиваетъ сквозь немного грязноватую оболочку его твореній. Являясь въ своихъ басняхъ не простымъ разсказчикомъ того, что происходитъ между его героями, но принимая участіе въ описываемыхъ событіяхъ, Измайловъ, по свойственной ему откровенности, не можетъ не подѣлиться съ читателями своими чувствами и мнѣніями. Выраженія ихъ—выраженія простодушныя, иногда комичныя, но всегда вполне искренни“ ¹¹⁷).

Многія басни Измайлова по-своему очень недурны, но при сравненіи съ Крыловскими онѣ выдѣляются своею грубоватостью. Грубоватость эта очень образно характеризована въ одномъ воспоминаніи, приведенномъ у Кубасова. Тамъ говорится, что „въ литературныхъ собраніяхъ Крыловъ съ привѣтливой улыбкой протягивалъ руку своему брату по баснѣ—Крыловъ изящный—дикому Крылову, великій художникъ—простому плотнику, тесавшему тяжкій Эзоповъ лѣсъ тяжелымъ вятскимъ топоромъ, но въ полной мѣрѣ честному писателю, доброй душѣ, а также и литератору, во всякомъ случаѣ достойному уваженія за благія намѣренія, за усердіе къ русскому просвѣщенію, за откровенное и прямое сердце“ ¹¹⁸).

Біографія Измайлова и дополнительныя свѣдѣнія о его литературной дѣятельности.—Журналъ Измайлова: „Благонамѣренный“.

Александръ Ефимовичъ Измайловъ, сынъ небогатаго помѣщика Владимирской губерніи, родился 14 апрѣля 1779 года. По словамъ біографа, отецъ его былъ честный и добрый человекъ, весьма исправный чиновникъ, прослужившій отечеству съ усердіемъ полвѣка, дослужившійся до чина статскаго совѣтника, но не успѣвшій завѣщать своимъ дѣтямъ никакихъ богатствъ, кромѣ ничтожнаго родового имѣнія съ семью душами крестьянъ да честнаго имени, которое Александръ Ефимовичъ ревниво оберегалъ во все прохожденіе своего жизненнаго поприща и успѣлъ незапятнаннымъ передать своимъ потомкамъ ¹¹⁹). Характеристика эта вполне согласна съ слѣдующей эпитафіей, написанной отцу сыномъ:

Здѣсь прахъ покоится честнаго человека:
Онъ зла не дѣлалъ и врагамъ;
Служилъ отечеству съ усердіемъ полвѣка,
И имя доброе оставилъ только намъ.

Воспитаніе Измайловъ получилъ въ Горномъ корпусѣ. Тамъ впервые проявилась въ немъ любовь къ словесности; тамъ, вѣроятно, началъ онъ учиться французскому языку, которымъ впослѣдствіи владѣлъ прекрасно, и тамъ же, какъ предполагають, имѣлъ возможность изучать типы „золотой молодежи“ своего времени, такъ какъ корпусъ, по свидѣтельству лицъ, въ немъ тогда учившихся, отличался крайнею распушенностью. Этимъ обстоятельствомъ и объясняется, почему восемнадцатилѣтній юноша могъ уже создать такой романъ, какъ „Евгеній“.

Хотя Измайловъ еще въ дѣтствѣ былъ записанъ въ Преображенскій полкъ, однако не захотѣлъ служить въ военной службѣ, такъ какъ не чувствовалъ къ ней призванія, и потому, по выходѣ изъ корпуса, былъ вскорѣ, по прошенію, опредѣленъ „къ статскимъ дѣламъ“, и съ 1797 г. по 1826-й оставался на службѣ въ Петербургѣ, въ учрежденіяхъ министерства финансовъ. Затѣмъ онъ былъ переведенъ въ Тверь.

Время службы въ Петербургѣ было самымъ горячимъ временемъ литературной и общественной дѣятельности Измайлова. Съ 1799 г. онъ дѣлается извѣстнымъ, какъ авторъ романа; у него завязываются литературныя знакомства, преимущественно съ молодыми писателями, и въ 1802 г. Измайловъ вступаетъ уже членомъ въ только что народившееся „Общество любителей Сло-

весности, Наукъ и Художествъ“ и въ послѣдствіи дѣлается на долгое время его предсѣдателемъ. Общество это было, особенно въ началѣ своего существованія, не исключительно литературное: оно интересовалось и идеями политическаго характера, и въ немъ были широко распространены и идеи филантропическія. Последнее обстоятельство могло особенно казаться Измайлову привлекательнымъ, такъ какъ по натурѣ своей онъ былъ человѣкъ очень добрый. Природная доброта и сердечность, а также и вліяніе настроенія Общества заставили его откликнуться на рескриптъ императора Александра, данный имъ 12-го мая 1802 г. на имя камергера Витовтова о „несчастныхъ подданныхъ, страждущихъ подъ игомъ нищеты“, и Измайловъ выпустилъ отдѣльной книжкой „Разсужденіе о нищихъ“ (1804). Исходя изъ мысли рескрипта, что „обыкновенное подаваніе нищимъ умножаетъ только число оныхъ“, авторъ занялся вопросами о томъ, во-первыхъ, какимъ образомъ можно уменьшить ихъ количество въ Россіи, а во-вторыхъ, какъ „доставить прочимъ безнужное пропитаніе безо всякаго на то иждивенія отъ казны“. Указавъ нѣсколько мѣръ для первой цѣли, онъ предложилъ для второй слѣдующую, которая теперь давно уже практикуется: завести во всѣхъ церквахъ кружки для нищихъ, а также и въ другихъ мѣстахъ, „куда собираются часто для одного только увеселенія и излишнихъ прихотей, напримѣръ: въ маскарадахъ, театрахъ, рынкахъ, даже въ самыхъ кофейныхъ домахъ и трактирахъ“. „Древніе египтяне“ — говоритъ Измайловъ — „на пиршествахъ своихъ выносили передъ гостей гробъ. Когда веселіе, при таковыхъ собраніяхъ обыкновенно бываемое, возмущалось у нихъ страшнымъ помышленіемъ о смерти, то ужли предосудительно намъ будетъ, сидя за роскошнымъ столомъ, или во время забавы, на которую охотно тратимъ деньги, привести себѣ на память, что есть несчастные, которые, можетъ быть, не имѣютъ куска черстваго хлѣба для утоленія своего голода, и облегчить ихъ жребій нѣсколькими малыми монетами“. Въ заключеніи къ своей статьѣ Измайловъ говоритъ: „Всѣ сии средства, изъясненныя мною, относятся только до однихъ нищихъ, а не до бѣдныхъ, которые, можетъ быть, еще болѣе ихъ достойны сожалѣнія, и которымъ имя нищаго ужаснѣе самой нищеты. Напримѣръ, честный и трудолюбивый ремесленникъ, или художникъ, обремененный большимъ семействомъ, впадаетъ въ продолжительную болѣзнь; съ здоровьемъ лишается онъ и содержанія, такъ какъ и его жена и его дѣти. Не говоря уже о лѣкарствахъ, ему не на что бываетъ купить и пищи... Что остается ему дѣ-

латъ въ такомъ случаѣ? конечно, не что другое, какъ продавать или закладывать вещи и самые свои инструменты, безъ которыхъ онъ послѣ, изъ здоровый, обойтись не можетъ. Но положимъ, что онъ умираетъ. Остается послѣ него бѣдная вдова, съ малыми дѣтьми безъ всякаго пропитанія, безъ всякой надежды. Пойдетъ ли она однако просить милостыню?... Нѣтъ, она станетъ плакать, работать, изнурить непомѣрными трудами свое здоровье, и прежде времени лишится жизни. Ахъ, какъ справедливо сказано (въ рескриптѣ), что «надлежитъ искать несчастныхъ въ самомъ жилищѣ ихъ, въ обители плача и стenanія, ласковымъ обращеніемъ, спасительными совѣтами,—словомъ, всѣми нравственными и физическими способами стараться облегчить судьбу ихъ,—вотъ въ чемъ состоитъ истинное благодѣяніе». Но неужели никогда нельзя будетъ отвортить нищеты и бѣдности? Дѣло сіе, конечно, есть трудное, но не невозможное: стараніе все преодолеваетъ, и успѣхъ всегда соразмѣряется съ онымъ».

Есть у Измайлова еще одно произведеніе, въ которомъ биографъ его справедливо находитъ много благородства и прямоты автора. Произведеніе это—небольшой рассказъ: „Вчерашній день“. Въ немъ Измайловъ, имѣя въ виду множество бѣдныхъ тружениковъ, и притомъ тружениковъ честныхъ и полезныхъ, проводитъ мысль, что хорошо бы было не давать пенсій людямъ богатымъ, хорошо бы было и самимъ имъ отказаться отъ нея въ пользу бѣдныхъ. Почему, на примѣръ, не отказаться отъ 600 руб. пенсіи такому лицу, которое имѣетъ десять тысячъ годового дохода? А такимъ господамъ, какъ Власій Кирилловичъ Безсовѣстинъ, не только не слѣдуетъ давать пенсіи, а еще съ нихъ надо взыскать при отставкѣ. За что онъ получилъ пенсію? За 38-милѣтнюю службу?—„Но за службу“,—разсуждаетъ авторъ,—„кажется, тогда только должно дѣлать награжденіе, когда она приносить обществу пользу. Ежели кто служилъ съ пользою долѣе другого своему отечеству, тогда, правда, и награждать должно болѣе. Но ежели кто вмѣсто того, чтобы стараться о благѣ общественномъ, ничего другого 35 или 38 лѣтъ не дѣлалъ, какъ только притѣснялъ невинныхъ, помогалъ плутамъ, воровалъ казну и бралъ изъ казны же за все это жалованье,—слѣдуетъ ли награждать такого человѣка за долговременную его службу, или не справедливѣе ли будетъ наказать его за долговременныя его преступленія жесточайшимъ образомъ, такъ какъ вора, либо разбойника, который воровалъ и грабилъ 35 или 38 лѣтъ?—Станемъ судить по логикѣ. Кто болѣе дѣлалъ добра, тотъ болѣе заслуживаетъ и награды. Вотъ

аксіома. Возьмемъ теперь противоположность: *Кто болѣе дѣлалъ зла, тотъ болѣе заслуживаетъ и наказанія*. Власій Кирилловичъ въ теченіе 38 лѣтъ своей службы болѣе сдѣлалъ зла и вреда обществу, нежели бы сколько сдѣлалъ онъ, служа десять лѣтъ; слѣдовательно вмѣсто того, чтобы дать ему при отставкѣ пенсію и чинъ, надлежало по крайней мѣрѣ лишить его всѣхъ чиновъ, продать имѣніе его съ публичнаго торгу, изъ вырученныхъ за оное денегъ вычесть все то, что имъ украдено изъ казны, разумѣя тутъ причиненную имъ всякаго рода казнѣ убыль и жалованье, сколько онъ перебралъ въ 38 лѣтъ, на все сіе положить по 5 въ годъ со ста и причислить къ общимъ государственнымъ доходамъ, а остальное количество отдать въ пользу Приказа Общественнаго Призрѣнія на богоугодныя заведенія“...

Свидѣтельствомъ о томъ участіи, которое Измайловъ принималъ въ политическихъ интересахъ „Общества любителей Словесности, Наукъ и Художествъ, служатъ уже извѣстныя намъ двѣ восточныя его повѣсти.

Члены Общества печатали свои произведенія въ разныхъ журналахъ, которые въ ту пору быстро у насъ возникали, но быстро и падали. Наконецъ задумалъ журналъ и Измайловъ. Журналъ этотъ, названный „Цвѣтникомъ“, долженъ былъ служить Обществу его органомъ. Въ „Цвѣтникѣ“ дано было между прочимъ мѣсто полемикѣ карамзинистовъ съ Шишковымъ и его приверженцами: тамъ помѣстилъ свою статью Дашковъ, опровергавшую мысль Шишкова о тождествѣ языковъ русскаго и славянскаго; тамъ же напечаталъ и В. Пушкинъ свое посланіе къ Жуковскому. Но „Цвѣтникъ“ тоже существовалъ недолго: въ первый годъ (1809-й) онъ держался почти исключительно талантомъ Бенитцакаго, съ которымъ вмѣстѣ Измайловъ и издавалъ свой журналъ; по смерти же Бенитцакаго, котораго замѣнилъ Никольскій, „Цвѣтникъ“ сталъ падать; въ 1810 г. онъ, по выраженію Батюшкова, „завялъ“ уже, и издатели прекратили изданіе. Общество стало издавать другой журналъ: „С.-Петербургскій Вѣстникъ“, подъ главнымъ редакторствомъ Измайлова же. Направленіе „Цвѣтника“ сохранилось и въ „Вѣстникѣ“, который Гречъ вѣрно охарактеризовалъ слѣдующими словами: „Этотъ журналъ былъ поприщемъ оппозиціи противъ распространявшагося тогда дурного вкуса въ словесности, порожденнаго ложными понятіями о свойствахъ, достоинствахъ и различіи языковъ церковно-славянскаго и русскаго“¹²⁰). Однако и „С.-Петербургскій Вѣстникъ“ жилъ очень короткое время: наступившая военная

гроза помѣшала его продолженію; но Общество все-таки не распалось, и въ 1816 г. возобновило свою дѣятельность. Объ оживленіи его много хлопоталъ Измайловъ, уже какъ предсѣдатель (съ 1816 г.), и вербовалъ новыхъ членовъ: такъ въ 1817 г. имъ были представлены Обществу Жуковский и Крыловъ, а въ слѣдующемъ—А. С. Пушкинъ, Баратынский, Дельвигъ и мн. др. Однако этотъ второй періодъ дѣятельности Общества былъ менѣе плодотворенъ, чѣмъ первый, когда на засѣданіяхъ его поднимались серьезные вопросы, писались и переводились научные трактаты (изъ Бентама, Монтескье, Беккарии и др.). Теперь же научная сторона отодвинулась на второй планъ, читались главнымъ образомъ малосодержательныя стихотворенія. Общество умирало, и наконецъ послѣ 1825 года закрылось.

Между тѣмъ съ 1818 г. Измайловъ началъ издавать свой собственный журналъ—„Благонамѣренный“, и издавалъ его девять лѣтъ, по 1826 г. включительно. Журналъ этотъ интересенъ, какъ отраженіе и личности издателя, и тогдашнихъ литературныхъ вкусовъ и воззрѣній.

Прежде всего отмѣтимъ, что „Благонамѣренный“ съ самаго своего появленія и до конца былъ филантропическимъ органомъ, имѣвшимъ въ виду помогать бѣднымъ. Измайловъ съ самаго начала изданія открылъ при журналѣ подписку въ пользу бѣдныхъ и сдѣлался неусыпнымъ посредникомъ между ними и благотворителями. Руководясь словами извѣстнаго уже намъ рескрипта: „Надлежитъ искать несчастныхъ въ самомъ жилищѣ ихъ и всѣми нравственными и физическими способами стараться облегчить судьбу ихъ“, онъ дѣйствительно радѣлъ о нихъ всѣми мѣрами—отъ серьезныхъ объявленій до стихотворныхъ посланій. Такъ, однажды передъ Свѣтлымъ Воскресеньемъ читатели „Благонамѣреннаго“ получили слѣдующее посланіе отъ издателя:

Вотъ ужъ и праздники большіе наступаютъ.

Богатые себѣ обновы покупаютъ

(О суета суетъ!);

У магазиновъ тѣмъ каретъ.—

А бѣдные межъ тѣмъ *говнютъ*;

Не только платья, но—и пищи не имѣютъ.

Вотъ старецъ *Худяковъ* семидесяти лѣтъ,

Совѣтникъ титулярный,

Въ *свѣтлицѣ темной* и прохладной,

То-есть нетопленной, лежить,

Вздыхаетъ и дрожитъ;

Все на діэтѣ онъ, хоть есть и аппетитъ;
Ослѣпъ давно совсѣмъ, обремененъ семейю!—

Есть и еще слѣпецъ одинъ,
Андреевъ, здѣшній мѣщанинъ
Осьмидесяти лѣтъ, съ женою,
Старушкою больною.

А двѣ несчастныя вдовы—*Гринблатъ*
И *Пряхина*, съ дѣтьми дни по два не ѣдятъ.
У нихъ есть сыновья большіе, но калѣки.—

О христіане человѣки!
Хоть что-нибудь пришлите въ праздникъ имъ,
А если можно, и другимъ,

И вамъ сторицею воздастъ за то Создатель.
Клянуса честію!—*Издатель.*

За время существованія „Благонамѣреннаго“ Измайловымъ было роздано свыше 10.000 рублей пожертвованныхъ денегъ, не считая жертвованій вещами. Не имѣя лично состоянія и не рѣдко нуждаясь, онъ тѣмъ не менѣе часто прибавлялъ къ пожертвованнымъ деньгамъ и собственныя.

Съ самаго же начала изданія, „Благонамѣренный“ началъ нападать на стихоманію. Эта мода на стихи господствовала во французской литературѣ и перешла къ намъ. Страсть писать стихи обуяла общество, подобно эпидемической болѣзни. Къ этому присоединилась и страсть читать свои произведенія другимъ, искать себѣ слушателей. „Благонамѣренный“ въ одномъ мѣстѣ восклицаетъ съ досадою: „Пускай бы самолюбивые стихотворцы только писали; а то вѣдь они прожужжали всѣмъ уши!“ (1818 г.). Въ другомъ мѣстѣ онъ осмѣиваетъ чтецовъ слѣдующими стихами:

... Бѣда! куда дѣваться?
Идетъ творецъ случайныхъ одъ!
Онъ ищетъ, съ кѣмъ бы повстрѣчаться—
Прочестъ Расиновъ переводъ.
Друзья и морщатся и хвалятъ,
Въ глаза зѣваютъ и хулятъ,—
Ничѣмъ охоты не убавятъ:
Поэтъ неумолимъ читать! (1823 г.).

На вопросъ: съ какимъ человѣкомъ всего несноснѣе жить? „Благонамѣренный“ отвѣчаетъ: „съ самолюбивымъ стихотворцемъ. За грѣхи мои послалъ мнѣ Богъ товарища-стихотворца, и кого же? Самаго неугомоннаго. Взглянуть не на кого: едва дышитъ, а все пишетъ. Недавно пошелъ ему осьмнадцатый годъ, а онъ собирается уже выдать свои стихотворенія въ трехъ то-

махъ съ виньеткою и своимъ портретомъ. Сколько же онъ еще напишетъ и переведетъ бумаги, если доживетъ до шестидесяти лѣтъ!“

Подобныя насмѣшки надъ стихотворцами, надъ тогдашнимъ стихобѣсіемъ, помѣщались въ журналъ Измайлова очень часто ¹²¹⁾.

Къ тому времени, когда началось изданіе „Благонамѣреннаго“, борьба за старый и новый слогъ почти совсѣмъ уже затихла, но въ новомъ журналѣ Измайлова, какъ и прежде въ „Цвѣтникъ“, все еще появлялись нападки на „славянъ“. Такъ въ первомъ же номерѣ 1818 г. напечатано стихотвореніе О. К.: „Отвѣтъ и совѣтъ“. Авторъ отвѣчаетъ своему другу, желавшему узнать средства прослыть поэтомъ. Средствъ, по его указанію, два: одно—истинное, но трудное; другое—ложное, но легкое. Последняго, говорить онъ, держатся поэты старой школы:

Уставъ ихъ въ двухъ статьяxъ: одною онъ велить,
Чтобъ даже въ мадригалахъ
Славянскія слова всегда ты помѣщаль;
Другою, чтобъ своихъ отважно защищаль.
Притомъ писателей, прославившихъ Россію,
Осмѣивай, брани—пристойность не нужна—
И проклинай К(арамзина)..
Сочлены чувствуютъ къ нему антипатію,
За то, что первый онъ осмѣлился ввести
Въ стихи и прозу слогъ пріятный,
Для нихъ и дикій и невнятный.

Доставалось въ „Благонамѣренномъ“ и самому Шишкову. Вотъ образчикъ сатиры на него: въ одномъ изъ номеровъ 1823 г. помѣщено „Письмо къ пріятелю въ Москву“ за подписью „Дяденькинъ племянникъ“, гдѣ авторъ, описывая собраніе любителей словесности подъ предсѣдательствомъ своего дяди (Шишкова), рисуеъ между прочимъ такую картину:

„Въ залѣ священное молчаніе. Дядя быстрымъ взоромъ окидываетъ безмолвствующихъ... и говоритъ: «Милостивые государи мои и почтенно-любезные сотоварищи! Богатѣтъ въ тѣлесныя и душевныя добродѣтели паче, нежели въ серебро и золото—се есть правило наше; вторгаться въ лабиринтъ, или вертоградъ Слова руссійскаго и любопреніемъ опровергать хитросплетенныя новизны благопріятелей языка иноземнаго и не шадить оныхъ, одебелъ бо сердце людей сихъ—предметъ при нашей и состязаній».

„Одинъ изъ членовъ написалъ, по препорученію г. предсѣдателя, «Опытъ руссійской риторики» и сталъ заниматься русскою просодіей, но выборъ примѣровъ затруднялъ его. Другой

помогъ этому горю: онъ въ часы досуга записывалъ въ особенную тетрадь стихи, которые ему нравились. Предсѣдатель подошелъ къ библіотекѣ, взялъ толстую книгу и началъ говорить:

«Сія книга, государи мои, есть сокровищница россійскаго стихотворства; тутъ найдете вы образцовыя стихотворенія для двадцати разныхъ просодій».

„Дяденька развернулъ книгу и прочелъ: *Лучшіе и образцовые отрывки изъ русскихъ стихотвореній... Часть 401.*

«Вотъ — продолжалъ дяденька — вотъ описаніе русскаго воинства:

Стекаются со всѣхъ россіане сторонъ
Для царства, общества и вѣры оборонъ;
Вращаютъ машины, шумитъ средь дебрей камень;
Геройскою рукой несутъ военный пламень.
Гдѣ ступать—тучи, мракъ подъ ихъ ногами зрѣтъ;
Гдѣ взглянуть—заревъ кровавое родятъ;
Колоссы шлемы ихъ, пространныя стопы,
А руки—длинные, огромные столпы».

„Дяденька съ довольною улыбкою обратился къ гг. членамъ и торжествующимъ голосомъ сказалъ: «вотъ поэзія! вотъ метафоры! вотъ истинно высокое!»».

Если сравнить эту картину съ той, которая набросана С. Аксаковымъ въ его статьѣ: „Воспоминаніе объ Ал. Сем. Шишковѣ“, и изображаетъ его читающимъ поэму Ширинскаго,—то нельзя не признать, что сатира „Благонамѣреннаго“ очень мѣтка.

Сатира на Шишкова выходила и изъ-подъ пера самого Измайлова. Такъ, напримѣръ, кромѣ уже извѣстной намъ сказки: „Шутъ въ парикѣ“, ему принадлежитъ стихотвореніе въ діалогической формѣ: „Дядя и племянникъ славянофилы“¹²²⁾.

Но, стоя на сторонѣ новаго слога, „Благонамѣренный“ ѣдко осмѣивалъ запоздалыхъ подражателей Карамзинскаго сентиментализма. „Въ 1818 году, когда Измайловъ началъ издавать журналъ свой, не было уже“—пишетъ Галаховъ—„общаго разлива сентиментальности *), а остались только частныя его проявленія. Литература имѣла въ виду другія цѣли, жила другими интересами; прежняя цѣль и прежніе интересы сохранились для очень немногихъ, для нѣсколькихъ единицъ. Эти единицы хотѣли держаться и держать словесность на томъ, съ чего Карамзинъ началъ свою дѣятельность. Такое упорное стояніе на одномъ и томъ же пунктѣ равнозначительно отсталости и обращается въ плодотворное».

*) Этотъ разливъ былъ съ 1792 по 1812 г.

творный предметъ для сатиры. И сатира устремилась на нихъ всѣми орудіями: эпиграммами, пародіями" ¹²³).

Въ „Благонамѣренномъ“ усерднѣ другихъ преслѣдовалъ за-
поздалыхъ сентименталистовъ племянникъ издателя, Павелъ Лукья-
новичъ Яковлевъ, авторъ „Чувствительнаго путешествія по Нев-
скому проспекту“, повѣсти: „Несчастія отъ слезъ и вздоховъ“ и дру-
гихъ сатиръ на сентиментализмъ. Въ упомянутомъ журналѣ за
1820 годъ онъ помѣстилъ между прочимъ „Разказы Лужниц-
каго старца“, гдѣ авторъ иронизируетъ слѣдующимъ образомъ.
Ему хочется написать чувствительную повѣсть, но негдѣ посе-
лить героевъ: подлѣ Москвы уже всѣ мѣста заняты—Воробьевы
горы, Симоновъ монастырь, Марьиная роща... все уже занято!
Лизы, Тани, Кати, Маши, со всѣми семействами и знакомцами,
отмежевали себѣ поля, горы, лѣса, долины, и уже некуда водить
читателей. „Такъ думалъ я“,—говоритъ авторъ,—„прогуливаясь
по *Дѣвичьему полю, когда вечерніе лучи солнца бросали послѣд-
ній блескъ* на золотые верхи башенъ и церквей московскихъ! Не
знаю, отчего, я воображалъ тогда, что могу написать *прелестный
романъ* о двухъ несчастныхъ любовникахъ, которые, *съ перваго
взгляда*, почувствовали страстную любовь... Она покраснѣлась,
онъ—не сводилъ съ нея глазъ; она пошла домой, онъ—прово-
дилъ ее до калитки; она махнула ему платкомъ, онъ—упалъ на
колѣни, и прочее, и прочее подобное. Итакъ я воображалъ, что
напишу прелестный романъ, и первое потому, что выслушалъ
полный курсъ словесности, исторіи, археологіи; второе потому,
что нахожу въ себѣ всѣ потребности чувствительнаго автора,
то-есть: люблю ходить пѣшкомъ и сидѣть въ задумчивости, когда
бываю одинъ... О планѣ романа я не заботился; меня мучило *по-
селеніе* моихъ любовниковъ... Воробьевы горы—заняты! окрест-
ности Симонова монастыря—заняты! Марьиная роща—занята! Во-
образите: самыя лучшія мѣста“... Наконецъ послѣ долгаго раз-
мышленія авторъ нашелъ мѣсто, куда поселить своихъ героевъ:
это—*Лужники*, что за Дѣвичьимъ монастыремъ. „Безподобно!... пре-
лестно!“ восклицаетъ онъ. „Я заставляю гулять по Лужникамъ всю
чувствительную публику московской столицы... Моя повѣсть будетъ
такъ интересна, такъ трогательна, что Лужники сдѣлаются сход-
бищемъ всѣхъ меланхоликовъ обоихъ половъ; не останется кру-
гомъ ни одной березы, ни одного дуба, ни одной сосны, на ко-
торыхъ бы не вырѣзаны были стишки князя Шаликова“...

Въ повѣсти: „Несчастія отъ слезъ и вздоховъ“ (Благ. 1824—
1825 г.) выведенъ сентиментальный писатель Эрастъ Людоро-

вичъ Чертополоховъ. Описываются похождения его отъ самаго рожденія до смерти. Вотъ, напримѣръ, прїѣздъ его въ домъ помѣщика Богатонова:

„Я очень радъ, что вижу у себя новаго Стерна,—говорить ему хозяинъ, и Эрастъ дружески пожимаетъ руку Богатонова, и сердечный вздохъ летитъ изъ груди его, и радостная слеза катится изъ его лѣваго глаза!... Я съ удовольствіемъ читала ваши повѣсти,—говоритъ ему хозяйка, и Эрастъ почтительно кланяется, прижимаетъ къ сердцу дорожный картузъ, и слеза сердечнаго удовольствія бѣжитъ изъ праваго его глаза.—Какъ мило, какъ прїятно вы пишете! говоритъ ему нѣжная Юлія (дочь Богатонова), бросивъ на него пронзительный взглядъ... и Эрастъ вспыхнулъ... затрепеталъ, и слезы градомъ посыпались по его блѣдножелтымъ ланитамъ!... онъ не въ силахъ говорить... слова замираютъ въ груди его... Окружающіе Богатонова подходятъ къ чувствительному путешественнику и поочередно изъясняютъ радость свою, видя новаго Стерна!... Эрастъ засыпанъ учтивостями“.

„Восхищенный всѣмъ, что видѣлъ, что слышалъ и чувствовалъ, приходитъ онъ въ отведенную ему комнату... новое наслажденіе, новая причина къ восторгамъ. Всѣ стѣны его кабинета увѣшаны гирляндами изъ васильковъ, миртовыми вѣнками; на письменномъ столѣ стоитъ бюстъ Ж. Ж. Руссо, а подлѣ, въ фарфоровой вазѣ, ландыши... и эклоги Сумарокова въ богатомъ переплетѣ. Слезы такъ и текутъ изъ глазъ Эрастовыхъ, и окружающія его гирлянды, вѣнки и ландыши кажутся ему какъ за семью“...

Когда Эрастъ умеръ, его похоронили на Ваганьковскомъ кладбищѣ. Одинъ изъ московскихъ поэтовъ, который, будучи чувствителенъ, нѣженъ и томенъ, который, однимъ словомъ, можетъ считаться новымъ Эрастомъ Чертополоховымъ,—разсказываетъ авторъ повѣсти,—сочинилъ своему предшественнику эпитафію:

Подъ камнемъ симъ лежитъ Эрастъ Чертополоховъ.
Скончался (въ среду) отъ слезъ, любви и вздоховъ.

Приведемъ еще одну сатиру на сентиментализмъ: въ „Благонамѣренномъ“ 1823 г. (№ XI) помѣщена слѣдующая эпитаграмма на кн. Шаликова:

Дитя пастушеской природы,
Писатель Нуликовъ такъ сладостно поетъ,
Что ужъ пора бъ ему назваться безъ хлопотъ
Кондитеромъ литературы.

Подобно Карамзину, и Жуковский имѣлъ не мало подражателей; особенно увлеклись элегическимъ тономъ поэзіи нашего романтика—и появилось множество элегій, авторы которыхъ напускали на себя грусть изъ подражанія. „Благонамѣренный“ и тутъ не упускалъ случая посмѣяться надъ такими поддѣльными элегиками. Самой ядовитой была статья (1822 г.), подъ заглавіемъ: „Увы и Ахъ, прозаическая галиматья“. Вотъ она:

„Минутный гость на жизненномъ пиру, я вяну!—И веселье не веселитъ меня! И сердце, больное грустію, дремлетъ!—Увы и ахъ!“...

„И молодая жизнь измѣнила мнѣ! И увяли розы сладострастія! И привѣтная звѣзда отуманилась! Увы и ахъ!“

„И бывшее, какъ пустынная стрѣла, пролетѣло! И грядущее—дикій мракъ, туманная даль! И въ слѣпой тоскѣ моей я исчезаю, я терзаюсь! Увы и ахъ!“

„И мой геній и дружба, сладострастіе душъ высокихъ и чувствительныхъ, не внушаютъ мнѣ молитвы радостей! И сердце мое не замираетъ въ нѣгѣ тайныхъ желаній! Увы и ахъ!“

„Чу! кипящая смерть ярится! И ночь сгустилась! И сладкая мечта, чистѣйшій нектаръ счастья, какъ ароматъ веселаго вина—исчезла въ воздухѣ! И я жадно пью кручину! Увы и ахъ!“

Впрочемъ Измайловъ, хотя и относился почтительно къ Жуковскому, но романтизма вообще не жаловалъ. Онъ не любилъ его потому главнымъ образомъ, что, воспитавшись на французской неромантической литературѣ, онъ не понималъ истинной сути романтизма, и смотрѣлъ на него только какъ на что-то очень туманное. Быть романтикомъ, по его мнѣнію, значило стараться о сохраненіи безпорядка мыслей, таинственности, запутанности и неясности (Благ. 1822 и 1823 г.).

О спорѣ изъ-за гексаметровъ Гнѣдича будемъ говорить впослѣдствіи, а пока замѣтимъ лишь, что когда возникъ этотъ споръ, онъ отозвался и въ „Благонамѣренномъ“: и журналъ, и его издатель отнеслись къ гексаметру недоброжелательно.

Каждое литературное направленіе можетъ быть доведено до смѣшныхъ крайностей — и потому нѣтъ ничего удивительнаго, что Измайловъ осмѣивалъ представителей такихъ крайностей въ сентиментализмѣ и романтизмѣ. Можно было, пожалуй, посмѣяться и надъ отрицательными сторонами гексаметровъ Гнѣдича. Но читатель, знакомясь далѣе съ журналомъ Измайлова и видя, что онъ смѣется и надъ разными другими литературными явлениями своего времени, невольно начинаетъ думать,

нѣтъ ли какой-либо другой причины 'смѣха, кромѣ смѣшной стороны въ осмѣиваемомъ предметѣ. Другими словами: не смѣется ли Измайловъ потому, что онъ очутился человѣкомъ отсталымъ среди новыхъ для него явленій? И дѣйствительно, къ двадцатымъ годамъ столѣтія Измайловъ окончательно застылъ въ извѣстной формѣ своего развитія. „Литераторъ Карамзинской школы, поборовшій за новый слогъ противъ стараго“,—говорить Галаховъ:—„признававшій право развитія за стилемъ, строеніемъ рѣчи, Измайловъ не могъ или не хотѣлъ признать такого же права за поэзіей. Онъ упрекалъ Шишкова въ упорной приверженности къ старинѣ и дѣйствовалъ сатирой противъ такъ называвшихся въ то время славянофиловъ, и между тѣмъ самъ, не замѣчая того, становился на ихъ мѣсто,—слѣдовательно, достойно заслуживалъ и упреки и насмѣшки. Таковъ, видно, необходимый путь литературнаго движенія: литераторы прежнихъ школъ, не понимавшіе, какъ можно литературѣ остановиться на одномъ и томъ же пунктѣ, въ послѣдствіи теряютъ изъ виду возможность разумныхъ, естественныхъ перемѣнъ, и ясно выступающей истинѣ противопоставляютъ литературное преданіе. Примѣры подобной слабости представляютъ и не такіе умы, каковъ былъ умъ Измайлова и другихъ людей, способныхъ только однажды идти по слѣдамъ самобытнаго двигателя литературы, какъ бы этотъ двигатель ни назывался: Ломоносовъ, Карамзинъ или Пушкинъ“ ¹²⁴).

Косность Измайлова рѣзче всего сказала въ той придиричivosti, съ которою онъ встрѣчалъ произведенія Пушкина, и въ тѣхъ насмѣшкахъ надъ нѣмецкой умозрительной философіей вообще, а въ частности надъ начавшими распространяться у насъ тогда идеями Шеллинга, одного изъ представителей идеализма. Насмѣшки эти появились въ „Благонамѣренномъ“ 1823 года.

Служба, а въ особенности литературныя занятія дали Измайлову возможность завести обширный кругъ знакомства. Еще въ 1803 г. онъ женился на Екатеринѣ Ивановнѣ Сотниковой, оказавшейся прекрасной женою и матерью. Измайловъ любилъ принимать у себя гостей, любилъ и самъ появляться въ обществѣ. Всѣ относились къ нему съ уваженіемъ, какъ къ человѣку не только чрезвычайно доброму, но и безукоризненно честному. Взятки и вообще всякая неправда возмущали его до глубины души. Обыкновенно же онъ бывалъ всегда веселъ, добродушенъ, простъ въ обхожденіи и, какъ говоритъ его біографъ, „вносилъ повсюду оживленіе и общую веселость, гдѣ только ни появля-

лась его тучная, оригинальная фигура, въ сюртукѣ съ оттопыренными карманами, всегда полными рукописей своихъ и чужихъ. Тотчасъ начиналась бойкая бесѣда, сыпались анекдоты, шутки, экспромпты¹²⁵).

Не смотря на то, что Измайловъ осмѣивалъ стиходѣевъ, у самого его была великая страсть и къ риѣмослагательству и къ чтенію своихъ стиховъ.

„Люблю писать стихи и отдавать въ печать!

Не потаю грѣха: люблю ихъ и читать,

не только друзьямъ сердечнымъ, но встрѣчнымъ и поперечнымъ“.— сказалъ онъ однажды, соединяя стихи съ прозой. Признать за собой тотъ недостатокъ, который осмѣиваешь въ другомъ—есть свойство лишь вполне искреннихъ людей. И Измайловъ былъ въ высокой степени искренній человекъ. Осмѣявъ въ сказкѣ: „Встрѣча двухъ подругъ“ страсть стиходѣевъ къ чтенію собственныхъ стиховъ, онъ заканчиваетъ эту сказку слѣдующими строками:

Я самъ, къ несчастью, сочинитель;

Писать стихи люблю.

И ужъ никакъ не утерплю,

Чтобъ не читать *друзьямъ* свои стихотворенья;

А бѣдная моя жена—

Пошли ей. Господи, терпѣнья!—

Хотя не хочетъ, но должна

Сидѣть и слушать, какъ читаю басни, сказки—

Молчать, голубушка, и только щурить глазки.

Ахъ, знаю по себѣ, что всякій метроманъ

Жены своей тиранъ.

Вслѣдствіе страсти къ стихамъ, Измайловъ очутился авторомъ не только басенъ и сказокъ, но и такихъ модныхъ въ его время стихотвореній, какъ шарады, экспромпты, стихи въ альбомы, пѣсни, надписи, мадригалы, эпиграммы, эпитафіи и посланія. Нерѣдко онъ писалъ стихами даже разныя замѣтки. Такъ, на примѣръ, читая книжку: „Распознаваніе и лѣченіе гемороя“, онъ, по поводу даваемого въ ней совѣта воздерживаться отъ горячихъ напитковъ, пишетъ замѣтку:

И даже отъ вина!...

Да лучше пусть болить спина!

Представивъ отчетъ о раздачѣ денегъ 20-ти бѣднымъ, въ числѣ которыхъ было 12 дамъ, онъ заключаетъ:

И въ томъ числѣ двѣнадцати вдовамъ—

А говорить, что я *писатель не для дамъ*.

Относительно словъ, напечатанныхъ тутъ курсивомъ, надо замѣтить, что Измайловъ, „заходившій“, какъ говоритъ Кубасовъ, „въ своихъ изображеніяхъ порой за границы требуемой отъ печатнаго произведенія благопристойности“, имѣлъ слабость считать себя „писателемъ для дамъ“. Слышавшіе это не соглашались и утверждали противное.

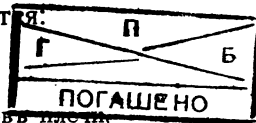
Въ 1826 г. Измайловъ долженъ былъ оставить Петербургъ, такъ какъ былъ назначенъ вице-губернаторомъ въ Тверь. Журналъ пришлось прекратить, да и вообще нельзя уже было отдавать много времени литературѣ, потому что явилось много дѣлъ по службѣ. Въ тверскомъ обществѣ Измайловъ скучалъ. Причина понятна, если мы обратимъ вниманіе на слѣдующую сдѣланную имъ характеристику этого общества:

Не любятъ здѣсь литературы;
Здѣсь всѣ почти—карикатуры..
(Скажу я по секрету вамъ)
Особенно изъ старыхъ дамъ.—
Клянусь, здѣсь многія дворянки
Не стоятъ, право, и крестьянки:
Играютъ въ карты день и ночь
И сплетничаютъ во всю мочь...

На тверскихъ-то дамъ и написаны сказки-сатиры: „Дворянка-буянка“ и „Бабушка и внучка“. Последняя, говорятъ, задѣвъ какое-то лицо, имѣвшее связи, была причиной перевода автора на ту же должность въ Архангельскъ.

Измайловъ былъ, конечно, въ высшей степени честнымъ чиновникомъ, чему свидѣтельствъ много, и между прочимъ его замѣчательное стихотвореніе: „Инструкція женѣ моей, тверской вице-губернаторшѣ“, гдѣ въ главѣ третьей говорится:

Изъ сплетницъ ежели составишь штатъ себѣ,
Которыя придутъ къ тебѣ
Съ улыбкой цѣловать тебя не въ щеки—въ плечи,
И станутъ говорить тебѣ на счетъ другихъ
Нарочно злыя рѣчи,
Чтобъ попросила ты меня, о чемъ для нихъ.
Дать мужу, на примѣръ, чинокъ или награжденье,
Племянничка опредѣлить,
Для кума покривить душой въ опредѣленьи,
Иль какъ-нибудь кого на службѣ притѣснить,—
То не прогнѣвайся: взбѣшуся,
На старости съ тобою разведуся.
Серьезно говорю.—
А сплетницъ кофеемъ горячимъ обварю;
Пусть жалуются хоть царю.



Человѣкъ съ такими правилами не могъ ужиться и въ Архангельскѣ, куда онъ пріѣхалъ въ 1828 г. Тамъ онъ увидѣлъ множество упущеній въ палатѣ, взяточничество, злоупотребленіе властью и недобросовѣстное отношеніе къ дѣлу самого губернатора—С. И. Миницкаго. Измайловъ началъ борьбу, но Миницкій, явившись въ Петербургъ, оклеветалъ Александра Ефимовича, и послѣдній былъ лишенъ должности. Горько было, конечно, переносить такую несправедливость, но Измайловъ утѣшалъ себя слѣдующею замѣчательною по отношенію къ тому времени мыслью, выраженною имъ въ письмѣ къ одному лицу отъ 2-го марта 1829 года: „Если бы Спаситель сошелъ опять на землю и опредѣлился въ російскую службу по гражданской части не въ столицѣ, а въ провинціи... не прослужить бы ему и мѣсяца въ одной губерніи: тотчасъ бы перевели въ другую, а изъ другой—въ третью, и т. д.“ ¹²⁶⁾

Въ началѣ 1830 г. дѣло Измайлова съ Миницкимъ все-таки было обстоятельно разобрано: губернаторъ былъ уволенъ отъ службы, а Измайловъ, жившій уже въ Петербургѣ, оправданъ; его причислили къ министерству финансовъ и дали 3000 въ годъ жалованья, хотя скоро онъ, по болѣзни, совсѣмъ вышелъ въ отставку съ пенсіей въ 2000 р. Но время между потерей вице-губернаторскаго мѣста и причисленіемъ къ министерству провелъ онъ не только въ крайности, но даже въ нищетѣ, и потому очень обрадовался, когда ему предложили давать уроки словесности въ Пажескомъ корпусѣ, гдѣ онъ скоро „снискалъ къ себѣ самое искреннее расположеніе и теплую любовь со стороны воспитанниковъ“ ¹²⁷⁾. Уроки эти Измайловъ давалъ до самой смерти, послѣдовавшей 16 января 1831 г. Похороненъ онъ на Смоленскомъ кладбищѣ.

Измайловъ,—говорить о немъ его біографъ,—„былъ истинно русскій добрый человѣкъ, и, знакомясь съ его личностью, мы знакомимся съ однимъ изъ честнѣйшихъ и добрѣйшихъ людей стараго времени, гдѣ и среди мрака грубости и невѣжества были все же люди, память о которыхъ достойна самаго глубокаго уваженія“ ¹²⁸⁾. Подобнымъ же образомъ отзывается о немъ и Галаховъ. „Скажемъ откровенно“,—говоритъ онъ:—„есть особенное удовольствие познакомиться съ этою личностью, по преимуществу доброю, откровенною, простодушною, чистосердечною, правдивою“ ¹²⁹⁾.

Памятникомъ того непріятнаго времени, когда Измайловъ не

могъ ужиться съ провинціальными взяточниками, остались стихи его: „Молитва благонамѣреннаго“:

Спаси насъ, Господи, отъ злыхъ,
Избави отъ людей лукавыхъ,
Защитникомъ будь противъ нихъ
Въ дѣлахъ и начинаньяхъ правыхъ.

Когда насъ не оставишь Ты,
Мы ничего не убоимся:
Ни зависти ни клеветы,
И къ правдѣ смѣло устремимся.

За правду пострадалъ Ты Самъ,
Пріялъ и казнь и поруганье.
За правду общаешь намъ
Здѣсь—тяжкій крестъ, тамъ—воз-
даданье.

Ты съ кротостію поучалъ
Людей незлобивыхъ, смиренныхъ;
Но лицемѣровъ обличалъ,
Мздоимцевъ не щадилъ надменныхъ.

И въ путь, проложенный Тобой,
Спаситель, устремимся смѣло:
Пожертвуемъ Тебѣ собой
За правое, святое дѣло.

Но рано ль, поздно ль совѣсть въ
злыхъ,
Змѣѣ подобно, пробудится
И сердце изсосетъ у нихъ—
И родъ лукавыхъ истребится.

Вотъ и другое стихотвореніе, въ видѣ письма къ женѣ изъ
Архангельска 1829 года:

Игумень образокъ мнѣ этотъ подарилъ,
И Ангелъ насъ *Хранитель* сохранилъ
Въ Архангельскѣ, Шенкурскѣ и Мезени.
Вотъ даръ тебѣ въ день твоего рожденья:
Ни жалованья здѣсь ни взятокъ не беру;
Чѣмъ подарить другимъ?—Зато, когда умру,
Не попаду къ бѣсамъ въ подземныя селенья:
Не дѣлалъ никому по службѣ притѣсненья,
А защищалъ крестьянъ, сколь могъ, отъ разоренья.

За правду хоть теперь терплю,

А все ее такъ, какъ тебя люблю!

Амвросій *) запретилъ мнѣ ревновать *лукавымъ*
И беззаконникамъ. — *Изсохнутъ, какъ трава,*
Прощаясь, мнѣ сказалъ.—Ахъ, что за голова!

Быть лучше бѣднымъ, лишь бы *правымъ*.

Архіерея я послушаться не могъ.

За правду же заплатить Богъ.

Главный характеръ Измайлова, какъ писателя, выяснился уже самъ собой. Прежде всего онъ замѣчательнъ, какъ авторъ перваго у насъ реального романа и именно романа обличительнаго. Обличителемъ является онъ и въ своихъ басняхъ и сказкахъ. Какъ обличительныя, произведенія его имѣютъ историческое значеніе: по нимъ можно судить о нравахъ того времени.

*) Архіепископъ тверской, съ которымъ, живучи въ Твери, Измайловъ любилъ бесѣдовать.

Въ ходѣ развитія реального направленія въ нашей литературѣ Измайловъ играетъ роль соединительнаго звена между литературой Екатерининскаго времени и литературой позднѣйшей. Какъ писатель переходной эпохи, онъ, сравнительно съ позднѣйшими писателями-художниками, имѣетъ недостатки: онъ плохой психологъ, форма его произведеній грубовата.—Какъ журналистъ, Измайловъ тоже былъ въ значительной степени сатирикомъ: онъ налагалъ узду на 'ретивыхъ стиходѣевъ и плохихъ подражателей Жуковского. Насмѣшки „Благонамѣреннаго“ надъ крайностями сентиментализма, пожалуй, не имѣютъ большого значенія, такъ какъ сентиментализмъ тогда уже исчезалъ самъ собою. Къ темнымъ сторонамъ издателя „Благонамѣреннаго“ относятся главнымъ образомъ его нападки на Пушкина и его нерасположеніе къ философіи. Послѣдній грѣхъ былъ особенно тяжелъ: обществу нашему могла бы быть очень полезна работа надъ серьезными мыслями: Измайловъ не поощрялъ, а скорѣе старался оттолкнуть умы отъ философіи.

Но, для большей полноты оцѣнки дѣятельности Измайлова, надо прибавить еще слѣдующее. Если соприкосновеніе души читателя съ честною личностью автора полезно вообще, — то къ свѣтлымъ сторонамъ Измайлова придется присоединить еще одну: онъ, не смотря на цинизмъ изображенія, могъ дѣйствовать на читателя освѣжающимъ образомъ: онъ не рисуетъ идеальное, но всегда заставляетъ помнить о немъ ¹⁸⁰⁾.

V. Нарѣжный (1780—1825).

Дѣтство и воспитаніе Нарѣжнаго.—Его первые литературные опыты.— Служба на Кавказѣ и романъ: „Черный годъ, или горскіе князья“.

Вслѣдъ за Измайловымъ выступилъ другой нашъ романистъ— Нарѣжный.

Василій Трофимовичъ Нарѣжный родился въ 1780 г. въ мѣстечкѣ Устивицы, находящемся въ нынѣшнемъ Миргородскомъ уѣздѣ Полтавской губерніи. Предки его были бѣдными польскими шляхтичами, принявшими на себя со временемъ казацкое званіе. Отецъ Нарѣжнаго уже числился дворяниномъ и нѣкоторое время служилъ въ русской военной службѣ. Н. А. Бѣлозерская, которой принадлежит прекрасное изслѣдованіе о Нарѣжномъ ¹⁸¹⁾, утверждаетъ, что будущій писатель въ дѣтствѣ своемъ могъ еще видѣть малороссійскихъ казаковъ, расхаживавшихъ въ черкескахъ и бараньихъ шапкахъ, съ подобритымъ чубомъ и турецкою саблею,

привѣшенною къ персидскому поясу, а женъ и дочерей ихъ—въ старинной одеждѣ предковъ, и потому Нарѣжный не имѣлъ надобности, какъ въ послѣдствіи Гоголь, собирать для своихъ произведеній свѣдѣнія о старыхъ обычаяхъ и выписывать образцы народныхъ одеждъ. „Онъ видѣлъ и зналъ ихъ съ дѣтства, видѣлъ старинныя казацкія хаты съ ихъ тогдашнимъ убранствомъ, широкіе рѣшетчатые дворы сотниковъ и дома ихъ, раздѣленные на двое, съ сквозными сѣнями и просторнымъ покоемъ, гдѣ въ старину производился судъ и устраивались пиры. Еще живы были внуки и правнуки участниковъ войнъ Хмельницкаго. Разказы ихъ о казацкихъ подвигахъ и послѣднихъ гетманахъ, слышанные въ дѣтствѣ должны были глубоко врѣзаться въ памяти Нарѣжнаго и не могли быть забыты имъ подъ вліяніемъ новыхъ впечатлѣній, ни даже продолжительной чиновничьей службы на далекомъ сѣверѣ. Онъ самъ видѣлъ мѣста повѣствуемыхъ событій, и въ его воображеніи создались готовыя картины; ему оставалось только группировать ихъ. Этому обстоятельству Нарѣжный обязанъ основательнымъ знакомствомъ съ историческою и бытовою Малороссіею, о которомъ свидѣлствуютъ его произведенія“ ¹³²).

Въ 1792 г. Нарѣжный былъ отданъ въ дворянскую гимназію при Московскомъ университетѣ. Но гдѣ онъ учился раньше? Бѣлозерская предполагаетъ, что въ бурсѣ. „Въ тѣ времена“—говоритъ она—„въ Малороссіи только богатые держали дома учителей; остальные воспитывали своихъ дѣтей въ первоначальныхъ школахъ, учрежденныхъ при монастыряхъ и церквяхъ, а затѣмъ въ семинаріяхъ. При послѣднихъ «на вклады щедрыхъ обывателей», устроены были для бѣдныхъ иногородныхъ учениковъ просторныя хаты, называвшіяся «бурсами», съ печью и широкими скамьями по стѣнамъ. Жизнь и нравы тогдашнихъ малороссійскихъ бурсаковъ такъ живо и наглядно изображены въ извѣстномъ романѣ Нарѣжнаго: «Бурсакъ», что этому разказу необходимо придать автобіографическое значеніе“ ¹³³). На основаніи нѣкоторыхъ данныхъ Бѣлозерская даже думаетъ, что бурса, въ которой учился маленькій Нарѣжный, была не иная, какъ черниговская.

Какъ бы то ни было, въ указанномъ выше году Нарѣжный поступилъ въ гимназію, которая главною цѣлью имѣла подготовленіе будущихъ студентовъ университета. Кромѣ обычныхъ предметовъ, тамъ изучали языки классическіе и новые. Въ гимназій Нарѣжный учился шесть лѣтъ, оказалъ средніе успѣхи, и былъ „произведенъ въ студенты“. Въ университетѣ онъ пробылъ два года, слушая курсъ наукъ словесныхъ и отчасти философскихъ.

Кто и какъ изъ воспитателей вліялъ на Нарѣжнаго, какъ на будущаго писателя,—сказать съ точностію трудно: можетъ быть, болѣе другихъ имѣлъ вліяніе П. А. Сохацкій, поклонникъ классицизма, бывшій вмѣстѣ и профессоромъ университета и инспекторомъ гимназій. По крайней мѣрѣ первые литературные опыты Нарѣжнаго, относящіеся къ его гимназическимъ еще годамъ, принадлежатъ къ разряду ложноклассическихъ. Таковы, напримѣръ, его поэмы: „Брега Алты“, гдѣ героемъ является Святополкъ, и „Освобожденная Москва“—освобожденная отъ нашествія Тамерлана. Вотъ нѣсколько строкъ изъ послѣдней:

Насталъ день рока: Тамерланъ,
Россійской кровью окропленный,
Взошедъ въ татарскій черный станъ,
Вѣщаль: „Агаряне, внимлите!
Насталъ геройскій часъ; Москва
Не хочетъ быть вольна; спѣшите,
Да въ прахъ падетъ градовъ глава!
Мы стѣны разоримъ, чертоги
Наполнимъ кровью; огонь и дымъ
Пошлемъ, гдѣ обитаютъ боги,
И кто мы—всюду возвѣстимъ.
Толпѣ волковъ, за мной идущей,
Я трупы росски предаю;
Россійской кровью, здѣсь текущей,
Я хищныхъ врановъ упою;
И слава наша надъ звѣздами
Заутра воспаритъ крылами“...

Обѣ поэмы были напечатаны въ 1798 г. въ журналѣ: „Пріятное и полезное препровожденіе времени“, однимъ изъ редакторовъ котораго былъ именно Сохацкій.

Въ студенческіе годы юный поэтъ сталъ пробовать свои силы въ трагедіи: въ 1800 г. онъ написалъ, между прочимъ, слабую трагедію: „Дмитрій Самозванецъ“, въ которой подражалъ „Разбойникамъ“ Шиллера.

Первая мысль приняться за романъ, который и былъ истиннымъ призваніемъ Нарѣжнаго, явилась у него лишь на Кавказѣ.

Оставя университетъ осенью 1801 года, слѣдовательно, не окончивъ въ немъ полного курса (неизвѣстно, по какой причинѣ), Нарѣжный поступилъ на службу „у письменныхъ дѣлъ“ къ правителю Грузіи—Коваленскому. Грузія тогда только что перешла въ подданство русскаго государя. Состояніе страны было ужасное: при послѣднихъ царяхъ своихъ она дошла до полного внутренняго разложенія и анархіи; царевичи въ своихъ удѣлахъ, а дво-

ряне въ своихъ владѣніяхъ своевольничали; крестьяне были разорены; малочисленное войско, нерѣдко вооруженное лишь одними дубинами, не могло служить поддержкою царской власти, не могло и защитить страну отъ безпрестанныхъ набѣговъ сосѣднихъ горцевъ. Къ тому же Грузіи предстояла постоянная опасность и со стороны Персіи и Турціи. Ослабленной, стѣсненной и разоренной, ей не оставалось ничего иного, какъ искать спасенія въ силѣ русскаго государя.—12 сентября 1801 г. подписанъ былъ манифестъ, по которому уничтожалось Грузинское царство и учреждалось такъ называемое „Верховное грузинское правительство“. Главнокомандующимъ въ Грузіи и вообще на кавказской линіи былъ назначенъ генералъ Кноррингъ, а гражданскимъ правителемъ д. с. с. Коваленскій. Императоръ Александръ, конечно, желалъ присоединенной странѣ всякаго блага—и упомянутымъ лицамъ поручилъ „устроить на прочномъ основаніи благоденствіе Грузіи и во всемъ сообразоваться съ нравами, обычаями и умоначертаніемъ грузинскаго народа“. Между тѣмъ и Кноррингъ и Коваленскій, во-первыхъ, медлили своимъ пріѣздомъ, а во-вторыхъ, и по пріѣздѣ дѣйствовали несоотвѣтственно волѣ государя. Безпорядки, злоупотребленія, произволъ продолжались, пока наконецъ правящіе лица не замѣнены были другими.

Нарѣжный пріѣхалъ въ Тифлисъ за нѣсколько мѣсяцевъ до открытія „Верховнаго правительства“, послѣдовавшаго лишь въ маѣ 1802 г., и оставался на службѣ при Коваленскомъ до 14-го мая 1803 г. Такимъ образомъ онъ могъ видѣть Грузію не только во время дѣйствія „Верховнаго правительства“, но и въ послѣдніе дни ея самоуправленія. Результатомъ наблюденій Нарѣжнаго и появился романъ его: „Черный годъ, или горскіе князья“, напечатанный въ 1829 г., но написанный, конечно, несравненно раньше, подъ свѣжими впечатлѣніями видѣннаго.

Романъ этотъ есть главнымъ образомъ сатира на крайне безпорядочное состояніе Грузіи, на дикіе азіатскіе порядки времени ея самоуправленія, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ есть злая сатира и на порядки при управленіи Коваленскаго и Кнорринга. Однако желаніе осмѣять эти лица и ихъ управленіе, видимо, боролось съ чувствомъ страха предъ сильными чиновниками, и авторъ постарался сатиру свою какъ можно болѣе замаскировать, и даже до того, что мѣстомъ дѣйствія является у него не Грузія и Тифлисъ, а уголокъ въ Осетіи, Кабарда и Астрахань. И при всемъ томъ авторъ все-таки не могъ рѣшиться напечатать свой романъ: онъ вышелъ уже по смерти его. Что же касается до литературной

формы, то Нарѣжный въ этомъ отношеніи подражалъ тѣмъ многочисленнымъ иностраннымъ романамъ, которые извѣстны подъ названіемъ „романовъ съ приключеніями“ (romans d'aventures). Подражая имъ, Нарѣжный ввелъ въ рассказъ множество лицъ, множество самыхъ причудливыхъ и часто даже неправдоподобныхъ приключеній, ввелъ очень запутанную любовную завязку, и всѣмъ этимъ придалъ своему роману въ значительной степени видъ очень замысловатой восточной сказки, чтеніе которой, говоря вообще, теперь сопровождается уже чувствомъ немалого утомленія. Но все же тѣ мѣста, въ которыхъ можно видѣть болѣе или менѣе прозрачныя намеки на современность, пробуждаютъ нѣкоторый интересъ.

Суть романа заключается въ слѣдующемъ. Кайтукъ, слабый и ничтожный князекъ одного осетинскаго уголка, мнитъ себя чуть не Великимъ Моголомъ. „Если вѣсить достоинство моего происхожденія на вѣсахъ истины“,—говоритъ онъ,—„то въ семъ отношеніи не уступлю я ни самому Моголу Великому, не говоря уже о мелкихъ азіатскихъ владѣльцахъ, о коихъ послѣ довольно наслышался. Родитель мой былъ одинъ изъ важнѣйшихъ князей, владѣвшихъ на крутизнахъ горъ Кавказскихъ... Обширное владѣніе отца моего простиралось по крайней мѣрѣ на двадцать стадій въ окрестности, а подданныхъ было не менѣе ста домовъ. Кто-нибудь скажетъ: это весьма не много! Но развѣ не все равно, если бы ихъ было и нѣсколько тысячъ? Быть владѣтелемъ одного или сотни подобныхъ себѣ существъ, кажется, не составляетъ большой разности. У него были два верблюда, которыхъ называлъ онъ горбатыми слонами, до ста горскихъ лошадей и довольно число быковъ и коровъ; а овецъ, барановъ, козловъ и козъ—тъма тьмуца“¹⁸⁴).

Невѣжественный, но гордый Кайтукъ, отъ лица котораго и ведется рассказъ въ романѣ, устраиваетъ свой дворъ на подобіе дворовъ большихъ азіатскихъ государствъ: одного изъ приближенныхъ нарекъ онъ визиремъ, другого—сардаромъ (главнокомандующимъ), третьяго—назиромъ (казнохранителемъ). Но такъ какъ княжеская казна была въ достаточной мѣрѣ пуста, то для пополненія ея визирь Шамагулъ, великій политикъ, придумалъ учредить орденъ нагайки и сочинилъ его уставъ. Самыми важными статьями устава были 10-я и 11-я: онѣ гласили, что всякій пожалованный новымъ орденомъ обязанъ „съ благоговѣніемъ подставить спину свою для принятія дюжины полновѣсныхъ ударовъ нагайкою“, а затѣмъ, по полученіи самаго ордена, т.-е. того орудія, которое только что

производило знаки на его спинѣ, а потомъ втыкалось ему за поясъ для постояннаго ношенія, обязанъ онъ уплатить въ княжескую казну десять юзлуковъ (т.е. 10 золотыхъ персидскихъ монетъ).

Когда Шамагулъ прочелъ Кайтуку эти статьи, тотъ вскричалъ съ восторгомъ: „Превосходно! Статья десятая и одиннадцатая достойны быть написаны золотыми буквами. Онѣ возвеличиваютъ славу нашу и утучняютъ государственную мошну. А чтобы дѣло это было еще полнѣе, то поставь двѣнадцатую статью, что князь властенъ жаловать одного и того же человѣка кавалеромъ столько разъ, сколько государственная польза того потребуетъ“.

Кто не хотѣлъ „добровольно имѣть честь быть кавалеромъ“ изобрѣтеннаго ордена, того жаловали имъ насильно, но въ такомъ случаѣ жалуемый, вмѣсто положенной по уставу одной дюжины ударовъ, получалъ ихъ дюжинъ до десяти.

Само собою разумѣется, что подданные такими порядками не весьма были довольны, тѣмъ болѣе, что уставъ ордена нагайки позволялъ кавалерамъ всякаго рода безчинства и насилія. Къ тому же и самъ Кайтукъ не отличался большимъ уваженіемъ къ стариннымъ обычаямъ своего народа.

Къ недовольству внутри присоединилось и недовольство извнѣ: желая вступить въ бракъ съ прекрасною Сафирой, Кайтукъ нашелъ себѣ соперника въ Кубашѣ, сынѣ сосѣдняго князя Кунака, и чтобы отдѣлаться отъ него, онъ заманилъ его въ ловушку, поймалъ и посадилъ въ землянку. Кунакъ объявилъ Кайтуку войну. Войско Кунака было вооружено исправно, а воины Кайтука по большей части лишь однѣми дубинами да орденскими нагайками. Кайтукъ сраженіе проигралъ и долженъ былъ бѣжать. Отсюда начинается повѣствованіе о длинномъ рядѣ бывшихъ съ нимъ приключеній, послѣ которыхъ онъ, благодаря хитроумному своему визирю Шамагулу, снова становится княземъ своего народа, женится на Сафирѣ, и дѣлается государемъ добрымъ и мудрымъ. Мѣстомъ приключеній Кайтука являются главнѣйшимъ образомъ Моздокъ, Кизляръ и Астрахань.

Въ очеркѣ Кайтукова княжества есть, безъ сомнѣнія, намекъ на тогдашнее печальное состояніе Грузіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ чертахъ самого Кайтука и его визиря Шамагула можно узнать отчасти и черты Коваленскаго, который тоже позволялъ себѣ разнаго рода злоупотребленія и неуважительно относился къ обычаямъ той страны, которою управлялъ. Къ нему-то и надо относить нѣ-

которыя замѣчанія автора, высказываемыя то отъ того, то отъ другого лица романа, замѣчанія въ родѣ слѣдующихъ:

„Положимъ, что власть законная должна обуздывать стремленіе буйства, какъ мы обуздываемъ дикаго коня: но тутъ всегда должны быть присутственны кротость и строгая, разсмотрительная справедливость, а не одно слѣпое киченіе и насильство“ (ч. I, 148—149). Коваленскій именно и отличался высокоуміемъ, и строгая справедливость при немъ вовсе не была „присутственна“.

„Всякія новизны, вводимыя владѣтелемъ въ своемъ народѣ, могутъ вводимы быть только исподволь, непримѣтно, и такимъ владѣтелемъ, который пріобрѣлъ къ себѣ довѣренность, любовь и почтеніе своею мудростью, опытностью въ правленіи“ (I, 172—173). Коваленскій не только круто вводилъ новые порядки, но вводилъ ихъ такъ, что возбуждалъ сильное неудовольствіе въ странѣ и даже волненія.

Черты личности Кнорринга, жившаго то въ Кизлярѣ, то въ Моздокѣ, и имѣвшаго право контролировать дѣйствія Коваленскаго, но относившагося къ дѣламъ въ Грузіи съ какимъ-то равнодушіемъ, черты этого главнаго начальника можно замѣтить въ астраханскомъ ханѣ Самсутдинѣ, который относится къ управленію апатично, слѣпо довѣряетъ своимъ любимцамъ и всего болѣе дорожитъ покоемъ и вкуснымъ обѣдомъ.

Впрочемъ многія мѣста романа таковы, что ихъ одинаково можно относить какъ къ порядкамъ чисто грузинскимъ, такъ и къ порядкамъ управленія лицъ, посланныхъ императоромъ Александромъ. Таково, напримѣръ, слѣдующее мѣсто. Кайтукъ засѣдаетъ въ Совѣтѣ. Стражъ, караулившій землянку Кубаша, уже провѣдалъ о намѣреніи Кунака начать войну съ Кайтукомъ, и, встревоженный, вбѣгаетъ въ Совѣтъ. „Мы всѣ“—разсказываетъ Кайтукъ—„единогласно ахнули, и на вопросъ: что это значитъ? получили въ отвѣтъ: «О князь! о вы, мудрые совѣтники! выслушайте общую опасность».—Говори, сказалъ я. И едва воинъ разинулъ ротъ пошире, дабы вѣшать явственнѣе, какъ одинъ изъ придворныхъ служителей вбѣжалъ еще проворнѣе, и объявилъ, что если мы будемъ мѣшкать въ своемъ Совѣтѣ, то весь обѣдъ простынетъ и—хоть брось!—Совѣтники уважили такое представленіе, замѣтивъ, что *слушать объ опасностяхъ, угрожающихъ отечеству, никогда не поздно; а если прозывать обѣдъ, такъ надо будетъ ждать ужина!* Замѣчаніе сіе мнѣ понравилось; я пригласилъ важнѣйшихъ особъ къ своему обѣду, а воину велѣлъ

дожидать на дворцовомъ крыльцѣ, пока позванъ не будетъ“ (I, 106—107).

Тутъ авторъ зло посмѣялся вообще надъ тѣми правителями, русскими или грузинскими, которые свои личные интересы, и притомъ часто низменные, ставили выше долга.

Дальнѣйшія біографическія свѣдѣнія о Нарѣжномъ.—Его „Славенскіе вечера“.—Вліяніе на нихъ произведеній западно-европейской литературы и памятниковъ русской старины.—Отсюда—пестрый ихъ характеръ.—Субъективный элементъ въ нихъ, опредѣляющій чувства, мысли и идеалы автора.

Оставивъ въ 1803 г. службу на Кавказѣ, Нарѣжный пріѣхалъ изъ Тифлиса въ Петербургъ, гдѣ и получилъ очень незначительное мѣсто въ Экспедиціи государственнаго хозяйства (по министерству внутреннихъ дѣлъ). „При отсутствіи данныхъ“,—говоритъ біографъ Нарѣжнаго,—„трудно рѣшить, какими путями Василій Трофимовичъ получилъ мѣсто въ Петербургѣ, чуждомъ для него городѣ, такъ какъ, повидимому, не обладалъ искусствомъ заводить полезныя знакомства и находить сильныхъ покровителей“.—Можетъ быть, онъ обязанъ былъ въ этомъ отношеніи своему университетскому образованію,—предполагаетъ біографъ,—а можетъ быть, и рекомендательнымъ письмамъ ¹³⁵). Какъ бы то ни было, но служба въ означенной Экспедиціи отнимала у Нарѣжнаго очень много времени, ибо графъ Кочубей, обративъ вниманіе на государственное хозяйство, вводилъ преобразование за преобразованиемъ—и чиновники были заняты усиленной работой. Этимъ и объясняется, почему въ литературной дѣятельности Нарѣжнаго произошла значительная остановка. Только съ переходомъ на службу въ Горную экспедицію, въ 1807 г., явилось у него больше свободнаго времени, и въ 1809 г. онъ напечаталъ свои „Славенскіе вечера“.

„Славенскіе вечера“—это рядъ небольшихъ повѣстей. Всѣхъ ихъ 11, но въ 1809 г. вышло только 8, а остальные были прибавлены позднѣе. Нѣкоторое понятіе объ этихъ повѣстяхъ даетъ уже слѣдующее маленькое къ нимъ вступленіе.

„На величественныхъ берегахъ моря Варяжскаго, тамъ, гдѣ вѣчно-юныя сосны смотрятся въ струи Невы кроткія, въ отдаленіи отъ пышнаго града Петрова и вѣчнаго грохота, по стогнамъ его звучащаго,—при склонѣ солнца багрянаго. съ неба свѣтлаго въ волны румяныя, часто люблю я наслаждаться красотой земли и неба великолѣпнѣмъ, склонясь подъ тѣнь деревъ высокихъ, и обращая въ мысляхъ времена протекшія“.

„Тамо иногда сонмъ друзей моихъ и прелестныхъ дѣвъ земли Русскія окружаетъ меня. Кроткое пѣніе ихъ разливается по берегу, и, журча вдали среди кустовъ зеленыхъ, теряется въ пространствѣ воздуха.“

„Иногда берутъ они звонкія орудія, и свѣтлыми звуками ихъ прославляютъ величіе добродѣтели и вѣрныхъ друзей ея. Потомъ—гласы ихъ смягчаются, звоны орудій едва примѣтны. Они поютъ любовь невинную и ея пріятности.“

„Въ кроткомъ упоеніи души я вѣщаль имъ:

«Видѣлъ я страны чуждыя и красоты земель отдаленныхъ; видѣлъ весну цвѣтнѣе, видѣлъ лѣто блистательнѣе, видѣлъ осень обильнѣе благословеніями полей и вертоградовъ, нежели въ странѣ нашей; но нигдѣ не видалъ я старцевъ почтеннѣе, мужей величественнѣе, юношей любезнѣе и дѣвъ прекраснѣе, какъ въ землѣ Славеновой».

«Воспой намъ», вѣщали они мнѣ: «воспой намъ пѣсни о доблестяхъ витязей и прелестяхъ дѣвъ земли Русскія во времена давно-протекшія!»

«Исполню желанія ваши», отвѣтствовалъ я. «При закатѣ солнца, лѣтняго въ воды тихія, приходите сюда внимать моему пѣнію. Повѣдаю вамъ о подвигахъ ратныхъ предковъ нашихъ и любезности дѣвъ земли Славеновой»¹⁸⁶).

Затѣмъ слѣдуютъ самыя повѣсти:

1) Кій и Дулебъ, 2) Славенъ, 3) Рогдай, 4) Велесиль, 5) Громобой, 6) Ирена, 7) Мирославъ, 8) Михаилъ (князь черниговскій, замученный въ Ордѣ Батыемъ), 9) Любославъ, 10) Игорь (мужъ Ольги). Всѣ сюжеты взяты изъ древне-русской жизни, и только послѣдняя повѣсть—„Александръ“—относится къ событіямъ, современнымъ автору. Сперва мы будемъ говорить только о первыхъ десяти повѣстяхъ.

По содержанію своему, повѣсти „Славенскихъ вечеровъ“ представляютъ смѣсь отчасти лѣтописныхъ и былинныхъ разсказовъ, отчасти мотивовъ, заимствованныхъ изъ западно-европейской литературы, а отчасти и плодовъ собственной фантазіи автора. Вотъ, напримѣръ, какъ составлена повѣсть: „Михаилъ“. Князь черниговскій находится въ плѣну въ Золотой Ордѣ. Въ него влюбляется дочь Батыя—Зюлима, прекрасная, какъ Афродита, „когда она впервые явилась въ сословіе боговъ“, или какъ „юная Лада, дочь Свѣтовиды и Царицы земли, когда она впервые, на берегахъ Буга, при восклицаніяхъ цѣлой природы, открыла прекрасное лицо свое“. Зюлима проситъ у отца согласія на бракъ

съ Михайломъ. Батый ставитъ условіемъ, чтобы Михайлъ поклонился Магомету. „Какъ скоро началъ я чувствовать себя, поклялся быть вѣрнымъ Богу и отечеству, и съ симъ чувствомъ сниду въ гробъ“—былъ отвѣтъ князя. Михайлъ принимаетъ мученическую смерть, а Зюлима закалываетъ себя кинжаломъ.—Авторъ, конечно, пользовался сказаніями о Михайлѣ Черниговскомъ, вѣрно изобразилъ его характеръ, какъ мужественнаго человѣка, какъ твердаго христіанина, умирающаго за вѣру, но внесъ въ повѣсть, какъ плодъ своей фантазіи, романическій элементъ.

Еще болѣе дано мѣста фантазіи въ другихъ повѣстяхъ. Многія изъ нихъ писались подъ очевиднымъ вліяніемъ рыцарскихъ романовъ. Это вліяніе болѣе всего сказалось въ повѣсти „Громобой“.

Громобой, „оруженосецъ“ Добрыни, служилъ до того оруженосцемъ у косожскаго князя, въ дочь котораго и влюбился. Княжна платила ему взаимностью. Но такъ какъ руки ея искали многіе, то участь соперниковъ должна была рѣшиться при помощи состязанія оружіемъ, т.-е. чѣмъ-то въ родѣ турнира. Громобой оказался побѣдителемъ, но тутъ новое препятствіе: князь не хочетъ выдать дочь за простаго оруженосца. Громобой покидаетъ косожскую землю и поступаетъ на службу къ Добрынѣ. Добрыня, узнавъ о горѣ Громобоя, везетъ его къ князю Владимиру, и тотъ „опоясалъ оруженосца мечомъ витязя и возложилъ на грудь его гривну княжескую“. Между тѣмъ на косожскаго князя напали враги; Громобой и Добрыня спасаютъ его, и „великій слугитель Лады совокупилъ чету прелестную“.

Нельзя также не замѣтить вліянія и пѣсенъ Оссіана, переводъ которыхъ на русскій языкъ вышелъ еще въ 1792 г. Нарѣжный усвоилъ торжественный тонъ этихъ пѣсенъ и форму обращенія къ природѣ, на примѣръ, къ солнцу, мѣсяцу, звѣздамъ, вѣтру и проч. Такъ, на примѣръ, повѣсть: „Михайлъ“ начинается такимъ обращеніемъ къ солнцу: „Ты склоняешься уже, солнце небесное, отъ взоровъ нашихъ! Въ послѣдній разъ сего вечера златишь ты жемчужныя крылія облака легкаго, на коемъ нѣкогда, во дни давнопротекшіе, безплотные духи витязей любили покоиться и въ послѣдній разъ упиваться вечернимъ свѣтомъ твоимъ. Посли же, солнце небесное, посли къ намъ звѣзду вечернюю и мѣсяцъ серебряный; я хочу пѣть о любви къ отечеству, священной любви, достойной мужа великаго, но и еще священнѣйшей—любви къ вѣрѣ отцовъ своихъ“.

Усвоена Нарѣжнымъ и Оссіановская манера изображать мрачныя и грозныя картины природы. Такъ, на примѣръ, повѣсть: „Кій и Дулебъ“, въ которой повелитель дикихъ племенъ Дулебъ убиваетъ себя изъ-за того, что не хочетъ быть рабомъ Кія, заканчивается слѣдующимъ образомъ. Дулебъ убилъ себя собственною стрѣлою; Кій, изъ уваженія къ его храбрости „въ дни битвъ кровавыхъ“, велѣлъ надъ тѣломъ князя насыпать высокій курганъ такъ, чтобы растущіе кедръ и сосны осѣняли его подножіе. И рассказавъ объ этомъ, авторъ прибавляетъ: „Часто, въ бурную ночь, когда вѣтры потрясали въ корнѣя древа сіи вѣчно-зеленыя; когда молніи, разсѣкая небо, и громы, рыкая на вершинахъ горъ, приводили въ трепетъ неустрашимыхъ странниковъ; когда мѣсяцъ, едва мерцающій сквозь тучи свинцовыя, блѣдно посребрялъ крылья ихъ быстротекушія,—часто ловцы звѣрей и странные витязи видѣли, какъ духъ Дулебовъ, въ видѣ столба огненного, грозно носился надъ вмѣстилищемъ праха своего, опершись на облака громовыя“.

Въ духѣ Оссіана написано и начало повѣсти: „Славенъ“. „Мрачна душа моя, подобно дню осеннему“,—говоритъ о себѣ авторъ:—„мысли мои разсѣяны, какъ легкія струи тумана, вѣтромъ развѣваемаго; хладны чувства мои, какъ снѣга, покрывающіе берега озера Ильменя, когда бѣлая зима одѣнетъ ихъ мрачною ризой. Много великихъ и сильныхъ склонили тамъ главы свои,—но гдѣ имена ихъ?—Процвѣтали грады и веси многолюдныя,—но гдѣ мѣста ихъ существованія? Увы! Се ли награда доблести? Се ли утѣшеніе въ трудахъ, коими пріобрѣтается слава міра сего?—пріобрѣтается имя Великаго? Двадцать шестую весну жизни моей встрѣчаю я на каменистомъ берегу семъ, въ который ударяются свирѣпѣющія волны моря Варяжскаго. Дико воетъ вѣтеръ въ ущелья кремнистыя,—и душа моя не находитъ мира и радости въ обновляющейся природѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ впервые взглянулъ я на страну подлунную, и первый вопль мой ознаменовалъ участь жизни, до сихъ минутъ сколько пало царей съ ихъ престолами! Сколько областей вольныхъ преклонили главы подъ цѣпями буйства и насилія! сколько мужей славныхъ и великихъ сокрыты въ могилахъ или осуждены не видать страны отеческой, не дышать воздухомъ привычнымъ, не зрѣть солнца надъ гробами отцовъ своихъ. Участь, ужаснѣйшая смерти!“

Но вліяніе произведеній западно-европейской литературы на „Славенскіе вечера“ было во всякомъ случаѣ, такъ сказать, входящимъ; главнымъ же побудителемъ къ составленію этихъ по-

вѣстей, въ которыхъ прежде всего брасается въ глаза обращеніе Нарѣжнаго къ русской старинѣ, былъ, конечно, начавшій распространяться у насъ интересъ къ изученію нашей древности. Правда, интересъ этотъ не захватывалъ еще большого круга людей: общество жило главнымъ образомъ тѣмъ, что шло изъ Франціи, галломанія доходила до огромныхъ размѣровъ,—но все же былъ кружокъ людей, хотя и весьма ограниченный, который обратилъ свое вниманіе на русскую старину. Еще въ концѣ XVIII в. стали издаваться наши старинные историческіе памятники; въ 1800 г. появилось изданное Мусинымъ-Пушкинымъ „Слово о полку Игоревѣ“; въ 1804 г. вышло собраніе былинъ, сдѣланное Киршей Даниловымъ. Это движеніе въ сторону, противоположную французскому теченію, коснулось, очевидно, и Нарѣжнаго—и онъ захотѣлъ „повѣдать“ своимъ современникамъ „о подвигахъ ратныхъ предковъ нашихъ и любезности дѣвъ земли Славеновой“.

Но авторъ не умѣлъ еще выдержать колорита русской старины, не умѣлъ остаться вѣрнымъ исторической правдѣ, и повѣсти его явились смѣсю и русскаго съ нерусскимъ и историческаго съ вымысломъ. Вслѣдствіе этого характеръ повѣстей представляется именно какимъ-то пестрымъ. Пестрымъ же характеромъ отличается и самый слогъ ихъ. Отчасти это—языкъ Карамзинскій, отчасти—такой, который могъ бы понравиться и любителю стариннаго слога—Шишкову. Болѣе всего архаизмовъ, какъ справедливо замѣтила Бѣлозерская, встрѣчается въ повѣсти: „Любославъ“. Вотъ образчикъ:

„Любославъ восклонился на руку, поднялъ очи свои и воззвалъ къ небу, звѣздами цвѣтущему: «Почто, мѣсяцъ любезный, такъ кротко помаваешь ты жемчужными власами... Покрой, о мѣсяцъ, кристальное чело свое тучею непроницаемой; отклоните, звѣзды, яркіе взоры свои отъ князя несчастнаго! Для духа моего способнѣе, вожделѣннѣе блуждать въ дубравахъ мрачныхъ, подъ наметомъ пасмурнаго неба, озаряемымъ златою молніею»... Возсталъ и пошелъ... Ношъ прошла въ пѣшешествіи“ и проч.

Однако, сколько бы ни было погрѣшностей въ „Славенскихъ вечерахъ“, все же они были обращеніемъ къ нашей старинѣ—и уже это одно очень важно. Первые попытки воспроизводить нашу старину, каковы, напримѣръ, повѣсти Карамзина и „Славенскіе вечера“ Нарѣжнаго, и не могли быть вполне удачными, но важно уже то, что ими положено начало обработкѣ русскаго историческаго романа.

Г. Бѣлозерская, остановясь довольно долго на „Славенскихъ вечерахъ“, ничего однако не сказала объ отразившейся въ нихъ личности самого автора, а между тѣмъ этотъ субъективный элементъ въ разсматриваемыхъ повѣстяхъ Нарѣжнаго нельзя не считать очень важнымъ: имъ опредѣляются мысли и чувства автора и его идеалы. „Славенскіе вечера“—это тоже своего рода проповѣдь гуманности, при чемъ авторъ ясно обнаруживаетъ свою мысль, направленную къ той истинной, культурности, которая дѣлаетъ человѣка человѣкомъ.

Уже первая повѣсть: „Кій и Дулебъ“ занята проповѣдью человѣчности. „Дикія толпы, скитавшіяся среди горъ Днѣпровскихъ, познали благо общежитія и покорили умы свои Кію, мудрому князю полянскому. Онъ далъ имъ миръ и судъ, поучалъ народы свои познавать боговъ и чтить ихъ велѣнія“. Противоположность Кію представлялъ „покрытый кожею медвѣдя, окруженный тысячами дикихъ своихъ послушниковъ, лютый Дулебъ. Онъ упивался кровью плѣнныхъ, и дикій, неистовый вопль радости его народа мѣшался съ ревомъ звѣрей пустынныхъ“. Этого-то Дулебъ задумалъ однажды посвататься за дочь Кія—Лебеду. Кій поставилъ условіемъ, чтобы Дулебъ со своимъ народомъ оставилъ суровый образъ жизни и покорился человѣчнымъ „законамъ Кіевымъ“. Дулебъ не согласился—и объявилъ Кію войну. Оба войска уже стоятъ другъ противъ друга. Изъ среды кіевлянъ выдѣляется старецъ, напоминающій Оссіановыхъ бардовъ, и поетъ:

„Хвала и честь мужамъ мудрости! Гибель и поношеніе сынамъ гордости и неразумія!“

«Куда стремитесь вы, обитатели горъ и вертеповъ? чего ищете вы, бурныя дѣти страстей своихъ?»

«Веселіе питаетъ душу земного странника; но веселіе кровопролитіемъ не обрѣтается!—Радость свойственна душамъ нашимъ; но радость не обитаетъ въ долинахъ, устланныхъ трупами!—Необходимо для духа великаго искать блага; но кто обрѣтетъ его въ насиліи?»

«Куда жъ стремитесь вы, обитатели горъ и вертеповъ? Чего ищете вы, бурныя дѣти страстей своихъ?»“.

Пѣсня произвела впечатлѣніе на воиновъ Дулеба, они опустили булавы и, опершись на нихъ, въ изумленіи внимали словамъ старца, который продолжалъ:

„Что есть настоящая радость ваша?—Она есть веселый вопль звѣря пустыннаго, терзающаго въ когтяхъ своихъ добычу робкую!—Но радость таковая не есть удѣлъ чело^{вѣ}чества“.

«Что есть слава ваша?—Слава духа Чернаго, утѣшающагося бѣдствіемъ и преступленіемъ человѣковъ!—*Но не таковая слава опредѣлена благороднѣйшему изъ созданий*».

«Что есть вся жизнь ваша?—Она есть мракъ дубравной пещеры, въ которой вѣютъ вѣтры буйные, раздаются стонъ—и звѣри дикіе съ ужасомъ уклоняются.—*Но таковая ли жизнь назначена наперснику небесъ?*»...

«Вы возвращаетесь съ полей битвы, пораженные. И пустынные супруги ваши не прольютъ слезъ сожалѣнія! Вы не дали имъ познать радостей жизни и прелестей свободы!»

«Вы возвращаетесь побѣдителями. И робкія подруги жизни вашей, и юные плоды любви вашей не встрѣчаютъ васъ улыбкою! Они привыкли взирать на васъ побѣдителей, какъ на буйныхъ властелиновъ, прихотливыхъ рабовъ гордости и жестокостей!»

«Что же вся жизнь ваша, когда солнце радости не озлащаетъ дней вашихъ; когда мѣсяцъ, протекая nocturne небо ваше, изливаетъ лучи свои на страну хладнаго унынія?»

Дулебяне еще больше поддались вліянію пѣсни, „мракъ и звѣрство улетѣли съ ланить ихъ“. А старецъ между тѣмъ пѣлъ далѣе:

„«Обратитесь же, сыны мрака и горести, на путь жизни истинной—и вы будете мгновенно друзья и братья племени полянскому, вы учинитесь дѣти свѣта и веселія. Улыбка возсіяетъ на лицахъ вашихъ, и въ дому вашемъ водворится цѣль жизни нашея, награда величія, утѣшеніе во дни мрака душевнаго, отрада во всякое время, водворится любовь со всѣми своими прелестями»“.

Старецъ побѣдилъ дулебянъ: они захотѣли „познать счастье жизни“, и „оба воинства заключили другъ друга въ братскія объятія“. Только самъ Дулебъ не согласился подчиниться „законамъ Кіа“: гордость и злоба волновали его грудь—и онъ вонзилъ въ нее свою собственную стрѣлу.

Проповѣдуя гуманность, авторъ „Славенскихъ вечеровъ“ вмѣстѣ съ тѣмъ горько жалуется на людскую неправду и развращенность. Эту жалобу свою онъ влагаетъ въ уста Любослава, когда заставляетъ его обратиться къ иноку Іоилу съ слѣдующими словами: „Святой обитатель дубравы! я пришелъ къ тебѣ повѣдать скорбь души моей и просить совѣта: могу ли я еще на землѣ сей обрѣсти счастье? или оно уже не существуетъ для меня въ мірѣ семъ, исполненномъ неправды и разврата?“ ¹⁸⁷⁾ Иногда мысль о людской неправдѣ погружаетъ автора въ глубокую скорбь, находящую себѣ утѣшеніе только въ мысли о небесномъ Право-

судии. „Благословляю Тебя, существо непостижимое, но великое и благодѣтельное!“—говорить онъ устами старца Мирослава.— „Познаю вину истинную, почто Богъ любви и милосердія ополчается гнѣвомъ великимъ, разрушаетъ жизнь, прежде дарованную,—и приводитъ въ трепетъ міры съ ихъ обитателями!—И теперь, когда гремишь Ты въ превыспреннихъ... когда риза Твоя горитъ огнями поражающими,—и теперь есть убійцы и хищники, есть клятвопреступники и обольстители.—Что же было бы на землѣ несчастливой, когда бы злобныя обитатели ея непрерывно зрѣли вѣчную благодѣтельную Твою, никакими злодѣйствами неизмѣняемую?“ ¹³⁸).

Скорбный тонъ автора слышится и во многихъ другихъ мѣстахъ „Славенскихъ вечеровъ“, напр.: „Богъ создалъ людей и оградилъ ихъ крѣпостію мышцъ не для того, дабы они, подобно звѣрямъ хищнымъ, ловили другъ друга въ добычу своему неистовству“,—говоритъ у него Θεодоръ, бывший въ Ордѣ съ Михаиломъ ¹³⁹).

Замѣчательно слѣдующее мѣсто въ началѣ повѣсти: „Громобой“: „Спокойствіе въ Россіи воцарилось... Но есть страны иныя, есть люди не русскіе, есть области цѣлыя, гдѣ невинность угнетается, гдѣ доблесть не получаетъ награды должная, гдѣ великіе исполнены лжи и жестокости, и князья на тронахъ бездѣйствуютъ; гдѣ льются слезы кровавыя, и болѣзненные стоны къ небу возлетаютъ!“ ¹⁴⁰). Въ этомъ мѣстѣ можно видѣть, пожалуй, отчасти еще грузинскія воспоминанія, но можно видѣть и намекъ на Наполеоновскія войны. Кого же, какъ не Наполеона разумѣетъ авторъ подъ „жестокимъ честолюбцемъ“ (въ пов. „Любославъ“) и подъ „гордыми властелинами сего времени, забывшими права правды и человѣчества?“ (въ пов. „Славенъ“) Къ этому „жестокому честолюбцу“ авторъ и обращаетъ свою рѣчь, вложенную имъ въ уста старца Іоила: „Державный повелитель... Ты жаждаль славы. Похвально было стремленіе души твоей. Но развѣ слава пріобрѣтается хищеніемъ и убійствами? Не для того мечъ данъ мужу сильному, чтобы поражать слабыхъ и невинныхъ; но да обороняетъ ихъ отъ неправедныхъ! Что есть князь славы? Онъ есть благодѣтель своихъ подданныхъ. Кто жестокихъ честолюбцевъ называлъ славными? Нашлось ли хотя одно сердце, которое во внутренности своей благословляло бы неистоваго Нерона, безумнаго Калигулу, свирѣпаго Тамерлана и безчеловѣчнаго Аттилу! Съ ужасомъ и достойнымъ проклятіемъ произносятся имена сихъ изверговъ рода человѣческаго, и небесное проклятіе опочіетъ на костяхъ ихъ до скончанія вѣковъ!—Неужели плавающее въ крови человѣчество воздвигнетъ алтари чудовищу?“ ¹⁴¹).

И въ той же повѣсти: „Любославъ“ читаемъ слѣдующее назиданіе правителямъ, изъ котораго видно, каковъ былъ у Нарѣжнаго идеалъ монарха. „Не въ побѣдахъ бранныхъ, не въ торжествахъ кровавыхъ, не въ имени завоевателя—приобрѣтается счастье владыкъ земли! Пройдутъ мѣсяцы и годы, пройдутъ вѣки цѣлые; мѣдъ и мраморъ сокрушатся, истлѣютъ кости и въ прахъ обратятся; все исчезнетъ, кромѣ воспоминанія добродѣтели или злодѣйства. Отдаленнѣйшее потомство или прославитъ, или предастъ проклятію души наши.—Блаженъ, стократно блаженъ тотъ, кто цѣлыми племенами, по разрушеніи земного бытія своего, отъ безпристрастнаго потомства нареченъ будетъ добродѣтельнымъ! Истинный, великій Судія міра не отринетъ его отъ отеческихъ взоровъ своихъ“ ¹⁴²⁾.

Если Наполеонъ былъ въ глазахъ Нарѣжнаго полнымъ противорѣчіемъ его идеалу монарха, то зато императоръ Александръ своимъ отношеніемъ къ побѣжденному врагу удовлетворялъ его вполне, и Нарѣжный выразилъ свои чувства въ напечатанной въ 1819 г. повѣсти, озаглавленной именемъ побѣдителя.

Александръ съ своими войсками стоитъ подъ Парижемъ. Онъ задумался, а потомъ говоритъ своему сподвижнику: „Воззри на древнюю Лютецію... Сколько прошло вѣковъ отъ ея рожденія! Сколько роды родовъ въ стѣнахъ ея благоденствовали!... Но настанетъ утро—и по манію перста моего раздадутся новые громы, падутъ твердыя стѣны, раздастся плачъ и вопль—и сего града не станетъ!... Вопросить потомство отдаленное: кто произвелъ гибель сію, сіе опустошеніе ужасное?—Александръ!—будетъ отвѣтъ исторіи.—О! какъ ужасаюсь я мысли, столь для другихъ обольстительной мысли, если присовокупятъ къ тому: сей повелитель Сѣвера предалъ на жертву мечу и пламени тысячи тысячъ мужей, женъ и младенцевъ, дабы удивленные и уstraшенные народы къ прочимъ титуламъ его придали и титуло Великаго!“—Сказалъ—и „свѣтлая слеза заблестала въ небесныхъ очахъ его“.

„Знаю обязанность сана моего къ моему отечеству“,—говорить далѣе Александръ:—„знаю все право свое, по коему ополчился я бранію противу дерзкаго нарушителя обѣтовъ царскихъ, хищника спокойствія земли Русской!... Такъ, величіе сана, облакающаго меня по волѣ Провидѣнія, велитъ мнѣ любить россиянь, какъ дѣтей своихъ... Но почему жъ семейство мое осудитъ меня, если я хочу, для его же пользы и славы, усыновить еще постороннихъ, только бы они были того достойны? Любовь моя хочетъ, жаждетъ принять въ объятія свои всѣ племена и народы

102
земные, благословить ихъ родительскимъ благословеніемъ и воззвать къ нимъ: дѣти! никогда не уклоняйтесь отъ закона правды—и вы благополучны!“

Александръ и поступилъ согласно влеченію своего сердца, и могъ сказать о себѣ: „Душа моя во всей полнотѣ чувствуетъ благо быть владыкою—благотворителемъ народовъ“.

Повѣсть заканчивается слѣдующимъ образомъ. Александръ „опустилъ въ ножны мечъ свой и, простря десницу къ старѣйшинѣ галловъ, вѣщаль: «Несчетны жертвы вашего безумія; но чей взоръ проникнетъ завѣсу судебъ Вышняго? и вы познали во чреду свою, koliko несчастенъ дѣлающій другихъ несчастными! Возстаньте! течемъ во градъ осиротѣлый, и тамъ, во храмахъ, принесемъ благодарственныя мольбы Богу кротости и милосердія»... Вѣщаль—и пошелъ ко граду. Галлы и россияне, забывшіе купно и мрачное недовѣріе и вопль мщенія, ему послѣдовали. Кроткое умиленіе озлащало взоры каждаго. Судьба нѣсколькихъ народовъ опочила тихо на устахъ Александровыхъ. Съ воплями радостными приняли граждане гостей своихъ въ стѣны парижскія, и тамъ, гдѣ нѣкогда пролилась святая кровь Людовика, тамъ, по мановенію Александра державнаго, воздвигся алтарь священный,—и примиренные имъ народы совокупно простерли къ небу мольбы благодарности“.

Очень можетъ быть, что на такую проповѣдь человѣчности, какова въ „Славенскихъ вечерахъ“, и вообще на подобныя проповѣди въ нашей литературѣ, начиная съ Карамзинскаго времени, стануть у насъ смотрѣть серьезнѣе, чѣмъ это дѣлается теперь, и очень можетъ быть, что мысль Халанскаго о томъ, что проповѣдь эта есть выдающееся явленіе въ нашей литературѣ XIX вѣка, обратить на себя должное вниманіе.

Еще двѣ повѣсти изъ древне-русской жизни. — Скудость біографическихъ свѣдѣній о Нарѣжномъ.—Его романъ: „Россійскій Жилблазъ“.—Его повѣсти: „Аристіонъ“, „Марія“ и „Запорожецъ“.

Есть у Нарѣжнаго еще двѣ повѣсти изъ древне-русской жизни, которыя не вошли въ составъ „Славенскихъ вечеровъ“, а были напечатаны въ „Цвѣтникъ“ 1810 г. Одна изъ нихъ называется: „Георгій и Елена“, другая—„Анастасія“. По характеру своему онѣ однако вполнѣ примыкають къ повѣстямъ, изданнымъ годомъ раньше. Сюжетъ первой повѣсти заимствованъ авторомъ изъ преданія

объ основаніи тверского Отрочь-монастыря въ XIII в. Георгій, витязь черниговскаго князя Изяслава, выбралъ себѣ невѣсту, красавицу Елену. Чета стоитъ уже въ церкви и ждетъ вѣнчальнаго обряда. Въ церковь же входитъ и Изяславъ. Пораженный красотою Елены, онъ подходитъ къ ней и спрашиваетъ, желаетъ ли она раздѣлить съ нимъ тронъ и власть великаго княженія.— „Богъ и повелитель управляютъ участію рабовъ своихъ!“—отвѣчаетъ Елена и протягиваетъ руку къ Изяславу. Князь становится на мѣсто Георгія. Послѣдній же постригается въ монахи и кладетъ основаніе „обители великой“. Сюжетъ второй повѣсти основанъ на соперничествѣ двухъ братьевъ, Симеона и Іоанна, сыновей туровскаго князя, изъ-за красавицы Анастасіи питомицы ихъ отца. Князь предоставилъ Анастасіи выборъ, и кого изъ сыновей его она выберетъ, тотъ и будетъ не только ея мужемъ, но и наслѣдникомъ княжескаго престола. Анастасія выбираетъ младшаго—Іоанна. Симеонъ послѣ этого скрылся. Но когда насталъ день брака, онъ является въ видѣ таинственнаго рыцаря и вызываетъ Іоанна на поединокъ. Счастье было на сторонѣ Іоанна.— „Кто ты, дерзкій незнакомецъ?“—спрашиваетъ онъ у лежащаго уже на землѣ Симеона.— „Не желай знать имени моего, ежели не хочешь вѣчно страдать и раскаиваться“,—отвѣчаетъ побѣжденный, и закалываетъ себя кинжаломъ. Іоаннъ женится на Анастасіи.

Въ этой повѣсти вліяніе рыцарскихъ романовъ отразилось съ особенной силой.

Биографическія свѣдѣнія о Нарѣжномъ, скудныя вообще, становятся еще скуднѣе относительно послѣдней трети его жизни. Бѣлозерская, не смотря на всѣ старанія, почти ничего не прибавила къ тому, что уже давно сообщено Галаховомъ¹⁴³⁾, отъ котораго мы узнаемъ, что Нарѣжный въ 1813 г. вышелъ въ отставку и женился; что черезъ 2 года послѣ этого онъ снова поступилъ на службу въ Инспекторскій департаментъ Главнаго штаба; что утро онъ посвящалъ службѣ, а вечера исключительно литературѣ. Далѣе узнаемъ, что „сидячая жизнь при напряженномъ трудѣ оказала губительное вліяніе на его здоровье и сократила его жизнь“. Онъ умеръ на сорокъ пятомъ году (21-го іюня 1825 г.), и погребенъ на Большеохтенскомъ кладбищѣ. Къ этому остается еще прибавить переданную Галаховымъ же слѣдующую краткую характеристику личности Нарѣжнаго: „Отличительными его свойствами были простота, непринужденное обращеніе со

всѣми, веселый и шутливый нравъ. Онъ чрезвычайно любилъ дружескія бесѣды, которыя оживлялъ чтеніемъ собственныхъ произведеній или юмористическими разсказами“.

Впрочемъ недостатокъ біографическихъ свѣдѣній о Нарѣжномъ пополняется въ извѣстной степени его сочиненіями. Такъ, напримѣръ, уже разсмотрѣнные нами произведенія его указываютъ на отношеніе автора къ неправдѣ Коваленскаго, къ бездѣятельности Кнорринга, указываютъ на отношеніе его къ Наполеону, къ императору Александру, указываютъ на его высокія гуманныя чувства и воззрѣнія—и все это въ извѣстной мѣрѣ обрисовываетъ намъ личность Нарѣжнаго. Есть не мало указаній на личность этого писателя и въ другихъ его сочиненіяхъ, къ которымъ мы теперь и обратимся.

Въ промежутокъ времени между 1809 и 1824 г.г. Нарѣжный, кромѣ уже упомянутыхъ повѣстей, написалъ еще большой романъ: „Россійскій Жилблазъ, или похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова“ и повѣсти: „Аристѣонъ, или перевоспитаніе“, „Марія“ и „Запорожецъ“. Каждое изъ этихъ произведеній, разсматриваемое, какъ цѣлое, включаетъ въ себѣ слабыя стороны; но зато въ каждомъ изъ нихъ есть отдѣльныя мѣста, не лишенныя интереса и значенія.

„Россійскій Жилблазъ“—большой романъ въ шести частяхъ, и мысль о немъ, конечно, навѣяна извѣстнымъ романомъ Лесажа: „Histoire de Gil Blas de Santillane“. Романъ Лесажа, въ которомъ мѣстомъ дѣйствія, благодаря тогдашнимъ условіямъ французской цензуры, выбрана не Франція, а Испанія, появился въ первой половинѣ XVIII в., *) и впоследствии вызвалъ многочисленныя подражанія не только въ другихъ странахъ, но и во Франціи. На русскій языкъ впервые переведенъ онъ былъ Василиемъ Тепловымъ въ 1754 г. Этотъ-то романъ Нарѣжный и взялъ за образецъ для своего „Россійскаго Жилблаза“, о чемъ и заявилъ въ предисловіи къ нему.

„Превосходное твореніе Лесажа“, — говоритъ Нарѣжный, — „принесло и продолжаетъ приносить сколько удовольствія и пользы читающимъ, столько чести и удивленія дарованіямъ издателя“.

„Франція и нѣмецкія земли имѣютъ также своихъ героевъ,

*) Первые два тома „Histoire de Gil Blas“ были изданы въ Парижѣ въ 1715 г., третій въ 1724, четвертый въ 1735.

коихъ похождения извѣстны подъ названіями: Французскій Жилблазъ, Нѣмецкій Жилблазъ. А потому-то рѣшился и я, слѣдуя примѣру, сіе новое произведеніе мое выдать подъ столько извѣстнымъ именемъ, и тѣмъ облегчить трудъ тѣхъ, кои стали бы изыскивать, съ кѣмъ сравнивать меня въ семъ сочиненіи“.

Понятное дѣло, что „россійскій“ Жилблазъ долженъ быть и приуроченъ къ русской жизни. Нарѣжный и объ этомъ заявляетъ въ своемъ предисловіи и вмѣстѣ съ тѣмъ выражаетъ удовольствіе, что онъ пишетъ свой романъ при счастливыхъ цензурныхъ условіяхъ. „Я вывелъ на показъ русскимъ людямъ“ — говоритъ онъ—„русскаго же человѣка, считая, что гораздо сходнѣе принимать участіе въ дѣлахъ земляка, нежели иноземца.—Почему Лесаажъ не могъ того сдѣлать, всякій догадается. За нѣсколько десятковъ лѣтъ и у насъ нельзя было отважиться описывать безпристрастно наши нравы“.

Радость Нарѣжнаго была однако преждевременна: три части „Россійскаго Жилблаза“ вышли въ 1814 г., и по выходѣ третьей романъ былъ запрещенъ, такъ что остальные три части остаются и до сихъ поръ не напечатанными. Рукопись ихъ хранилась сперва у сына автора, а теперь она составляетъ собственность редакціи журнала: „Русская Старина“. Причиной запрета тогдашній министръ народнаго просвѣщенія гр. Разумовскій выставилъ „предосудительныя и соблазнительныя“ мѣста въ третьей части, которыя „могутъ быть почитаемы противными нравственности“, и при этомъ прибавилъ слѣдующее: „Часто бываетъ, что авторы романовъ, хотя, повидимому, и вооружаются противъ пороковъ, но изображаютъ ихъ такими красками или описываютъ съ такою подробностью, что тѣмъ самымъ увлекаютъ молодыхъ людей въ пороки, о которыхъ полезнѣе было бы вовсе не упоминать“ ³⁴⁴). Больше всего министру могли броситься въ глаза далеко не скромныя мѣста въ третьей части, въ описаніи масоновъ.

Такъ какъ намъ не удалось прочесть рукописныхъ частей романа, и мы знакомы только съ частями, напечатанными въ 1814 г. (по экземпляру Импер. Публ. Библ.), а г. Бѣлозерская читала весь романъ и даже сравнивала его съ сочиненіемъ Лесаажъ,—то мы, не имѣя полного впечатлѣнія отъ этого произведенія Нарѣжнаго, приводимъ здѣсь то, что говоритъ о немъ упомянутая писательница.

„Хотя Нарѣжный, видимо, придерживается французскаго образца со стороны внѣшнихъ пріемовъ и формы“,—пишетъ Бѣлозерская,—„тѣмъ не менѣе «Россійскій Жилблазъ» вполне заслу-

живаеѣ названіе *русскаго* романа; здѣсь вездѣ главными дѣйствующими лицами являются русскіе люди и изображены русскіе нравы. Авторъ болѣе или менѣе подробно касается явленій общественной русской жизни того времени: чрезмѣрнаго пристрастія къ славянскому языку послѣдователей Шишковской школы, масонства, положенія крестьянъ у хорошихъ и дурныхъ помѣщиковъ, злоупотребленій близко знакомаго ему чиновничества, неразвитія и бѣдности интересовъ уѣзднаго общества и пр.“

„Нарѣжный, такъ же какъ и Лесаждъ, ставитъ себѣ широкую задачу изобразить людей самаго разнообразнаго типа, всякаго званія и общественнаго положенія; и его «Россійскій Жилблазъ», по богатству содержанія, могъ бы представить достаточно сюжетовъ для нѣсколькихъ романовъ, хотя, съ другой стороны, это чрезмѣрное богатство содержанія въ значительной степени нарушаетъ цѣльность общаго впечатлѣнія. Если романъ Лесажа требуетъ особеннаго вниманія при чтеніи, въ виду множества дѣйствующихъ лицъ, вставныхъ эпизодовъ, біографій и всякихъ приключеній, то «Россійскій Жилблазъ» въ этомъ отношеніи является еще болѣе сложнымъ. Здѣсь выступаетъ еще большее число лицъ, и количество приключеній и вставокъ, въ видѣ біографій, отдѣльных эпизодовъ и рассказовъ, несравненно значительнѣе. Между прочимъ черезъ весь романъ проходятъ три отдѣльныя повѣсти или, вѣрнѣе, романа, которые то тѣсно сплетены, то принимаютъ самостоятельный характеръ, а именно: *исторія жизни князя Гаврилы Симоновича Чистякова* (Россійскаго Жилблаза), *его сына Никандра* и *семейная исторія помѣщика Простакова*. Вслѣдствіе того, чтеніе «Россійскаго Жилблаза», не смотря на его несомнѣнные достоинства, талантливыя описанія и глубоко прочувствованныя сцены, становится утомительнымъ, и нить рассказа тѣмъ неуволнимѣе, что Нарѣжный не сумѣлъ создать органической связи между отдѣльными частями. Вдобавокъ, въ угоду тогдашней русской публикѣ, онъ старался, по возможности, запутать въязку и придать таинственность рассказу“¹⁴⁵).

Впрочемъ впечатлѣніе, вынесенное г. Бѣлозерской изъ чтенія всего романа, выносится уже и изъ чтенія первыхъ только трехъ частей его: съ самаго же начала чувствуется, что романъ этотъ—*русскій*,—хотя и не безъ погрѣшностей противъ русскихъ нравовъ,—а необыкновенная сложность его содержанія обнаруживается уже послѣ второй части. Романъ начинается съ исторіи семьи Простакова, съ исторіи, которая, какъ говоритъ Бѣлозерская, проходитъ черезъ всѣ шесть частей „Россійскаго Жилблаза“.

Живетъ эта семья въ деревнѣ, стоящей „на рубежѣ между Орловской и Курской губерній“. Скоро въ домѣ Простаковыхъ неожиданно появляется князь Чистяковъ, становится ихъ другомъ, и начинаетъ, съ назидательной цѣлью, длинный рассказъ о своихъ походахъ. Рассказываетъ онъ о нихъ не вдругъ, а съ паузами, длящимися иногда недѣли и даже мѣсяцы, и во время этихъ паузъ авторъ имѣетъ возможность возвращаться къ очерку жизни семьи Простаковыхъ, какъ типичной представительницы старинной помѣщичьей среды. Далѣе, во второй части, въ романъ вносится „Повѣсть Никандрова“, т.-е. рассказъ Никандра о своихъ приключеніяхъ, и занимаетъ она главы III—XII, отъ страницы 28-й до 147-й. Въ „Повѣсть Никандрову“, въ свою очередь, вставленъ довольно большой рассказъ о метафизикѣ Трисмегалосѣ. Кромѣ того, во второй части есть еще вставочная восточная повѣсть объ индійскомъ Великомъ Моголѣ (стр. 5—12). Такъ усложнялъ свой романъ Нарѣжный.

Главною частью содержанія романа остается все-таки рассказъ Чистякова о своихъ походахъ, или иначе—его автобіографія. Сущность ея состоитъ въ слѣдующемъ.

Князь Гаврила Симоновичъ Чистяковъ—уроженецъ села Фалалеевки Курской губерніи. „Она славна“—говоритъ автобіографъ—„своимъ хлѣббродіемъ, но странный недостатокъ есть тотъ, что тамъ столько князей, сколько въ Малороссіи дворянъ, а въ Шотландіи графовъ“. Далѣе слѣдуетъ интересное сопоставленіе захудалыхъ иностранныхъ графовъ съ такими же русскими князьями. „Надобно отдать справедливость, что наши князья гораздо умнѣе иностранныхъ графовъ. Тамъ, какъ слыхалъ я нерѣдко, графъ-отецъ, вставая съ войлочной постели, говоритъ сыну: Что, графъ, чисты ли мои сапоги?—«Какъ же, ваше сіятельство: вотъ у меня и руки еще въ ваксѣ».—А графиня-мать, чистя на поварнѣ кастрюлю, говоритъ своей дочери: Что, графиня, доила ли ты корову?—«Какъ же, ваше сіятельство: у меня еще и теперь ноги въ навозѣ»... Наши русскіе князья сто разъ умнѣе. Они занимаются хлѣбопашествомъ, хозяйствомъ, пашутъ, жнутъ, продаютъ хлѣбъ, и живутъ мирно и братски съ крестьянами, своими и чужими, и только въ большіе праздники, собравшись въ шинки, объявляютъ о княжествѣ своемъ“.

„Изъ такихъ князей“—продолжаетъ автобіографъ—„былъ почтенный родитель мой, князь Симонъ Гавриловичъ Чистяковъ. При кончинѣ своей онъ сказалъ мнѣ: «Оставляю тебя, любезный сынъ, не совсѣмъ безсчастливымъ: у тебя довольно поля, есть не-

большой сѣнокосъ, огородъ, садикъ и, сверхъ того, крестьяне: Иванъ и мать его Марья“.

Оставшись, по смерти отца, владѣтелемъ его слишкомъ небольшого имущества, князь Гаврила женится на Ѳеклушѣ, дочери другого такого же фалалеевскаго князя. Супруги живутъ въ любви и согласіи, но въ такой бѣдности, что когда у нихъ родился сынъ, они „не только не имѣли ничего, чтобы какъ-нибудь встрѣтить новаго въ мірѣ гостя, но сами, и то по милости крестьянки своей Марьи, только что не умирали съ голоду“. Наконецъ является неожиданная помощь: богатый купецъ покупаетъ доставшіяся Чистякову по наслѣдству старинныя книги и даетъ за нихъ полтора ста рублей. Молодые супруги живутъ уже въ нѣкоторомъ довольствѣ, какъ вдругъ Ѳеклуша убѣгаетъ съ свѣтскимъ молодымъ человѣкомъ—Святозаровымъ, а вскорѣ затѣмъ пропадаетъ безъ вѣсти и сынъ, Никандръ, похищенный неизвѣстными людьми. Съ Никандромъ Чистяковъ встрѣчается лишь много лѣтъ спустя, въ домѣ Простаковыхъ, и узнаетъ въ немъ сына, когда тотъ рассказалъ ему свою біографію („Повѣсть Никандрову“).

Лишившись жены и сына, Чистяковъ, удрученный горемъ, покидаетъ Фалалеевку и отправляется въ Москву, гдѣ получаетъ мѣсто приказчика у погребщика, но скоро теряетъ его вслѣдствіе небрежнаго отношенія къ занятіямъ въ погребѣ, которыя онъ считаетъ несоотвѣтствующими его княжескому происхожденію. Затѣмъ получаетъ другія мѣста и тоже теряетъ ихъ, и наконецъ дѣлается усерднымъ посѣтителемъ театра. На одномъ изъ представлений, въ пріѣзжей красавицѣ актрисѣ онъ узнаетъ свою Ѳеклушу, хотя она имѣетъ уже манеры знатной дамы. „Любовь, ненависть, сожалѣніе, гнѣвъ, мщеніе попеременно овладѣваютъ его сердцемъ“, но Ѳеклуша послѣ спектакля уѣзжаетъ съ княземъ Латрономъ въ богатой его каретѣ. Далѣе Чистяковъ попадаетъ въ масонское общество и тамъ опять встрѣчается съ Ѳеклушей, красавицей подъ именемъ Лавиніи, но уже съ негодованіемъ отталкиваетъ ее отъ себя.

Этимъ заканчивается третья часть романа. Слѣдующія части, по отзыву г. Бѣлозерской, гораздо слабѣе первыхъ. Авторъ вводитъ своего героя въ Варшаву и задается цѣлью описать тамошнее чиновничество и „большой свѣтъ“; но такъ какъ варшавская жизнь была знакома ему лишь по наслышкѣ, то и рассказъ его является „безпочвеннымъ“ ¹⁴⁶). О самомъ концѣ романа г. Бѣлозерская говоритъ: „Однако, не смотря на всѣ превратности судьбы,

которыя постигаютъ героя романа и другихъ дѣйствующихъ лицъ, все должно кончиться общимъ благополучіемъ, какъ показываетъ начало развязки, хотя она неожиданно прерывается, вслѣдствіе нѣсколькихъ недостающихъ страницъ, быть можетъ, недописанныхъ авторомъ, въ виду запрещенія «Россійскаго Жилблаза»¹⁴⁷).

Итакъ романъ Нарѣжнаго, какъ цѣлое, имѣетъ слабыя стороны. Къ указаннымъ уже можно причислить еще и непонятное превращеніе Оеклуши изъ еле умѣвшей читать и писать деревенской красавицы, которая сама работала въ огородѣ, въ блестящую актрису, съ манерами знатной дамы, въ увлекательную Лавинію масонскихъ оргій. Тутъ, вмѣсто правдиваго типа захудалой княгини, какимъ является Оекла Сидоровна въ началѣ романа, получился у Нарѣжнаго сколокъ съ тѣхъ актрисъ, которыя описаны у Лесажа. Къ слабымъ сторонамъ романа надо отнести и то, что простолюдины говорятъ въ немъ не своимъ языкомъ, а литературнымъ. Есть нѣчто странное и въ исторіи похищенія Никандра.

Но съ другой стороны, по широкому замыслу романа, по желанію автора „вывести на показъ русскимъ людямъ русскаго же человѣка“ и коснуться разнообразныхъ типовъ и „нравовъ въ различныхъ состояніяхъ и отношеніяхъ“¹⁴⁸),—романъ Нарѣжнаго уже напоминаетъ „Мертвыя души“ Гоголя. Дарованія обоихъ писателей не равны, конечно,—но и въ „Жилбазѣ“ есть много такого, что заставляетъ признать его автора талантливымъ романистомъ, какимъ его и признаютъ, напримѣръ, Бѣлинскій, Ив. Ал. Гончаровъ и др. Къ лучшимъ мѣстамъ романа слѣдуетъ отнести описаніе жизни Простаковыхъ, описаніе первыхъ двухъ лѣтъ жизни молодыхъ супруговъ—Чистякова и Оеклуши, и многія юмористическія и сатирическія мѣста.

Юмористическимъ и сатирическимъ характеромъ отличаются въ особенности тѣ мѣста романа, гдѣ авторъ касается смѣшныхъ сторонъ увлеченія *метафизикою, славянскимъ языкомъ* и, какъ онъ выражается, *всякою чужеземщиною*. Смѣшныя стороны увлеченія всѣмъ этимъ обратили на себя его вниманіе настолько, что онъ даже занесъ въ свое предисловіе слѣдующія строки:

„Да не прогнѣваются на меня изступленные любители метафизики, славенскаго языка и всего, что есть нѣмецкаго, что я не всегда съ должною почтительностью объ нихъ отзывался. Это отнюдь не значить, чтобы считалъ я метафизику наукою вздорною, славенскій языкъ варварскимъ, и все то, что выдуманно нѣмецкою головою, глупою выдумкою. Сохрани отъ того, Боже! Но

мнѣ всегда казалось, что перейти должныя предѣлы въ чемъ бы то ни было—есть крайнее неразуміе. Метафизика, безъ сомнѣнія, есть наука высокая и утончаетъ разумъ человѣка, однакожъ не до такой степени, чтобы могъ онъ опредѣлить, чѣмъ занималось Высочайшее Существо до созданія міра и чѣмъ заниматься будетъ по разрушеніи онаго. А есть такіе храбрые ученые, которые на то пускаются. Славенскій языкъ, безспорно, высокъ, точенъ, обилень; однакожъ тотъ изъ насъ, который, стоя передъ красавицею, будетъ нѣжить слухъ ея названіями: «лѣпообразная дѣво! голубице, краснѣйшая рая!» едва ли не долженъ быть почитенъ за сумасброда. А такіе витязи и до сихъ поръ у насъ находятся и не безъ послѣдователей. Что касается до нѣмчизны, подъ которымъ названіемъ, слѣдуя выраженію нашихъ прадѣдовъ, разумѣю я всякую чужеземщину, то весьма недовольнымъ почту себя, если кто-нибудь назоветъ меня порицателемъ всего того, что не наше. Это была бы излишняя склонность ко всему своему, что также никуда не годится“.

Этими строками Нарѣжный хотѣлъ указать читателю на свое отношеніе съ одной стороны — къ предмету, а съ другой—къ смѣшному увлеченію имъ.

Смѣшныя стороны увлеченія метафизикой и славянскимъ языкомъ осмѣяны въ романѣ на тѣхъ страницахъ, гдѣ выведенъ Трисмегалось, провинціальный философъ-учитель: онъ и изступленный любитель метафизики, онъ же и страстный славянофилъ. Къ нему является Никандръ съ рекомендательнымъ письмомъ отъ „благопріятеля“ этого философа. Философъ и его гость, Горланиусъ, пьютъ чай.

— Чесо ищещи здѣ, чадо?—спрашиваетъ Трисмегалось Никандра, и, прочитавъ поданное письмо, говоритъ:

— Благо ти, чадо, аще тако хитръ еси въ наукахъ, яко же вѣщаетъ почтенный благопріятель, мой! Добрѣ ли вѣси правописаніе?

„Я“—разсказываетъ Никандръ — „отвѣчалъ со смиреніемъ: мно, честнѣйшій господине мой, яко добрѣ вѣмъ; ни чимъ же мнѣ великоученѣйшихъ мужей“.

„Трисмегалось“—продолжаетъ Никандръ—„пораженъ былъ ужасомъ. Онъ вскочилъ, выпялилъ глаза и осматривалъ меня съ благоговѣніемъ. Зато пріятель его поднялъ такой жестокой смѣхъ, что стаканъ изъ рукъ его выпалъ. Трисмегалось сказалъ ему:

«Что смѣшиши, о Горлание! Не есть ли во времена наши, егда погибло все изящное на земли, и нравы развратишася,—не

есть ли, глаголю, чудо зрѣти юношу сего въ толикомъ благомыслии, вѣщающаго языкомъ мудрѣйшимъ и доброгогласнѣйшимъ?»“

Трисмегалось любить метафизику, славянскій языкъ и пуншь (II ч. 107), и, кромѣ того, племянницу Горланиуса—Анисью. Онъ доказываетъ ей, что душа наша находится во лбу, между глазами; но когда на другой день она говоритъ ему: „Теперь хочу, чтобы доказано было, что душа наша въ затылкѣ“, — Трисмегалось, чувствуя, что любовь къ Анисѣ превозмогла его любовь къ метафизикѣ, „покушается на злодѣйство, равняющееся отцеубійству“ (какъ онъ самъ называетъ свой поступокъ)—и пишетъ на 170 листахъ съ половиною трактатъ, „гдѣ ясно и неоспоримо доказано, что душа человѣческая имѣетъ пребываніе въ затылкѣ, съ тѣмъ, однако, что она властна перейти въ чело“ (II, 108—109).

Въ лицѣ Трисмегалоса задѣтъ, конечно, Шишковъ съ его объясненіемъ упадка нравственности вслѣдствіе пренебреженія къ славянскому языку; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ разсказѣ объ этомъ философъ-учителѣ можно видѣть насмѣшку надъ схоластиками тогдашнихъ духовныхъ учебныхъ заведеній и надъ діалектическими ихъ упражненіями.

Здѣсь кстати замѣтить, что Нарѣжный, осуждая крайности увлеченія метафизикою, не только считалъ эту науку, какъ онъ говоритъ въ предисловіи, высокою, но и желалъ, какъ то показываетъ его повѣсть: „Аристѳонъ“, чтобы она входила въ программу образованія дворянъ.

Противъ излишняго увлеченія чужеземщиной авторъ больше всего вооружается въ томъ мѣстѣ романа, гдѣ заставляетъ помѣщика Простакова произносить горячую рѣчь противъ иностраннаго воспитанія русскихъ дѣтей.

Былъ у насъ (да и теперь еще есть) типъ иностраннаго выходца, который возбуждалъ негодованіе Нарѣжнаго. Типъ этотъ выведенъ въ лицѣ гордаго „достоинствомъ нѣмца“ и презирающаго русскихъ господина фонъ-Фольфъ-Кальбъ-Гаузовъ, о которомъ авторъ устами Чистякова говоритъ слѣдующее: „многіе изъ сихъ спесивыхъ безумцевъ, не находя на родинѣ куска хлѣба, приходятъ въ Россію, нерѣдко съ котомкою за плечьями и въ лохмотьяхъ, и скоро съ помощію такихъ же выходцевъ, какъ и они, ласкательствами и всѣми низкими средствами, достаютъ себѣ выгодныя мѣста, и послѣ съ гордостію и безстыдствомъ презираютъ и тѣснятъ природныхъ русскихъ... Мы въ гражданской образованности еще весьма далеки отъ другихъ на-

ций, потому что такихъ примѣровъ нигдѣ не найдешь, кромѣ какъ у насъ“.

По поводу словъ: „гордый достоинствомъ нѣмца“, нельзя не вспомнить другое лицо, выведенное Нарѣжнымъ въ его пьескѣ: „Невѣста подъ замкомъ“: тамъ ювелиръ Рупертъ говоритъ своей племянницѣ: „Будь тебѣ извѣстно, что болѣе 30 лѣтъ назадъ, какъ началъ я каждый воскресный день, бывая въ киркѣ, приносить Господу Богу благодарственные молитвы за то, что Онъ сотворилъ меня нѣмцемъ“.

Наконецъ Нарѣжный въ своемъ „Жилблазѣ“ касается и масоновъ. Въ напечатанной части его романа описанію ихъ отведено мѣсто въ концѣ третьяго тома.

Масонство XVIII вѣка, являясь противодѣйствіемъ матеріалистическимъ ученіямъ, стремилось къ нравственному самоусовершенствованію, къ добродѣтели—и въ этомъ смыслѣ оно получило названіе культурнаго элемента своего вѣка. Масоны распространяли идею религіозной терпимости, идею гуманнаго отношенія къ людямъ, проповѣдывали братство между людьми различныхъ сословій и занимались благотворительностью. Пріютившійся въ масонской средѣ мистицизмъ также имѣлъ, какъ знаемъ ¹⁴⁹⁾, свою свѣтлую сторону: онъ былъ реакціей той религіозности, которая ограничивалась лишь выполненіемъ внѣшнихъ обрядовъ. Но какъ и во всякомъ человѣческомъ обществѣ не всѣ члены стоятъ на одинаковомъ уровнѣ, такъ это было и въ масонскихъ ложахъ, и еще Новиковъ жаловался, что иногда „въ собраніяхъ играли масонствомъ, какъ игрушкою, ужинали и веселились“ ¹⁵⁰⁾. На нѣкоторыхъ собраніяхъ эти ужины стали, наконецъ, заканчиваться ночными оргіями, въ которыхъ принимали участіе и мужчины и женщины. Собранія съ такими оргіями бывали уже и въ Екатерининское время, на примѣръ, въ Москвѣ, въ „Еввиномъ клубѣ“, закрытомъ императрицею въ 1793 г. Г. Бѣлозерская, на основаніи нѣкоторыхъ фактовъ, полагаетъ, что Нарѣжный и описываетъ оргіи именно этого клуба ¹⁵¹⁾.

Масонство обставило себя большою символическою обрядностью, таинственными церемоніями, мистическими выдумками—и это было его смѣшною стороною. Нарѣжный описываетъ и эту сторону масонства. Въ общемъ описаніе это слѣдующее:

Когда съ меня, — рассказываетъ Чистяковъ, — привезеннаго въ собраніе съ завязанными глазами, сняли повязку, я „увидѣлъ обширную комнату, обитую чернымъ сукномъ... Посрединѣ комнаты стоялъ большой столъ, уставленный свѣчами, за которымъ

сидѣли, потупя головы, въ молчаніи, около пятидесяти человѣкъ въ черныхъ мантияхъ, на коихъ изображены были, пламенными красками, таинственные знаки, какъ-то: созвѣздія, планеты, духи парящіе, ползающіе, добрые и злые. Первенствующій изъ нихъ всталъ, взошелъ на кафедру, поклонился собранію весьма низко три раза, а потомъ говорилъ: «Почтенные, высокопочтенные, просвѣщенные и высокопросвѣщенные братія! позволено ли будетъ говорить мнѣ о принятіи въ общество наше достойнаго сочлена?» Тутъ всѣ встали, также низко поклонились ему три раза и сказали: «Говори, высокопросвѣщеннѣйшій наставникъ нашъ и братъ!» Онъ началъ громко и размахивая руками; говорилъ такъ высокопарно, такъ замысловато, что я не могъ понять ни одного слова. Куды! Онъ упоминалъ о небесной гармоніи, о брачномъ сочетаніи звѣздъ, о выпреннемъ планѣ Егovy, начертанномъ для созданія человѣка».

Чистякова приняли, и первенствующій громко возгласилъ: „Козерогъ будетъ имя ищущему просвѣщенія младенцу!“ Затѣмъ всѣ, „возвыся гласы“, запѣли слѣдующую масонскую пѣснь:

Ликуйте, братья, путь свершая
И музикійскій гласъ внимая;
Грядите, мудрость гдѣ живетъ!
Чтобъ не имѣть въ пути препоны,
Се истины святой законы
Намъ Геометрія даетъ.
Строитель мудрый всей вселенной,
Во братски души впечатлѣнной,
Введетъ насъ въ радостный Эдемъ.
Чтобъ жизнь тамъ въ благѣ провождатъ,
Онъ Самъ благоволилъ намъ дати
Блισταющую звѣзду вождемъ.

По окончаніи „сей сладостной пѣсни“ всѣ усѣлись по диванамъ передъ столомъ, уставленнымъ яствами и напитками. Ужинъ сопровождался веселыми разговорами, и „радость заблестала въ глазахъ каждаго“. Когда всѣ пресытились отъ благъ земныхъ, первенствующій три раза ударилъ по столу молоткомъ, и глубокое молчаніе настало... „Раздалась невидимая огромная гармонія; быстро отворяются потаенныя двери зала, вылетаетъ хоръ юныхъ нимфъ, одѣтыхъ въ греческомъ вкусѣ, въ бѣлыхъ легкихъ одеждахъ... Плѣнительныя нимфы начали пляску“.. За пляской слѣдовалъ еще одинъ номеръ увеселительной программы, при погашенныхъ свѣчахъ,—и тутъ-то кн. Чистяковъ по голосу узналъ свою Ѳеклушу и съ негодованіемъ оттолкнулъ ее отъ себя.

Въ своемъ романѣ Нарѣжный касается и положенія крѣпостныхъ крестьянъ и приводитъ факты помѣщичьей несправедливости и жестокости. Таковъ, на примѣръ, разсказъ о помѣщикѣ Головорѣзовѣ, жестоко поступившемъ съ крѣпостнымъ кузнецомъ за то, что тотъ ревниво охранялъ свою жену отъ „нескромныхъ шутокъ“ барина (III, 125—126).

Разнаго рода выраженія, характеризующія Нарѣжнаго, какъ писателя, стоявшаго за гуманность и за воспитаніе отзывчиваго сердца, встрѣчаются и въ „Жилблазѣ“, на примѣръ: „И величайшій преступникъ имѣетъ право на сожалѣніе“ (I, 14).

„Чувствительность есть истинное благородство человѣка. Оно ставитъ его на высокую степень творенія“ (I, 15).

Повѣсть: „Аристіонъ“, названная такъ по имени ея героя, появилась въ печати въ 1822 г. Въ самомъ началѣ повѣсти авторъ знакомитъ читателя съ отцомъ героя—отставнымъ бригадиромъ, которому имя Валеріанъ. Это былъ человѣкъ „довольно ученый, весьма честный, миролюбивый и всегда удаленный отъ видовъ честолюбія. Въ молодости онъ учился въ Кенигсбергскомъ университетѣ, затѣмъ служилъ въ военной службѣ, и наконецъ поселился на отдыхъ въ своемъ богатомъ украинскомъ помѣстьи. У него былъ единственный сынъ—Аристіонъ, который „на шестомъ году возраста отправленъ въ Сѣверную столицу, гдѣ блистательнымъ дѣдомъ помѣщенъ въ славнѣйшемъ тогда пансіонѣ, содержимомъ знаменитымъ иностранцемъ“¹⁵²). Далѣе авторъ останавливается на той же темѣ, которая занимала и Измайлова въ его романѣ: „Евгеній“, т. е. на дурномъ воспитаніи и его послѣдствіяхъ. „Ходъ ученія Аристіонова“—говоритъ авторъ—„былъ обыкновенный. Довольно сказать, что по десятилѣтнемъ пребываніи въ семъ храмѣ мудрости, на двухъ употребительнѣйшихъ иностранныхъ языкахъ говорилъ онъ, какъ на природномъ; изъ географіи зналъ, что Вѣна стоитъ на рѣкѣ Дунаѣ, а Парижъ на Сенѣ; изъ исторіи, что были Александръ Македонскій, Цезарь римскій и Петръ русскій. Математика также не чужда была для его разума, и онъ весьма рѣзко могъ доказать различіе между линіею и поверхностью, между четвероугольникомъ и кругомъ.—Можетъ быть, таковыя познанія инымъ, пасмурнаго нрава людямъ, покажутся недостаточными для богатаго свѣтскаго человѣка: такъ мы къ чести его скажемъ, что онъ не худо рисовалъ, хорошо игралъ на скрипкѣ, превосходно танцевалъ, и того превосходнѣе бился на рапирахъ. Послѣднія два достоинства и одни достаточны сдѣ-

латъ его значительнымъ человѣкомъ въ большомъ свѣтѣ“. Въ до-
полненіе къ этому авторъ на 123-й страницѣ своей повѣсти еще
заявляетъ, что Аристіонъ въ этомъ пансіонѣ „не былъ выученъ
ни одной молитвѣ“.

Мы видимъ, что къ даваемому нерѣдко въ тѣ времена по-
верхностному воспитанію Нарѣжный относится съ такой же иро-
нией, съ какой относился къ нему и авторъ романа: „Евгеній“.

По окончаніи ученія Аристіонъ избралъ военную службу и,
„насвистывая любовную арію, простился съ Петрополемъ“ и от-
правился съ нашими войсками въ итальянскій походъ. Походная
жизнь не давала мѣста скукѣ, но по возвращеніи въ столицу,—
однако въ чинѣ капитана, полученномъ за военные заслуги,—
Аристіонъ „скоро почувствовалъ въ сердцѣ пустоту, въ душѣ
утомленіе—и разсѣяніе представилось ему необходимымъ. Добро-
хотные пріятели подоспѣли съ помощью. Онъ введенъ во мно-
гіе блистательные дома, гдѣ вкусъ, изобиліе, игры и смѣхи изъ
края въ край роились. Хотя, правда, такіа веселости влекли за собой
не маловажные расходы: но какъ любезный родитель за верхъ
удовольствія считалъ дождить золотомъ на милаго, достойнаго
сына, о коемъ время отъ времени получалъ лестныя увѣдомле-
нія, то онъ и не думалъ въ чемъ-либо себя ограничивать; а хотя
старый Макарь, дядька его и управитель, при каждомъ необыкно-
венномъ случаѣ увѣщевалъ жить поскромнѣе, чтобы долѣе жить
лучше, но Аристіонъ, по обыкновенію молодыхъ людей, не обра-
щалъ на пустыя рѣчи никакого вниманія“.

Далѣе авторъ такъ продолжаетъ свой разсказъ о столичной
жизни Аристіона.

„Не смотря однакожъ на самую разсѣянную жизнь, Ари-
стіонъ опять узналъ скуку, и какъ можно, чтобы добрые друзья отка-
зали ему въ пособіи прогнать эту язву душевную?—Ему предло-
жены карты и полные бокалы... Но какъ все имѣетъ свое время,
то Аристіону и эти увеселенія опротивѣли, и онъ съ меньшимъ
уже удовольствіемъ проигрывалъ свое золото и опорожнивалъ
бокалы.—Тутъ молодой графъ Кронидъ, его товарищъ во всѣхъ
веселостяхъ, открылъ ему за тайну, что есть еще одно лѣкар-
ство отъ скуки, самое вѣрное, самое пріятное.—Какое жъ?—«Я
введу тебя»—говорилъ графъ съ видомъ многоопытнаго Улисса—
«въ такое общество, въ какихъ ты не бывалъ еще. Ты доселѣ
блуждалъ по тягостнымъ пескамъ Ливіи и кремнистымъ утесамъ
Кавказа: такъ называю тѣ собранія, въ коихъ ты отличался по
сіе время. Теперь я хочу ввести тебя въ пещеру Калипсы, гдѣ

найдешь все, что может родить улыбку и на устах угрюмаго Катона. Просто сказать: я познакомлю тебя съ прекрасною Фіоною, первую пѣвицею на здѣшнемъ театрѣ»“.

Знакомство съ этой Фіоной кончилось тѣмъ, что Аристіонъ запутался въ долгахъ и вдобавокъ исключенъ былъ изъ службы, такъ какъ, увлекшись вовсе не любившей, а только обиравшей его женщиной, онъ „полгода не былъ у должности“.

Нѣтъ сомнѣнія, что исторія воспитанія и столичной жизни Аристіона занимаетъ, такъ сказать, среднее мѣсто между подобными же исторіями съ одной стороны—Евгенія Негодяева, а съ другой—Евгенія Онѣгина. Сравненіе Аристіона съ послѣднимъ—тема весьма интересная, но ею мы займемся, когда будемъ говорить о Пушкинѣ; теперь же сдѣлаемъ лишь бѣглое сопоставленіе героя Нарѣжнаго съ героемъ Измайлова. Оба они—плоды дурного воспитанія, у обоихъ ихъ много общаго, но душа Аристіона далеко не загрязнена такъ, какъ загрязнена она у Негодяева, и Нарѣжный оставляетъ еще въ своемъ героѣ ту Божью искру, которая даетъ ему возможность переродиться.

Но если исторія воспитанія и столичной жизни Аристіона является реальной и вполне правдоподобной частью повѣсти, то зато исторія перевоспитанія ея героя обставлена чрезвычайно фантастично.

Макаръ, въ которомъ, пожалуй, можно видѣть прототипъ Савельича, увѣдомляетъ Валеріана о поведеніи его сына, и Валеріанъ затѣваетъ такую педагогическую продѣлку: прежде всего онъ хочетъ поразить Аристіона вѣстью о смерти его родителей отъ горя, причиненнаго поведеніемъ сына и связаннымъ съ нимъ разореніемъ; съ этою цѣлью онъ приказываетъ всѣмъ своимъ крестьянамъ и упрощаетъ всѣхъ сосѣднихъ дворянъ считать Валеріана и жену его умершими, „пока не заблагоразсудится имъ обоимъ воскреснуть“; жену онъ поселяетъ на одномъ изъ своихъ хуторовъ и велитъ выдавать ее за его добрую сосѣдку, а самого себя—за Валеріанова друга—Горгонія, который будто за то, что уплатилъ всѣ долги Валеріана, получилъ отъ него его имѣнье, и будто покойный еще при жизни закрѣпилъ его за другомъ судебнымъ порядкомъ. Затѣмъ въ заговоръ посвящается и Макаръ, и ему дается приказаніе, чтобы онъ, словно ничего не зная, уговорилъ барина ѣхать на родину. Аристіонъ, запутанный въ долгахъ, охотно ѣдетъ, но, по совѣту Макара, не является прямо къ родителямъ, а останавливается переночевать на постояломъ дворѣ, верстахъ въ двухъ отъ родного дома,—и тутъ только

узнаеть объ ужасномъ своемъ положеніи, узнаеть, что у него нѣтъ ни крова ни пристанища. Съ этого момента и начинается нравственное возрожденіе Аристіона. „Какъ ни горестно мое положеніе“,—говорить онъ Макару,—„но я еще весьма далекъ отъ того, чтобы всѣ горести жизни, всѣ удары рока проглотить съ пулею. Нѣтъ, я послѣдую твоимъ же совѣтамъ, и посмотрю, что можетъ сдѣлать честность и трудолюбіе... Я омочу слезами раскаянія, горькаго, истиннаго раскаянія, гробы отца моего и матери, и пушусь по первой дорогѣ, буду брести до перваго полка, и запишусь въ солдаты. Развѣ не было примѣровъ, что простого ратника храбрость, благоразуміе, любовь къ Богу, отечеству и добродѣтели возводили на высокую степень полководца?“ Въ отвѣтъ на это Макаръ совѣтуетъ Аристіону оставить мысль о солдатствѣ, а лучше обратиться къ Горгонію: человѣкъ онъ добрый, и навѣрное уступитъ сыну своего друга хоть десятую часть имѣнія. Макаръ даже беретъ на себя роль посредника и отправляется къ Горгонію. Горгоній, конечно, соглашается принять къ себѣ молодого человѣка, но съ условіемъ, чтобы онъ велъ жизнь „по его правиламъ“. Аристіонъ поселяется у своего благодѣтеля—и начинается его перевоспитаніе. За нимъ наблюдаетъ живущій у Горгонія другъ его—Кассіанъ, который и стремится „образовать умъ и сердце“ своего воспитанника. Цѣль достигается, и черезъ годъ съ небольшимъ Горгоній и жена его открываются Аристіону, который обнимаетъ въ нихъ отца своего Валеріана и мать Софію.

Въ этой повѣсти, кромѣ фантастичности въ исторіи перевоспитанія героя, котораго, не смотря на его двадцатипятилѣтній возрастъ, держатъ, какъ малаго школьника, запрещаютъ входить къ Горгонію, пока тотъ не позоветъ его, приглашаютъ къ нему учителей изъ города, заставляютъ читать книги, ведутъ съ нимъ назидательныя бесѣды, причемъ онъ и не подозрѣваетъ окружающей его мистификации,—въ этой повѣсти, кромѣ всего этого, есть еще и нѣкоторыя недоразумѣнія, и болѣе всего загадочной является личность Валеріана-Горгонія. Этотъ человѣкъ 10 лѣтъ учился въ Кенигсбергскомъ университетѣ, и все-таки не умѣлъ воспитать своего сына, „дождалъ на него золотомъ“,—и вдругъ откуда-то взялись у него такіе педагогическіе взгляды и приемы, такая необычайная настойчивость въ достиженіи цѣли. Невольно кажется, что переродился не только сынъ, но еще раньше переродился и самъ отецъ, какъ воспитатель. Ясно, что Нарѣжный, подобно многимъ нашимъ писателямъ, не мало думалъ надъ вопросомъ

о воспитаніи. Съ недостатками современнаго ему воспитанія онъ былъ знакомъ хорошо, и потому могъ изобразить ихъ вѣрно и реально; но когда ему захотѣлось указать еще и идеаль воспитанія и даже возможность перевоспитанія, онъ увлекся въ сторону фантазіи и изобразилъ, если не нѣчто совершенно неправдоподобное, то во всякомъ случаѣ нѣчто весьма исключительное, анекдотическое. А еще Галаховъ замѣтилъ, что „не все анекдотическое можетъ служить предметомъ поэтическаго повѣствованія“ (153).

Впрочемъ изъ исторіи перевоспитанія Аристіона все же можно извлечь нѣкоторыя любопытныя черты того воспитанія, которое Нарѣжный считалъ идеальнымъ. Ужъ не говоря о требованіи, чтобы дворянинъ былъ вполнѣ благороденъ сердцемъ и не воспитывался въ такихъ пансіонахъ, гдѣ не выучиваютъ ни одной молитвѣ, авторъ требуетъ, чтобы онъ былъ и образованнымъ человѣкомъ, для чего ему необходимо знакомство съ логикой, метафизикой, физикой, этикой и политикой. Далѣе авторъ считаетъ весьма полезнымъ знаніе исторіи, и устами Горгонія излагаетъ свой взглядъ на преподаваніе ея. „Знаніе исторіи“ — говоритъ Горгоній — „тогда только можетъ быть полезно, когда мы будемъ знать болѣе, нежели дни рожденія и смерти державныхъ особъ, полководцевъ и законодателей, и притомъ нѣкоторые подвиги каждаго. Я ни мало не сдѣлаюсь ни умнѣе ни добрѣе, а потому ни счастливѣе, если бы и дѣйствительно былъ увѣренъ, что слово Москва происходитъ отъ Мосоха, внука Ноева; что славянскій языкъ получилъ начало при смѣшеніи языковъ у столба Вавилонскаго, и что Рюрикъ былъ близкій родственникъ кесарю Августу. Нѣтъ, я этимъ недоволенъ. Мнѣ надобно знать, почему за одно и то же дѣйствіе, произведенное въ одномъ и томъ же народѣ, но въ разныя времена, имя одного возносятся, а другого проклятіями низвергаютъ до ада. Вы скажете, что такія перемѣны умовъ человѣческихъ зависятъ отъ степени народнаго просвѣщенія; отчего же это самое просвѣщеніе, сдѣлавшись всеобщимъ, увеличиваетъ бѣдствія и заставляетъ добродѣтель самой себя стыдиться и даже бояться? — Такое познаніе исторіи о дѣйствіяхъ народовъ, конечно, будетъ полезно“. — Очевидно, что эта рѣчь есть вмѣстѣ и протестъ Нарѣжнаго противъ того преподаванія исторіи, которое еще встрѣчалось въ нашихъ школахъ начала XIX вѣка.

Однако и въ той части повѣсти, которая занята перевоспитаніемъ Аристіона, какъ ни фантастична она въ цѣломъ, есть

мѣста, свидѣтельствующія о недюжинномъ талантѣ Нарѣжнаго, умѣвшаго проявлять его тамъ, гдѣ онъ оставался на чисто реальной почвѣ, т.е. гдѣ писалъ съ натуры: это тѣ страницы, гдѣ описываются сосѣдніе помѣщики, съ которыми Кассіанъ знакомитъ Аристіона съ назидательной цѣлью. Одинъ изъ нихъ—панъ Сильвестръ, страстный охотникъ, совершенно забросившій свое хозяйство, человѣкъ крайне грубый, жестокій и давно уже не бравшій въ руки ни одной книги; таковъ же и сынъ его. Показавъ ихъ Аристіону, Кассіанъ высказываетъ мысль, очевидно, принадлежащую самому автору: „они оба показываютъ, что значить дворянинъ безъ приличнаго образованія. Это дикій звѣрь, который готовъ терзать себѣ подобныхъ, если ихъ сильнѣе; помочь же имъ въ чемъ-нибудь онъ и не умѣетъ и не хочетъ, и есть истинное бремя на земномъ шарѣ, есть гнусный вередъ, заражающій все общественное тѣло, есть ядовитое животное, оскверняющее все, къ чему ни прикоснется“.—Другой сосѣдъ—панъ Парамонъ, весельчакъ, то проводящій время за карточной игрой съ своими гостями, сопровождаемой постояннымъ прихлебываніемъ варенухи, то увеселяющій ихъ своимъ доморощеннымъ балетомъ, составленнымъ изъ крѣпостныхъ плясуновъ и плясуній. Кассіанъ называетъ его „тунеядцемъ, развратникомъ, губящимъ себя, свое семейство, всѣхъ его окружающихъ, и готовящимъ себѣ проклятія отъ всѣхъ, коихъ благосостояніе ввѣрено его власти“.—Третій сосѣдъ—панъ Тарахъ, прототипъ Плюшкина. Этотъ старикъ питается яшной кашницей, въ которую по каплямъ наливаетъ льняное масло; будучи больнымъ, отказываетъ себѣ въ хлебкѣ изъ курицы и въ печеномъ яблокѣ, не платитъ за визиты доктору и за лѣкарство, и даже посылаетъ продать того зайца, котораго принесли ему въ подарокъ. А между тѣмъ этотъ „скарредъ едва ли не богаче cadaго изъ своихъ сосѣдей“.—„Если бы можно было изъ десяти скрягъ слѣпить одного, то выцелъ бы истинный панъ Тарахъ,—супруга его и того лучше,“ — заявляетъ одинъ изъ его крестьянъ. — „Не говоря о всѣхъ угнетеніяхъ, обидахъ всякаго рода, коими они придавили насъ къ землѣ, такъ что и людьми назваться не смѣемъ, — они подъ конецъ изобрѣли хитрости, противъ коихъ и самъ сатана не остережется. Челядинцы ихъ состоятъ изъ парней, у коихъ, кромѣ лохмотьевъ на тѣлѣ и отваги на душѣ, ничего не осталось, и дѣвокъ такого жъ покроя. Посредствомъ этихъ слугъ демонскихъ приманиваютъ они нашихъ быковъ, коровъ, овецъ, куръ, гусей и проч. какъ-нибудь отвѣдать корма господскаго, а тутъ-то они и пиши: пропали. Сверхъ такого случайнаго побору, установлено, чтобы вся-

кій крестьянинъ, крестьянка, мальчикъ, дѣвочка, буде въ праздничный день захотятъ помолиться Богу въ церкви, въ ближнемъ селѣ, то должны прежде придти на господскій дворъ и принести въ даръ—кто курицу, кто утку, кто десятокъ яицъ, мѣрку меду, масла, сыру, словомъ—что на кого возложено панами. По приведеніи всего принесеннаго въ порядокъ и по надлежащей оцѣнкѣ, очередной крестьянинъ на своей телѣгѣ долженъ эту добычу везти въ ближайшій городъ, въ 20-ти верстахъ отсюда, на продажу. Если ему не удастся продать по той цѣнѣ, какая назначена, то долженъ пополнить собственными деньгами, а буде заупрямится, то челядинцы придутъ на его дворъ и возьмутъ на господина то, что, по мнѣнію ихъ, вознаградитъ недоимку*.

Конечно, панъ Тарахъ обрисованъ не съ такой художественностью, съ какой изображенъ Плюшкинъ, но оба они другъ другу родня, и Галаховъ назвалъ обоихъ ихъ русскими Гарпагонами: одного малорусскимъ, а другого великорусскимъ ¹⁵⁴⁾.

Сравнительно небольшая повѣсть: „Марія“ появилась въ 1824 г. Она заключаетъ въ себѣ исторію любви молодого графскаго сына—Аскалона, и Маріи, дочери двороваго, котораго отецъ Аскалона, за долгую и вѣрную службу, отпустилъ на волю. Въ этой повѣсти тоже много подражательнаго и придуманнаго (преимущественно во второй ея части), но много и реального, взятаго изъ русской жизни (преимущественно въ первой части).

Завязка происходитъ въ домѣ живущаго въ своемъ имѣніи отца Аскалона, графа С. Графъ этотъ „отъ природы былъ кроткаго, миролюбиваго нрава, никогда не наказывалъ тѣлесно, и, въ случаѣ какого-либо проступка со стороны слуги или служанки, одинъ гнѣвный взоръ его былъ великимъ наказаніемъ; зато и служители берегли спокойствіе его болѣе собственного“. Иного характера была графиня, его жена. Она „была хотя и не совсѣмъ дурного нрава, но такъ высокомѣрна, такъ напыщена своимъ сіяніемъ, что рѣдко кого-либо изъ подвластныхъ ей людей удостоивала ласковымъ взглядомъ. Она считала ихъ за насѣкомыхъ, которыхъ могла душить и топтать по произволу“. Сынъ ихъ Аскалонъ „былъ истинное подобіе добродушнаго отца своего“. Кромѣ сына, была у нихъ еще дочь—Евгенія.

Когда Аскалону было 11 лѣтъ, а Евгеніи 6, графиня поставила къ дочери, для услугъ ей, пятилѣтнюю Марію, дѣвочку кроткую и впечатлительную. Въ домѣ были учителя и учительницы, а главнымъ руководителемъ воспитанія былъ швейцарецъ Бертольдъ. Евгенія полюбила Марію, какъ сестру, и просила,

чтобы имъ было дозволено не разлучаться и во время уроковъ. „Бертольдъ, какъ республиканецъ, похвалилъ такое благородное желаніе Евгеніи“; родители дали согласіе—и Марія въ теченіе цѣлыхъ десяти лѣтъ училась и воспитывалась вмѣстѣ съ графской дочерью. Понятно, что при такихъ условіяхъ дворовая дѣвочка превратилась въ барышню, подобную Евгеніи, и въ глазахъ всякаго посторонняго Марія казалась тоже сестрой Аскалона. Прошло еще два года, и рѣшено было отправить Аскалона путешествовать по иностраннымъ землямъ для довершенія его образованія. Тогда только узнали о взаимной любви Маріи и молодого графа, узнали, что послѣдній поклялся, что Марія рано или поздно будетъ его женою. „Недостойный!“ сказала графиня сыну: „какъ дерзнулъ ты употребить такую клятву, которая никогда не исполнится, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока твои родители еще не въ могилѣ! Безумецъ! развѣ забылъ ты, чья кровь обращается въ жилахъ твоихъ, и какое имя носить назначило тебѣ Провидѣніе?“ И графиня, не обращая вниманія на заявленія республиканца Бертольда, что у всѣхъ людей одна и та же природа, тутъ же рѣшила выдать Марію за своего камердинера. Но добродушный графъ не допустилъ супругу до такого насилія. Онъ распорядился такъ, чтобы „не оскорбить челоуѣчества и не раздражить вкорененнаго порокою самолюбія“: сына онъ отправилъ за границу, а отца Маріи назначилъ управителемъ самаго дальняго своего помѣстья въ Украинѣ, куда онъ долженъ былъ немедленно ѣхать вмѣстѣ съ дочерью и держать ее при себѣ неотлучно.

Все это вполнѣ правдоподобно, какъ по отношенію къ нравамъ знатныхъ баръ того времени, такъ и по отношенію къ исторіи любви молодого графа и Маріи; но въ дальнѣйшемъ представляется уже главнымъ образомъ или преувеличеніе, или что-то очень исключительное, или даже и вовсе невѣроятное. Марія по отъѣздѣ Аскалона тотчасъ же сходитъ съ ума и черезъ три года умираетъ. „Уже хладная могила была ископана; уже вокругъ гроба Маріи почтенные священнослужители возносили мольбы къ милосердному Отцу всего сущаго, испрашивая новопочившей вѣчнаго мира въ горнихъ селеніяхъ; уже вопли и стоны собравшагося народа наполняли воздухъ, какъ вдругъ услышали на дворѣ стукъ быстро вѣѣзжающей кареты. Подобно вихрю выскочилъ изъ нея молодой челоуѣкъ, и въ нѣсколько мгновеній очутился уже въ погребальной храминѣ“. Это былъ Аскалонъ. Узнавъ о смерти Маріи, онъ лишился чувствъ, и обморокъ его былъ такъ продолжителенъ, что покойницу успѣли похоронить и даже поставить надъ нею деревянный крестъ. Когда же Аска-

лонъ очнулся, „блѣдно было лицо его, взоры съ дикостью обращались; безпорядокъ души виденъ былъ изъ каждаго движенія“. Нѣсколько успокоившись, онъ приказываетъ приготовить два богатыхъ гроба, въ одинъ изъ нихъ велитъ положить вырытый прахъ Маріи, а другой предназначаетъ для себя, ставитъ ихъ пока въ деревянной бесѣдкѣ въ саду; затѣмъ строитъ каменную церковь и переноситъ туда оба гроба. Совершивъ все это, Аскалонъ рѣшилъ навсегда остаться жить возлѣ праха Маріи—и жить уединенно. Отецъ Маріи, рассказавъ о его жизни, посвященной благотворительности, прибавилъ: „Всѣ благословляютъ его,—одинъ онъ носитъ въ груди своей корень злополучія, который, примѣтно снѣдая всѣ жизненные силы, болѣе и болѣе утверждаетъ, и, по-видимому, не прежде изсохнетъ, какъ во взорахъ страдальца потухнетъ послѣдняя искра жизни“.

Однако, если отбросить вторую часть повѣсти, написанную, очевидно, подъ вліяніемъ сентиментальныхъ произведеній, то остается далеко не лишенная интереса картинка изъ барской жизни того времени, картинка, въ которой многія черты схвачены очень вѣрно и переданы живо. Высокомѣрная, напыщенная и деспотическая графиня и рядомъ съ ней республиканецъ Бертольдъ—это живыя лица. Вѣрно указаны и черты тогдашняго воспитанія, даваемого дѣтямъ въ аристократическихъ домахъ. Интересно при этомъ и отношеніе автора къ нерусскому направленію въ этомъ воспитаніи. Въ повѣсти критикуетъ его не самъ авторъ, а отецъ Маріи—Хрисанфъ, подобно тому, какъ въ „Капитанской дочкѣ“ критикуетъ его Савельичъ; но разница та, что критика Савельича есть именно его собственная критика, тогда какъ рѣчи Хрисанфа, очевидно, суть рѣчи автора. „Главное воспитаніе“—говоритъ Хрисанфъ—„предоставлено руководству славнаго аббата Бертольда, который воспитывалъ графскаго сына на швейцарскій образецъ, ибо онъ, къ несчастію, думалъ, что изъ росіянина ничего путнаго не выйдетъ, пока онъ предварительно въ нѣдрахъ своего отечества не сдѣлается чужестранцемъ“. И далѣе: „Слѣдуя вдохновенію всемогущей моды, Аскалонъ долженъ былъ готовиться къ путешествію по иностраннымъ владѣніямъ, не для того, чтобы, все хорошее и все дурное чужеземное слича съ хорошимъ и дурнымъ отечественнымъ, найти способы истребить послѣднее, придерживаться перваго, а такъ: т.-е. мода требовала, чтобы молодой, знатный, богатый человѣкъ путешествовалъ внѣ отечества“¹⁵⁵).

Нельзя не замѣтить, что взглядъ Нарѣжнаго на то, что должно было бы быть результатомъ нашего сближенія съ Европою, былъ самымъ разумнымъ.

Повѣсть: „Запорожець“, напечатанная тоже въ 1824 г., замѣчательна тѣмъ, что Нарѣжный явился въ ней предшественникомъ Гоголя въ описаніи Запорожской Сѣчи. Описаніе у Нарѣжнаго, конечно, гораздо блѣднѣе, чѣмъ у Гоголя, но во всякомъ случаѣ представляетъ собою вѣрную картину изъ запорожскаго прошлаго, картину, какихъ авторъ не давалъ еще въ своихъ „Славенскихъ вечерахъ“. Но слогъ въ описаніи Сѣчи еще напоминаетъ слогъ этихъ послѣднихъ, гдѣ особенно бросаются въ глаза Карамзинскіе заключительные дактили.

„Едва возшло осеннее солнце надъ необозримыми равнинами моря Чернаго, вся Запорожская Сѣчь зашумѣла. Безчисленное множество народа толпилось на обширной площади, предъ храмомъ угодника Николая. Громкій звонъ колоколовъ потрясалъ воздухъ. Звукъ трубъ и литавровъ далеко разстился по ровному полю и гладкой поверхности моря. Радостный говоръ народа извѣлялъ всеобщее восхищеніе“.

„Что жъ было виною сего торжества всеобщаго?—Еще на зарѣ утренней прискакалъ гонецъ съ радостнымъ извѣстіемъ, что войсковою атаманъ, Авениръ Булатъ, по веснѣ отправившійся, съ отборною дружиною, для усмиренія хищныхъ закубанцевъ, возвращается во-свояси съ полною побѣдой и богатой добычей. Онъ просилъ духовенство не начинать литургіи, пока не вступить въ Сѣчь, дабы воины, столь долго лишавшіеся счастья слышать слово Божіе, при самомъ появленіи въ предѣлы мѣста драгоцѣннаго, могли сего сподобиться, облобызать крестъ Господень и окропиться водою священою“ ¹⁸⁶).

Народъ съ духовенствомъ ждетъ — и вотъ наконецъ поднимается высокая пыль, и скоро всѣ видятъ развѣвающуюся въ воздухѣ хоруговъ запорожскую. Передъ нею ѣдетъ на конѣ атаманъ, тяжело израненный, и потому поддерживаемый съ каждой стороны казаками. Съ нимъ трое юныхъ сыновей его. Положеніе атамана омрачаетъ общую радость, колокола и трубы замолкаютъ. Замѣтивъ уныніе, Авениръ произноситъ слѣдующую рѣчь:

„Почтенные отцы духовные и вы, дѣти мои, казаки запорожскіе! Неужели послѣднимъ подвигомъ не заслужилъ я, чтобы встрѣтили меня съ веселіемъ, какъ всегда встрѣчали доселѣ возвращающагося изъ походовъ? Неужели раны, атаманомъ вашимъ полученныя, могутъ пристыдить васъ при свиданіи съ родными вамъ малороссіянами или безбожными агарянами? Или дорогою цѣною купилъ я побѣду и приобрѣлъ корысти? Обозрите все, сочтите — и будьте веселы! Двадцать храбрыхъ казаковъ пали на мѣстѣ битвы, до сорока ранены. Зато получили мы, — если не-

навсегда, по крайней мѣрѣ на долгое время,—спокойствіе; въ плѣнъ взято около тысячи мужей, женъ и дѣтей обоого пола; отбито пятьсотъ коней, триста воловъ, безчисленное множество овецъ, нѣсколько дюжинъ ружей, пистолетовъ, сабель, дорогихъ ковровъ и связокъ шелковыхъ и бумажныхъ тканей. Посредствомъ торга съ сосѣдними турками и татарами, обратите вы добычу въ серебро и золото. Десятая часть по установленію нашему, да посвятится на украшеніе храма угодника Божія“.

Затѣмъ атаманъ велитъ положить себя у церковныхъ дверей, чтобы услышать — можетъ быть въ послѣдній разъ — слово Божіе и помолиться объ отпущеніи грѣховъ своихъ.

„Въ ту жъ минуту исполнено было желаніе Авенира. Одръ поставленъ на мѣстѣ назначенія и покрытъ ковромъ драгоценнымъ. Съ величайшею осторожностью сняли его съ коня и усадили на семь ложѣ. Въ головахъ сталъ знаменосецъ; все воинство, бывшее съ нимъ въ походѣ, стало въ полукруги... По окончаніи литургіи, духовенство вышло на крыльцо церковное, гдѣ во-первыхъ отправлена паннихида о успокоеніи душъ воиновъ, во брани убитыхъ, потомъ пропѣто многолѣтіе царю московскому, а наконецъ совершенно водоосвященіе, и всѣ распущены по куренямъ. Знамя запорожское торжественно внесено въ церковь, а одръ съ атаманомъ поднять и отнесенъ въ домъ его, стоявшій близъ самаго храма. Тамъ уже дожидаль его славный врачъ Сатиръ (славный потому, что былъ одинъ во всемъ Запорожьѣ, гдѣ каждый больной лѣчится, какъ знаетъ), польскій уроженецъ, проживавшій съ семействомъ на хуторѣ. По осмотрѣ ранъ и промытіи оныхъ, Сатиръ сказалъ окружающимъ постель атамана: «Если бы раны были свѣжи, то я сейчасъ сказалъ бы, чего надѣяться можно. Но какъ онѣ довольно долго оставались безъ всякаго врачеванія, то будьте терпѣливы до завтрашняго полудня. Мази мои спасительны, и составлены по рецептамъ знаменитѣйшихъ врачей, которые тѣхъ только не принимались пользоваться, у коихъ головы были уже отрублены»“.

Однако, послѣ перевязки, Авениръ къ вечеру чувствуетъ уже облегченіе и зоветъ къ себѣ сыновей своихъ. Но этимъ и оканчивается лучшая часть повѣсти, занимающая всего лишь 8 страницъ: далѣе слѣдуетъ нѣчто совершенно иное, не имѣющее ни малѣйшаго отношенія ни къ Запорожью, ни къ русской жизни вообще и представляющее собою скорѣе всего переводъ какого-нибудь иностраннаго романа съ приключеніями.—Авениръ зоветъ къ себѣ сыновей для того, чтобы рассказать имъ свое прошлое и открыть имъ, кто онъ и кто они, такъ какъ юноши до сихъ

поръ еще не знаютъ, что Авениръ — ихъ отецъ. Начинается длинный разсказъ, изъ котораго видно, что Авениръ — сынъ богатыйшаго помѣщика въ Лангедокѣ, маркиза де Газара; судьба послала ему на долю множество приключеній; жилъ онъ сперва то въ Лангедокскомъ замкѣ своего отца, то въ Парижѣ, потомъ въ Испаніи, потомъ въ Италіи; былъ три раза женатъ, и всѣ три жены его скоро умирали самымъ необыкновеннымъ образомъ, оставляя ему по сыну. Разсказъ обо всемъ этомъ обнимаетъ цѣлыхъ 102 страницы и представляетъ собою настоящий roman d'aventures изъ французской, испанской и итальянской жизни, со всѣми свойственными ему необычайностями.

На остальныхъ 42 страницахъ повѣсти авторъ отчасти возвращается къ Запорожской Сѣчи, отчасти заставляетъ маркиза продолжать разсказъ о своихъ приключеніяхъ. Маркизь убитъ на дуэли итальянскаго графа, имѣвшаго большія связи, и, чтобы избѣжать наказанія, ему надо скрыться. Куда же? Слуга его Клодій указываетъ ему на Запорожскую Сѣчь и тутъ же дѣлаетъ сжатый очеркъ ея исторіи и нравовъ. Этотъ очеркъ, страннымъ образомъ вложенный въ уста слуги заграничнаго маркиза, есть тѣмъ не менѣе продолженіе первыхъ, лучшихъ, страницъ повѣсти, на которыхъ Нарѣжный и является предшественникомъ Гоголя.

„Милостивый государы!“ — говоритъ Клодій, гдѣ знаю одно мѣсто въ юго-восточномъ краѣ Европы, гдѣ можетъ найти вѣрное убѣжище всякій, такого ищущій. Это мѣсто называется *Запорожская Сѣчь*, и лежитъ недалеко отъ пороговъ Днѣпра, гдѣ вливаются воды его въ Черное море. Первоначально поселились тамъ разнаго званія малороссіяне, не находившіе въ отчизнѣ своей ни крова ни пищи. Чтобы предохранить себя отъ ссоръ, непорядковъ и раздоровъ, могущихъ небольшую республику эту ниспровергнуть, храбрые люди эти положили непремѣннымъ закономъ не имѣть при себѣ не только женъ, но даже чтобы ни одна женщина не переходила воротъ ихъ города. Но какъ и самыя небольшія общества имѣютъ нужду въ ремеслахъ, рукодѣльяхъ и искусствахъ разнаго рода, а посвятившіе себя единственно военному дѣлу люди неудобно и неохотно могутъ заниматься чѣмъ-нибудь другимъ, кромѣ оружія, — то запорожскіе казаки дозволяютъ и казакамъ жениться и заниматься куплею и продажею нужныхъ вещей, но съ тѣмъ, чтобы такіе промышленники жили внѣ города Сѣчи, въ предмѣстьи и на хуторахъ, вмѣстѣ съ женами и дѣтьми. Тамъ дозволяется жить и торговать христіанамъ всѣхъ исповѣданій, магометанамъ разныхъ поколѣній, жидамъ и язычникамъ. Въ приѣмъ въ казаки, старшина совѣтъ

не заботится, кто изъ желающихъ сдѣлаться запорожцами—какой вѣры, какой земли, званія, поведенія; равнымъ образомъ не выспрашивается, что принуждаетъ кого, оставя отчизну, искать у нихъ убѣжища. Тамъ суть англійскіе лорды, испанскіе доны, французскіе графы, маркизы и проч. и проч. Но при вступленіи въ это особеннаго рода общество, подобно какъ при посвященіи въ монашество, надо оставить всѣ прежнія титула и знаки отличія; тамъ всѣ равны: сегодня кошевой атаманъ или судья, а завтра простой казакъ; при принятіи новаго собрата, ему даютъ прозваніе, какое вздумается, бреютъ голову, оставляя одинъ оселедецъ, и этотъ профанъ въ короткое время становится посвященнымъ въ таинствахъ запорожскихъ“.

Маркизь послѣдовалъ совѣту Клодія, отправилъ сыновей своихъ съ вѣрными слугами въ Сѣчь, а самъ пробылъ еще нѣкоторое время въ Стамбулѣ, гдѣ опять съ нимъ были разнаго рода приключенія. Наконецъ, присоединясь къ греческой церкви подъ именемъ Авенира, онъ прибылъ къ запорожцамъ, былъ принятъ въ ихъ общество и получилъ прозвище: Булатъ. Впослѣдствіи онъ за свои подвиги былъ избранъ атаманомъ.

Юноши, выслушавъ разсказъ, узнали, кто они и кто Авениръ, „пали на колѣна у одра недужнаго“ и „съ пролитіемъ горькихъ слезъ облобызали руки его“.

Послѣднія 5 страницъ повѣсти посвящены разсказу о томъ, какъ поправившійся Авениръ слагаетъ съ себя достоинство атамана, прощается съ казаками и уѣзжаетъ вмѣстѣ съ сыновьями въ московское царство: самъ онъ будетъ тамъ жить въ купленномъ имъ помѣстьѣ, а сыновей своихъ онъ хочетъ видѣть на службѣ „при дворѣ царя благовѣрнаго“.

Такъ писались въ прежнее время наши историческія повѣсти, такъ смѣшивалось въ нихъ русское съ нерусскимъ. Но все же въ „Запорожцѣ“ Нарѣжнѣй уже близко подошелъ къ вѣрному пониманію истинныхъ требованій отъ этого рода произведеній: выкиньте изъ его повѣсти разсказъ Авенира о своихъ приключеніяхъ—и вы получите замѣчательную для того времени картину изъ нашего историческаго прошлаго, картину, въ которой авторъ стоитъ къ дѣйствительности гораздо ближе, чѣмъ Карамзинъ въ „Натальѣ“ и „Марѣ Посадницѣ“.

Романъ: „Бурсакъ“ и повѣсть: „Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ“. — Неоконченный романъ: „Гаркуша, малороссійскій разбойникъ“. — Общій взглядъ на произведенія Нарѣжнаго.

„Бурсакъ“, появившійся тоже въ 1824 г., отличается, подобно „Россійскому Жилблазу“, сложнымъ содержаніемъ: это рассказы о диковинныхъ приключеніяхъ разныхъ лицъ, которыя однако, въ какихъ бы затруднительныхъ обстоятельствахъ ни очутились, выпутываются изъ нихъ самымъ счастливымъ образомъ, и въ концѣ концовъ все устраивается къ ихъ благополучію. Романъ даже заканчивается такими словами: „Всѣ прославляли Бога, дѣлали добро другимъ по мѣрѣ возможности, и были счастливы“. Отсюда и общее впечатлѣніе отъ „Бурсака“ такое же, какое получается и отъ всякаго произведенія, гдѣ описаны черезчуръ ужъ романическія похождения, т.-е. похождения мало правдоподобныя или по крайней мѣрѣ весьма необыкновенныя, исключительныя. Но Нарѣжный, какъ видимъ, любилъ рассказывать именно о такихъ необыкновенныхъ походахъ, что объясняется большимъ вліяніемъ на него бывшихъ когда-то въ модѣ romans d'aventures.

Мѣстомъ дѣйствія въ „Бурсакѣ“ является Украина XVII-го столѣтія. Основой романа избранъ слѣдующій фактъ.

„Никодимъ и Калестинъ, два первые полковника въ малороссійскомъ войскѣ, славились повсюду знатностью породы, воинскими подвигами, богатствомъ и неразрывнымъ дружествомъ, связывавшимъ ихъ съ самаго юношества. Калестинъ имѣлъ единственного сына Леонида, а Никодимъ единственную дочь Евгенію... Никодимъ и Калестинъ, преднамѣрясь увѣковѣчить дружбу свою соединеніемъ по времени дѣтей узами брака, не пропускали ни одного случая знакомить ихъ между собою, и намѣреніе это простерли до того, что Калестинъ приказалъ семнадцатилѣтнему Леониду быть учителемъ десятилѣтней Евгеніи... Леонидъ проводилъ съ нею половину каждаго утра, а преподавая также уроки на бандурѣ, проводилъ въ домѣ Никодима почти цѣлый вечеръ. Такъ прошло довольно времени, и Леониду исполнилось двадцать два года, а Евгеніи пятнадцать. Юные любовники, зная намѣреніе о себѣ родителей, и не думали скрывать взаимной привязанности... Но опытные родители знали, что можетъ въ двухъ пламенѣющихъ сердцахъ произвести случай, посему они, предположивъ не раньше соединить дѣтей, какъ по совершеніи одному двадцати пяти, а другой осмнадцати лѣтъ, рѣшили разлучить ихъ на нѣсколько времени... Наилучшимъ къ сему средствомъ признано отпра-

леніе Леонида въ Кіевскую академію, для прослушанія тамъ курса философіи“. Между тѣмъ, пока Леонидъ слушалъ философію, нѣвѣста его уже была назначена другому. Дѣло въ томъ, что Никодима выбрали гетманомъ, и онъ, по политическимъ расчетамъ, хочетъ отдать свою дочь за сына виленскаго воеводы. Пріѣзжаетъ Леонидъ, узнаетъ о намѣреніи гетмана и, при помощи хитрости придворнаго шута Куфія, выкрадываетъ изъ дворца свою Евгенію. Разгнѣванный гетманъ посылаетъ на поиски и грозитъ мщеніемъ и дочери и ея похитителю. Молодымъ людямъ, конечно, не остается ничего иного, какъ скрываться.

Задуманная основа уже сама по себѣ даетъ автору возможность заставить своихъ героевъ испытать много разныхъ приключеній. И дѣйствительно, они переодѣваются въ крестьянское платье, вѣнчаются въ деревенской церкви, живутъ нѣкоторое время покойно, затѣмъ, такъ какъ поиски гетмана возобновились, они ведутъ кочевую жизнь, и наконецъ находятъ себѣ пріютъ на берегу Днѣпра, вблизи Запорожской Сѣчи; но тутъ, во время отсутствія Леонида, слуги гетмана увозятъ Евгенію и заключаютъ ее въ монастырь въ Переяславлѣ, гдѣ она томится два года; Леонидъ узнаетъ случайно о мѣстѣ ея заточенія, наряжается дьяволомъ, пугаетъ сторожившихъ его жену монахинь, освобождаетъ ее, и они поселяются на уединенномъ хуторѣ подъ именами Мемнона и Евлаліи.

Но всѣ эти похождения составляютъ только побочную нить разсказа; главная же беретъ свое начало изъ слѣдующаго обстоятельства. У Леонида и Евгеніи родился сынъ — Неонъ, еще до кочевой ихъ жизни. Спасаясь отъ поисковъ гетмана, они сдали младенца на руки знакомой вдовѣ и снабдили ее кошелькомъ съ червонцами. Вдова „не могши противиться искушенію сатанинскому“, золото оставила себѣ, а малютку, положивъ въ корзину, вынесла на большую дорогу, ведущую отъ Переяславля къ Пирятину, и тамъ оставила. Изъ этого обстоятельства авторъ и развиваетъ длинную нить приключеній Неона, который и есть „бурсакъ“, главный герой романа.

Ребенка, объ исчезновеніи котораго родители узнаютъ лишь впослѣдствіи и горюютъ, нашелъ дьячокъ изъ села Хлопоты. — Варухъ, оставилъ его у себя, воспитывалъ, какъ сына, потомъ отдалъ въ Переяславскую бурсу, и, умирая, разсказалъ ему о томъ, какъ нашелъ его на дорогѣ, и завѣщалъ непремѣнно отыскать своихъ родителей. „Начальныя буквы именъ, на кольцахъ вырѣзанныя“, — прибавилъ Варухъ, — „и записка о твоёмъ кре-

щеніи подаютъ въ этомъ нѣкоторое облегченіе. Тамъ подъ образами лежитъ маленькая сумка, въ которой хранятся кольца и записка. Возьми ее и повѣсь на шею на томъ самомъ снуркѣ, на коемъ висѣли кольца, когда я нашелъ тебя“. Неонъ исполнилъ приказаніе умирающаго. „На одномъ кольцѣ стояло: L—d 1679, а на другомъ: E—а и тотъ же годъ. Въ запискѣ на латинскомъ языкѣ сказано: въ маѣ 1671 крещенъ по правиламъ грекороссійской церкви законный сынъ дворянина L—d и дворянской дочери E—а, при чемъ нареченъ Неономъ“ ¹⁵⁷).

Варухъ умеръ, когда Неонъ Хлопотинскій (такую фамилію дали ему въ семинаріи) еще не окончилъ семинарскаго курса. Но благодѣтель у него нашелся: это былъ его дядя, двоюродный братъ Леонида — Діомидъ, по прозванію Король, также принимавшій дѣятельное участіе въ похищеніи Евгеніи изъ дворца гетмана, и потому подвергшійся его опалѣ и скромно проживавшій въ Переяславлѣ въ видѣ изгнанника изъ гетманской столицы — Батурина. Съ этимъ-то Королемъ судьба и связала Неона, и съ этихъ поръ они почти неразлучны. Далѣе авторъ рассказываетъ о томъ, какъ Король вводитъ Неона въ домъ богатаго малороссійскаго пана Истукарія, въ качествѣ учителя его сына; какъ завязывается романъ между бурсакомъ и дочерью Истукарія — Неониллой; какъ панъ Истукарій оскорбляется тѣмъ, что сойтись съ его дочерью осмѣлился безродный бурсакъ, и затѣваетъ ужасную месть. Король, пользуясь тѣмъ, что у казаковъ поднимается война съ поляками, увозитъ Неона въ Батуринъ; но Неониллѣ спастись не удастся: она отправлена отцомъ на дальній хуторъ и живетъ тамъ подъ строжайшимъ присмотромъ. Дорогою Неонъ и Король попадаютъ къ разбойникамъ, но спасаются; затѣмъ Неонъ самымъ необыкновеннымъ образомъ освобождаетъ Неониллу, которая, переодевшись въ мужское платьѣ, присоединяется къ двумъ героямъ, и послѣ этого они вмѣстѣ снова два раза натыкаются на разбойниковъ и снова оба раза остаются цѣлыми. Наконецъ Неонъ, дорогой же, женится на Неониллѣ — и всѣ трое прибываютъ въ Батуринъ.

Въ Батуринѣ Неонъ поступаетъ въ полкъ самого гетмана, и за ревностную службу скоро производится въ есаулы. Затѣмъ, когда весною началась у казаковъ война съ поляками, онъ отличается, спасаетъ гетмана изъ плѣна, награждается званіемъ войскового старшины — и тогда только Король открываетъ гетману, что Неонъ — внукъ его, а послѣ рассказываетъ племяннику исторію его родителей — Леонида и Евгеніи. Оканчивается романъ примиреніемъ Никодима со своими дѣтьми; панъ же Истукарій

простилъ свою дочь еще раньше, какъ только узналъ, что Неонъ не безродный бурсакъ, а внукъ гетмана.

Сверхъ всего этого, содержаніе романа усложняется еще внесеніемъ въ него разныхъ разсказовъ, каковы, напримѣръ: разсказъ Евгеніи о своей узнической жизни въ монастырѣ, разсказъ Неониллы о своей жизни до знакомства ея съ Неономъ, и длинный разсказъ о своихъ походахъ бывшего Неонова товарища—Сарвила, который изъ выгнаннаго изъ бурсы семинариста очутился атаманомъ разбойничьей шайки, а потомъ оставилъ жизнь „столь опасную и презрѣнную“ и отправился въ Запорожье.

Авторъ романа, повидимому, имѣлъ нравоучительную цѣль: остеречь родителей отъ насилія надъ сердцами ихъ дѣтей. Такъ можно предполагать на основаніи слѣдующаго. Злоключенія Леонида и Евгеніи, а въ зависимости отъ нихъ и судьба Неона, какъ бѣднаго бурсака и приемыша, вытекли изъ того обстоятельства, что гетманъ учинилъ насиліе надъ сердцемъ дочери. Страданія Неониллы, о которыхъ она рассказываетъ въ своей повѣсти, также обусловлены были тѣмъ, что она шестнадцатилѣтней дѣвушкой была выдана замужъ за человѣка, котораго она особенно не любила и отъ котораго избавилась только благодаря тому, что онъ скоро убитъ былъ на дуэли. Затѣмъ панъ Истукарій хотѣлъ ее снова выдать замужъ — и тоже насильно. По его взгляду, выбрать дочери мужа — дѣло отца, а дѣло дочери — за него выйти не разсуждая ¹⁵⁸). Съ этими фактами надо сопоставить слѣдующія слова, вложенныя авторомъ въ уста Короля: „дѣти подлежатъ неограниченной власти своихъ родителей, пока ихъ слабость и неопытность того требуютъ. Но ежели я, старый, дряхлый скряга, дочери своей, цвѣтущей юностью и здоровьемъ, слѣдовательно отъ самого небеснаго Раздавателя благъ земныхъ одаренной всѣми способами наслаждаться счастьемъ жизни, предложу въ мужа такого же стараго, дряхлаго скрягу потому только, что онъ еще богаче меня, — неужели я имѣю тогда право носить священное имя родителя? Неужели я сдѣлаюсь угоденъ милосердному Небу за то, что одно изъ Его твореній, возросшее съ надеждой на счастье, сдѣлаю злополучнѣйшимъ на лицѣ земли?“ ¹⁵⁹). Въ другомъ мѣстѣ романа авторъ заставляетъ того же Истукарія, но уже просвѣтленнаго, сказать такія слова: „насиліе надъ сердцами человѣческими не производитъ ничего добраго“ ¹⁶⁰).

Вышеуказанная цѣль автора, конечно, весьма гуманна, но, желая наглядно доказать вредъ насилія надъ сердцемъ, онъ очень ужъ

часто прибѣгаетъ къ сплетенію приключеній самыхъ необыкновенныхъ, чисто романическихъ.

Но въ „Бурсакѣ“ есть много и реального, списаннаго прямо съ жизни. Это уже не подражательная, а самобытная часть романа, благодаря которой онъ обратилъ на себя вниманіе современниковъ и не забыть еще и въ наше время: послѣднія изданія его относятся къ 1881 и 1886 г. ¹⁸¹⁾.

Самобытностью отличаются въ особенности первыя главы романа, въ которыхъ описывается старая малороссійская бурса и характеръ тогдашняго семинарскаго воспитанія. Это лучшія страницы романа.

Варуху, бѣдному сельскому дьячку, завиднымъ представляется діаконское мѣсто — и вотъ онъ, любя своего пріемыша, хлопочетъ помѣстить его въ семинарію именно въ томъ расчетѣ, что питомецъ его авось-либо сдѣлается со временемъ въ какомъ-нибудь селѣ діакономъ. „Посуди, какая честь, какая веселая жизнь!“ говоритъ онъ Неону, ведя его въ Переяславскую бурсу.хлопоты Варуха увѣнчались успѣхомъ, и Неонъ „получилъ дозволеніе набираться мудрости въ семинаріи и жить въ тамошней бурсѣ“.

Затѣмъ авторъ объясняетъ читателю, что такое бурса. „Есть многіе сельскіе и иногородные отцы, кои, охотно желая видѣть сыновей своихъ учеными, по бѣдности не въ силахъ содержать ихъ въ городѣ, гдѣ понадобилось бы платить за квартиру и за пищу. Чтобы и таковымъ доставить посильные способы къ образованію, то, помощію вкладовъ щедрыхъ обывателей и по распоряженію монастырей, при каждой семинаріи устроены просторныя избы съ печью или и двумя, окруженныя внутри широкими лавками; на счетъ также монастыря снабжаются онѣ отопленіемъ, и болѣе ничѣмъ. Сіи-то избы называются бурсами, а проживающіе въ нихъ школьники — бурсаками. Старшій изъ студентовъ, по волѣ ректора, управляетъ другими, нося величественное имя консула, въ томъ предположеніи, что и начальный Римъ былъ не что иное, какъ бурса“.

Неона ввели въ сей „вертепъ премудрости“, отрекомендовали консулу, а чтобы новичокъ „милостивѣе былъ принятъ“, Варухъ вручилъ этому главѣ бурсы полтину денегъ, прося приготовить праздничный ужинъ. Осмотрѣвшись, Неонъ усѣлся въ углу на лавкѣ, на своемъ ложѣ. Консулъ, высокій, дородный, смуглый мужчина, съ большими черными усами, лежалъ на лавкѣ на войлокѣ. Бурсаки, которые всѣ были возрастиѣ Неона, заняты были различнымъ образомъ: „иной basilъ ужаснымъ голосомъ духовную пѣсню; другой брянчалъ на балалайкѣ, подъ звукъ

костей челоуѣка два-три скакали въ присядку; нѣкоторые боролись или бились на кулачкахъ; словомъ, всякій дѣлалъ, что хотѣлъ, при всемъ томъ одинъ другому не мѣшая“.

Далѣе авторъ характеризуетъ семинарское воспитаніе, которое состояло исключительно въ томъ, чтобы приучить питомцевъ „къ кротости и терпѣнію“. Съ этою цѣлью всякому вновь вступившему ученику послѣ первыхъ же часовъ занятій „влѣплялось въ каждую ладонь по полудюжинѣ рѣзкихъ ударовъ деревянною лопаткою“. Ихъ получилъ и Неонъ, и когда очень удивился этому обстоятельству, товарищъ далъ ему такое разъясненіе: „Другъ мой, ты еще новъ и неопытенъ. Дюжина добрыхъ ударовъ, тобою полученныхъ, совсѣмъ не есть знакъ учительскаго гнѣва, а напротивъ — доказательство особеннаго благоволенія. Здѣсь теперь такое заведеніе, чтобы всякаго ученика, вступающаго въ сей храмъ мудрости, приучать къ кротости и терпѣнію. Хотя обыкновеніе сіе почти ни одному новичку не нравится, но къ нему привыкають, а особливо зная, что количество полученныхъ ударовъ приближаетъ cadaго къ лестной цѣли — быть скорѣе діакономъ или попомъ“.

Указанная воспитательная мѣра примѣнялась къ ученику не только въ первый день его пребыванія въ семинаріи, но практиковалась и послѣ такъ часто и такъ долго, какъ это находилъ нужнымъ воспитатель.

Къ кротости же приучалъ и консулъ: когда Неонъ, чувствуя сильный аппетитъ, купилъ себѣ булку безъ вѣдома консула, послѣдній приказалъ ликторамъ преобильно высѣчь его крапивою. Неонъ опять удивился, но тотъ же товарищъ разъяснилъ ему значеніе и этого факта. „Почтенное сословіе бурсаковъ“—сказалъ онъ Неону—„образуетъ въ маломъ видѣ великолѣпный Римъ, и консулъ управляетъ онымъ вмѣстѣ съ сенатомъ. Въ консулы избирается старшій изъ богослововъ, а прочіе богословы и философы образуютъ сенаторовъ; риторы составляютъ ликторовъ, или исполнителей приговоровъ сенатскихъ; поэты называются целерами, или бѣгунами, которые употребляются на разсылки; прочіе составляютъ плебеянъ, или чернь—простой народъ. Если бы консулъ сдѣлалъ какое позорное дѣло, то сенаторы доносятъ о томъ ректору, и тотъ немедленно снимаетъ съ него сей величественный санъ и, наказавъ, по мѣрѣ вины, палками, розгами, или и батожемъ, обращаетъ въ званіе сенатора. Зато и консулъ имѣетъ свои выгоды и преимущества, именно: если кто провинится изъ насъ, но немного, какъ напримѣръ сегодня ты, то онъ одинъ, своею властію, опредѣляетъ мѣру наказанія; въ случаѣ

же вины важной, онъ созываетъ сенатъ, и съ нимъ вмѣстѣ разсуждаетъ о дѣлѣ и произносить кару. Кромѣ одежды и обуви, у насъ все общее, и хранится въ каморкѣ, пристроенной къ бурсѣ, а ключъ всегда у консула. Главный промыселъ нашъ состоитъ въ пѣніи подъ окнами мірянъ церковныхъ пѣсней или—если кто столько смышленъ—въ проворствѣ рукъ. Мы получаемъ мукою, свинымъ саломъ, птицами, зеленью разнаго рода и отчасти деньгами, которыя обыкновенно переходятъ отъ насъ въ руки шинкарки Мистридіи, торгующей вблизи отъ насъ. По симъ основаніямъ самыми злыми преступленіями почитаются у насъ, если кто изобличенъ будетъ въ утайкѣ хотя одной добытой копейки, или попадется въ сѣти на ручномъ промыслѣ“.

Затѣмъ авторъ описываетъ эти „промыслы“ бурсаковъ (заставляя говорить самого Неона).

„Лишь только раздался звонъ колокола на семинарской колокольнѣ, какъ и въ бурсѣ раздался басистый голосъ консула: «Ребята! на работу!» Тотчасъ четыре философа, взявъ на плечи по огромному мѣшку, стали поодаль одинъ отъ другого. Консулъ, стоя противъ нихъ, началъ пальцемъ указывать то на того, то на другого изъ прочей ватаги, и вмигъ къ каждому мѣшконосцу присоединилось по нѣскольку риторовъ, поэтовъ и инфимовъ. Я попалъ подъ команду Сарвила, философа веселаго, смѣлаго, собою дороднаго и сильнаго, но весьма вспыльчиваго, такъ что, кромѣ сенаторовъ, всѣ въ бурсѣ его трепетали. Отряды сіи двинулись въ молчаніи, и младшіе шли впереди, за ними старшіе, а ходъ заключался философомъ. Какъ скоро прошли мы свой пустырь, то раздѣлились на четыре части, и каждая небольшая шайка сія пошла по особой улицѣ. Мы шли тихо, а философъ, нашъ вождь, мѣрными шагами и съ великою важностію повертывая голову направо и налево. По приказанію его, мы остановились подъ окнами одного виднаго дома, и онъ, подозвавъ меня, сказалъ: «Это домъ зажиточнаго купца; поди спроси!» Опрометью устремился я къ воротамъ, отворилъ калитку и вошелъ на большой дворъ. У самага входа въ домъ стоялъ большой столъ, за ко. гъ сидѣли хозяинъ, жена его и дѣти, и всѣ полдничали“... Узнавъ, что войти дозволяется, „вступили мы на дворъ, и стали полукругомъ около стола сажени за двѣ. Тутъ раздался ужасный ревъ Сарвила, такъ что всѣ вздрогнули; прочіе ему подтянули, и начался духовный концертъ. Я взглянулъ на моего вождя, и ужасъ объялъ меня. Представъ себѣ, кто хочетъ, высокаго чернаго мужчину, съ разинутою пастью, выпучившаго страшные глаза

и дерущаго горло, шевеля длинными усами... Концертъ конченъ. Сарвилъ подошелъ къ самымъ хозяевамъ, протянулъ руку и проговорилъ рѣчь, которую кончилъ желаніемъ хозяину и хозяйкѣ съ чадами и домочадцами счастья и многолѣтія. Едва замолкъ онъ, какъ вся ватага воскликнула: многая лѣта!—Когда все утихло, ласковый хозяинъ поднесъ философу большую чарку водки и сунулъ въ руку сколько-то денегъ; по приказанію доброй хозяйки въ нашъ мѣшокъ высыпана мѣрка гороху, впущена часть свинины и оставшійся отъ полдника большой кусокъ жаркой говядины“...

„По закатѣ солнечномъ всѣ четыре ватаги наши почти въ одно время возвратились.. Кисы ихъ были довольно наполнены, и когда все осмотрѣно, и деньги вручены консулу, — то онъ отвелъ въ уголъ Сарвила и началъ съ нимъ шептаться. По прошествіи малаго времени консулъ громко произнесъ: «Не правда ли, братцы, что для перемѣны въ пищѣ не худо было бы на вечеръ сварить кашу тыквенную?» Всѣ одобрили такое предложеніе. Тогда онъ возгласилъ: «Неонъ, Памфилъ, Епифанъ и Аверкій залѣзутъ въ ближній огородъ и будутъ рвать тамъ тыквы и что попадется, ибо все устроено на потребу человѣка; а риторы Максимъ и Лукьянъ станутъ у забора съ мѣшками для принятія добычи». Когда смерклось, то будущіе мои товарищи въ семь ночномъ подвигѣ начали приготовляться, т.-е. скинули халаты и засучили рукава... и всѣ отправились на мѣсто атаки. Риторы, яко старшіе, назначили каждому изъ насъ мѣсто, гдѣ должно перелѣзть плетяной заборъ, и мы мигомъ очутились на огородѣ.“

Въ описаніи старой бурсы и семинарскаго воспитанія, главную роль въ которомъ играли розги, служившія и для наказанія и для поощренія, въ описаніи всего этого Нарѣжный тоже былъ предшественникомъ Гоголя, и Бѣлозерская справедливо замѣчаетъ, что, по выходѣ въ свѣтъ романа: „Бурсакъ“ въ 1824 году, большинство русской публики впервые получило наглядное представленіе объ этихъ „вертепахъ премудрости“.

Къ реальной части романа принадлежатъ и тѣ страницы, гдѣ авторъ мимоходомъ изображаетъ смѣшныя претензіи и чванство тѣхъ малороссійскихъ малоземельныхъ дворянъ, которыхъ сравнительно можно было назвать нищими, и которые все-таки хотѣли казаться вельможными панами.

„Мы повернули коней съ дороги. Крестьянинъ, который былъ отъ насъ саженьяхъ въ двадцати, кинулъ свой плугъ и воловъ, опрометью кинулся къ телѣгѣ и скрылся за нею. Я хотѣлъ спро-

силь у своего спутника, чего сей мужикъ испугался; но онъ усмѣхнувшись сказалъ: «Я догадываюсь, что это шляхтичъ». Минуту спустя, послѣдовало превращеніе. Изъ-за телѣги показался и шелъ прямо на насъ мужчина въ синемъ поношенномъ жупанѣ; длинная сабля волоклась за нимъ. Довольно издали онъ снялъ шапку, поклонился съ ласковою улыбкою и вскричалъ: «Добро пожаловать, господа кавалеры! Сердечно жалѣю, что замокъ мой не близко отсюда, а время настаетъ полдничать. Во время полуденнаго зноя я немного уснулъ, а бездѣльники мои подданные воспользовались симъ случаемъ и разбрелись до одного. Впрочемъ, господа, если вы чувствуете позывъ на ѣду, то милости просимъ пожаловать къ моей бричкѣ. Тамъ найдете вы свиное сало, мягче и вкуснѣе всякаго масла, довольное число преизящныхъ луковицъ, величиною съ рослую рѣпу, и хлѣбъ, какого лучше не ѣсть и самъ гетманъ». — Король, разспросивъ его о ближней деревнѣ и узнавъ, что онъ не обманывается, опустилъ въ карманъ руку и вынулъ два золотыхъ, сказавъ съ великою важностію: «Господинъ кавалеръ! просимъ извинить, что мы у тебя полдничать не будемъ, ибо спѣшимъ къ мѣсту, гдѣ насъ ожидаютъ; однакожь ты представь, что мы поѣли твоего хлѣбасоли, и въ знакъ памяти прими эту малость». Тутъ опустилъ онъ свои золотые въ шапку новаго знакольца, а сей, поклонясь учтиво, сказалъ: «Инъ прощайте, господа кавалеры! Деньги же сіи я отдамъ первому прохожему, который пособитъ мнѣ сѣсть на иноходца. Тѣ-то добрый конь! Ни у кого изъ сосѣднихъ дворянъ нѣтъ подобнаго». Онъ положилъ деньги въ карманъ, и съ великою важностію пошелъ къ своей бричкѣ, а мы далѣе поѣхали».

„Что за оборотень! вскричалъ я, не могши удержаться отъ смѣха. — «Этотъ бѣднякъ» — отвѣчалъ Король — «зараженъ язвою, которая изъ Польши переселилась въ Малороссію, и великое множество крестьянъ лишила разсудка. Обработываніе отеческихъ полей показалось имъ низкимъ занятіемъ. Съ ущербомъ большей части имущества, каждый изъ таковыхъ безумцевъ досталъ себѣ какія-то свидѣтельства на дворянское достоинство — и ходитъ при саблѣ; но какъ терпѣть голодъ никому не хочется, то они, хотя съ отвращеніемъ, должны обрабатывать свои нивы, не пропуская однакожь случая выказывать мнимое свое благородство. Пробывъ въ полѣ или въ лѣсу цѣлую недѣлю, занимаясь паханьемъ земли или рубкою дровъ, въ воскресный день такой дворянинъ является въ церкви при саблѣ, съ закрученными

усами; курительная трубка и мѣшокъ съ табакомъ заткнуты за поясъ, и онъ выступаетъ, какъ вельможа»¹⁶²).

Далѣе, во второй части романа, Нарѣжный остается реальнымъ въ описаніи многихъ подробностей изъ жизни малороссійскихъ гетмановъ, въ описаніи казацкаго войска, въ разсказѣ о битвахъ ихъ съ поляками, хотя, конечно, тутъ нельзя найти такихъ прекрасныхъ и яркихъ картинъ, какими такъ богатъ „Тарасъ Бульба“ Гоголя. Кромѣ того, въ романѣ Нарѣжнаго то тамъ, то сямъ встрѣчаются разнаго рода мелкія бытовыя сценки—то на базарѣ, то въ корчмѣ, то въ домѣ простолюдина (какъ напр. въ домѣ Ермила, у котораго Неонъ жилъ въ Батуринѣ), то наконецъ сценки съ евреями, съ цыганами.

Этотъ реальный элементъ, не смотря на то, что онъ вплетенъ въ густую сѣть самыхъ романическихъ похожденій, обратилъ на себя вниманіе современниковъ Нарѣжнаго, и въ журналахъ 1824 г. критика отзывалась о „Бурсакѣ“ съ большою похвалою: она главнымъ образомъ отмѣтила, что „Бурсакъ“, при тогдашней бѣдности нашей литературы оригинальными романами, былъ во всякомъ случаѣ цѣннымъ вкладомъ въ нее. Эта мысль была высказана въ „Благонамѣренномъ“ и въ особенности въ „Сынѣ Отечества“ (часть 97-ая). Въ послѣднемъ говорилось: „У насъ почти вовсе нѣтъ оригинальныхъ романовъ, не только сочиненныхъ на русскомъ языкѣ, но и такихъ, коими изображены наши обычаи, которые основаны на преданіяхъ русской старины и представляютъ картины знакомыя и близкія русскому читателю. Всякое подобное произведеніе должно быть принято любителями пріятнаго чтенія съ особенною благодарностью; и „Бурсакъ“ принадлежитъ къ сему роду книгъ... Особеннаго вниманія заслуживаютъ черты малороссійскаго быта и старинныхъ обычаевъ того края. Сии оригинальныя черты мало-помалу исчезаютъ подчасъ *шляфкою* общаго просвѣщенія. Желательно, чтобы онѣ, до совершеннаго изглаженія, сохранены были хотя бы въ повѣстяхъ; и вотъ почему можемъ, по всей справедливости, рекомендовать нашей публикѣ новое произведеніе Нарѣжнаго“.

Въ 1825 г. Нарѣжный издалъ повѣсть: „Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ“. Въ этой повѣсти реальному элементу дано мѣста даже болѣе, чѣмъ въ „Бурсакѣ“. Главный предметъ ея—издавна развившаяся у малороссіянъ, въ особенности у малороссійскаго „шляхетства“, страсть къ сутяжничеству, къ „позыванію“. Объ этой страсти Галаховъ говоритъ:

„Знаменитый сподвижникъ Екатерины Великой, канцлеръ Безбородко, называлъ Малороссію страной приращенныхъ по-
 вытчиковъ и секретарей. Подъ этимъ онъ разумѣлъ не только
 способность ея жителей къ юридической дѣятельности, но вмѣстѣ
 и неодолимую ихъ охоту къ сутяжничеству. Нигдѣ, конечно,
 глаголъ «позывать» (требовать къ суду) не употреблялся такъ
 часто, не приводился въ исполненіе такъ настойчиво и не окан-
 чивался такимъ разореніемъ истцовъ и отвѣтчиковъ, какъ въ
 предѣлахъ благословенной Украйны. Малоруссы тягались какъ
 по необходимости, такъ еще изъ любви къ искусству, въ кото-
 ромъ они большіе мастера. Ихъ процессы изумительны съ одной
 стороны ничтожностью поводовъ, съ другой — своею долговре-
 менностью. Десятилѣтняя ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ
 Никифоровичемъ изъ-за слова «гусакъ» вовсе не выдумана; можно
 считать ее даже непреувеличенной. Эта страсть къ тяжбамъ,
 лежащая въ фізіологическихъ особенностяхъ племени, развилась
 подъ вліяніемъ его исторической судьбы. Малоруссы отличаются
 стойкимъ упорствомъ. Выраженіе: «упрямъ, какъ хохоль» сдѣ-
 лалось почти пословицей. Въ этомъ свойствѣ есть и хорошая
 сторона: чувство самостоятельности, требованіе законной охраны
 и своему лицу и своей собственности. То и другое, личность и
 имущество, приходилось въ теченіе многихъ лѣтъ защищать отъ
 польской sprawy иногда оружіемъ, а иногда гражданскимъ су-
 домъ. Отъ давней привычки быть всегда насторожѣ, отстаивать
 свое добро, «утнѣздила въ Малороссіи страсть къ тяжбамъ,
 это истинное порожденіе ада», какъ говоритъ Нарѣжный,
 «сама породила тамъ чадъ и внучатъ и не вырождается до дня
 Страшнаго суда»¹⁸³).

Если ссора могла возникнуть изъ-за слова „гусакъ“, то
 тѣмъ болѣе могли дать къ ней поводъ застрѣленные кролики. Изъ-
 за нихъ-то и поднялась слѣдующая исторія.

Уже послѣ присоединенія Малой Россіи къ Великой жили-
 были два шляхтича: Иванъ Зубарь и Иванъ Хмара, или, какъ
 звали ихъ, Иванъ старшій и Иванъ младшій. Они были друзьями
 съ отроческихъ лѣтъ. Иванъ старшій жилъ бокъ-о-бокъ съ та-
 кимъ же шляхтичемъ—Харитономъ Занозю. У этого Ивана за-
 велись кролики. Какимъ образомъ послужили они поводомъ къ
 жестокой враждѣ между обоими Иванами съ одной стороны и
 паномъ Харитономъ съ другой, и въ чемъ вражда эта выража-
 лась въ теченіе цѣлыхъ десяти лѣтъ—объ этомъ въ повѣсти
 рассказываетъ Иванъ младшій.

„Звѣрки“—говорить онъ—„начали плодиться, и въ теченіе года съ небольшимъ явилось ихъ маленькое стадо. По прошествіи нѣсколькихъ весеннихъ недѣль, когда оба наши семейства, въ послѣобѣденное время, сидя подъ цвѣтущими вишневыми и сливовыми деревьями, слушали рассказы Ивана старшаго о военныхъ его подвигахъ и на досугѣ высчитывали количество будущихъ плодовъ,—раздавшійся мгновенно ружейный выстрѣлъ привелъ всѣхъ въ содроганіе; однако мы скоро оправились, вскочили и подбѣжали къ плетневому забору, раздѣлявшему оба сада. Тутъ опять послѣдовалъ выстрѣлъ, и мы скорѣ увидѣли, что прямо къ намъ бѣжитъ куча кроликовъ, одинъ безъ ноги, другой безъ уха, третій безъ зубовъ, всѣ облитые кровью. Братъ мой поднялъ вопль: «Мои кролики!» и тутъ же показался сосѣдъ Ивана, шляхтичъ Харитонъ Заноза, съ ружьемъ въ рукахъ, а за нимъ слѣдовалъ пятилѣтній сынъ его Власть, неся въ рукахъ съ полдюжины убитыхъ кроликовъ. Кто опишетъ мѣру нашего негодованія и гнѣва! «Что за храбрость оказалъ ты, панъ Харитонъ!»—вскричалъ другъ мой Иванъ:—«и какъ ты осмѣлился такъ буяннить?» Сосѣдъ, не скидывая колпака,—а надо знать, что мы оба были съ открытыми головами,—подошедъ къ самому забору, сказалъ: «На сегодняшній ужинъ дичины довольно; и я сказываю тебѣ, панъ Иванъ, что если не переведешь сихъ проклятыхъ животныхъ, которыя, подѣлавъ норы изъ твоего убѣжища въ мой садъ, произвели въ немъ множество опустошеній молодымъ деревьямъ и растеніямъ, то я въ скорости всѣхъ ихъ доконаю, а сверхъ того стану съ тобою позываться».—«Ахъ ты, невѣжа, бурлакъ! и ты осмѣлился говорить это военному человѣку, не скинувъ колпака!»—вскричалъ другъ мой Иванъ, съ быстротой вѣтра выдернулъ колъ изъ забора, взмахнулъ—и колпакъ взвился на воздухъ. Но какъ это сдѣлано второпяхъ, то колъ какъ-то задѣлъ сосѣда по уху, оттолкъ соскочилъ на високъ, сосѣдъ полетѣлъ на траву, сынъ его поднялъ вопль, и мы съ торжествомъ воротились каждый въ домъ свой».

„Вотъ основа тяжбы. Начались слѣдствія, переизслѣдованія, и день-ото-дня дѣло наше становилось запутаннѣе. Я, будучи человѣкъ приказный, помогаль другу моему совѣтами и перомъ; а онъ, не хотя остаться въ накладѣ, за всякое зло, дѣлаемое паномъ Харитономъ, оплачивалъ настоящею пакостью, и такимъ образомъ во всегдашнемъ ратоборствѣ протекло около десяти лѣтъ. Въ теченіе сего времени съ нашей стороны погублены: цѣлое стадо гусей, утокъ, множество свиней, овецъ, козъ и бара-

новъ; зато и у пана Харитона убыло: три пары рабочихъ воловъ, двѣ лошади и нѣсколько коровъ съ телятами.—Но это мелочи! Харитонъ сожегъ у меня гумно, а мы выжгли у него цѣлое поле съ созрѣвшимъ хлѣбомъ; онъ подкопалъ у насъ водяную мельницу, а мы сожгли у него двѣ вѣтряныхъ. Но кто исчислить всѣ убытки, кои одна сторона другой причинила?—Чтобы успѣшнѣе дѣйствовать въ свою пользу, мы переселились въ село Горбыли; и панъ Харитонъ, смекнувъ о нашемъ умыслѣ, тому же послѣдовалъ, и живетъ теперь здѣсь на другомъ краю селенія“.

Послѣ каждой „пакости“ враги „позывались“ — и, разумѣется, несли убытки, а выигрывала только судебная канцелярія, которая постановляла замѣчательные приговоры. Паны Иваны сожгли у Харитона голубятню; Харитонъ отомстилъ сожженіемъ пасѣки у Ивана старшаго. Стали они позываться. Послѣдовало такое рѣшеніе Сотенной канцеляріи:

„Панъ Харитонъ Заноза жалуется, что паны Иваны, Зубарь и Хмара, сожгли у него голубятню и съ голубями, коихъ было болѣе двухсотъ; а паны Иваны доказываютъ, что у старшаго изъ нихъ истреблена пасѣка, въ коей было не менѣе пятидесяти ульевъ“.

„Сотенная канцелярія, по долгу своему, вникнувъ въ сіи обстоятельства, опредѣляетъ:

„1. Предположа, что у пана Харитона при сгорѣніи голубятни погибли всѣ голуби, коихъ было счетомъ болѣе двухсотъ, т.-е. двѣсти одинъ,—то, назнача высшую цѣну за каждого по полупкѣ, выйдетъ убытку на пятьдесятъ копеекъ съ полушкой. Но какъ паны Иваны клятвенно увѣряютъ, что въ пищу употребили только двадцать птицъ, слѣдовательно настоящаго, чистаго убытку принесли на пять копеекъ, прочіе же голуби частію разлетѣлись, частію сгорѣли. А какъ никто ни одному голубю не связывалъ и не обрѣзывалъ крыльевъ, то и прочіе могли улетѣть: итакъ они изжарились по доброй волѣ“.

„2. У пана Ивана старшаго истреблено пятьдесятъ ульевъ, и по теперешней порѣ наполненныхъ сотами. По справочнымъ цѣнамъ каждый таковой улей стоитъ шестьдесятъ копеекъ: итакъ всего убытку выйдетъ на тридцать рублей. Исключая изъ всей суммы пять копеекъ, папъ Харитонъ причинилъ пану Ивану старшему истиннаго убытку на двадцать девять рублей девяносто пять копеекъ, каковыя деньги въ теченіе трехъ дней и долженъ непремѣнно выдать писцу Анурию. Для необходимыхъ расходовъ Сотенной канцеляріи удержится двадцать восемь руб-

лей девяносто пять копеекъ, затѣмъ остающійся цѣлый рубль имѣетъ быть выданъ пану Ивану старшему съ распискою“.

Панъ Харитонъ отъ этого рѣшенія, прочитаннаго ему въ его домѣ Ануриемъ, пришелъ въ бѣшенство. „Онъ вскочилъ, какъ отчаянный, подбѣжалъ къ изумленному писцу, выхватилъ роковое опредѣленіе, изорвалъ въ ласкутки и кинулъ въ глаза послу Сотенной канцеляріи... Онъ вопіялъ, оборотаясь къ писцу: «Зачѣмъ же вы развѣзжали на лошадахъ моихъ? а? Зачѣмъ орали землю моими волами и засѣвали ее моими сѣменами? а? Зачѣмъ пожирали моихъ овецъ и барановъ, и изъ шкуръ ихъ дѣлали себѣ шубы? а? Зачѣмъ брали у меня деньги, душегубцы, бездѣльники, разбойники? Зачѣмъ выманивали у меня деньги, говорю я, когда не хотѣли держать мою сторону? а?»“ И панъ Харитонъ послѣ этого „поволокъ пана Анурія за воротъ, вытащилъ на дворъ, схватилъ въ охапку, стукнулъ въ одноколку, подаль вожжи въ руки и, давъ два добрые подзатыльника, схватилъ съ земли березовый сукъ и началъ поражать имъ то лошадь, то Анурія. Бѣдное животное, сколько было въ немъ силы, бросилось со двора на улицу, а панъ Харитонъ, туда же выскоча, кричалъ вслѣдъ писцу: «Скажи дураку сотнику и бездѣльникамъ членамъ Сотенной канцеляріи, что они беззаконники, и что я завтра же ѣду въ Полтаву позываться съ ними въ Полковой канцеляріи»“ ¹⁸⁴).

Панъ Харитонъ дѣйствительно поѣхалъ въ Полтаву, да по дорогѣ, со злобы, сжегъ еще мельницы, принадлежавшія панамъ Иванамъ. Но черезъ нѣкоторое время онъ прислалъ своему семейству слѣдующее письмо, которое было прочитано ему дьячкомъ Оомою, ибо въ селѣ Горбыляхъ „ни одна шляхтянка не умѣла ни читать ни писать“.

„Жена Анфиза и дѣти: Власъ и Раиса и Лидія! всѣмъ желаю здравствовать“.

„Было бы вамъ извѣстно, что полтавскій полковникъ не умнѣе миргородскаго сотника, а члены Полковой канцеляріи нахальнѣе, злобнѣе, прижимчивѣе, чѣмъ члены Сотенной. Возможно ли? Они присудили, чтобы за безчестіе, причиненное мною при множествѣ свидѣтелей писцу Анурію — (великое подлинно безчестіе для канцелярскаго писца получить нѣсколько ударовъ дубиною въ спину отъ урожденнаго шляхтича!)—заплатилъ я двѣсти золотыхъ! — Да если бы я и до смерти убилъ негодяя Анурія, то нельзя требовать больше за это увѣче, какъ развѣ двадцать или тридцать золотыхъ.—Выслушавъ такое нелѣпое рѣшеніе, я твердо

отрекся отъ исполненія, и бездушники опредѣлили отдать ему въ вѣчное и потомственное владѣніе мой хуторъ съ крестьянами и со всѣми угодьями. Правду сказать, что съ тѣхъ поръ, какъ началъ я позываться съ Иванами, Зубаремъ и Хмарою, это имѣніе мнѣ опротивѣло, по близкому сосѣдству съ ихъ имѣніями. Одна-кожъ, чтобъ не ударить себя лицомъ въ грязь, чтобъ не усты-дять столь почтеннаго имени, какое приобрѣлъ я и отъ самыхъ враговъ своихъ, имени *завзятого*, то теперь же отправляюсь въ Батуринъ, гдѣ до послѣдняго издыханія намѣренъ позываться въ Войсковой канцеляріи съ Полковой и Сотенною. Скорѣе согла-шусь видѣть васъ въ рубищахъ, босыхъ, протягивающихъ руки для испрошенія куска хлѣба, или даже умирающихъ съ голода, чѣмъ поддамся моимъ злодѣямъ. Когда Оома читаетъ вамъ эти строки, то знайте, что я уже въ Батуринѣ. Прощайте. Будьте здоровы!—Харитонъ Заноза“.

Но въ Батуринѣ Заноза проигралъ свое дѣло окончательно, такъ какъ тамъ былъ постановленъ такой приговоръ:

„Войсковая канцелярія, разсмотрѣвъ рѣшенія канцелярій Сотенной миргородской и Полковой полтавской по дѣлу о буй-ныхъ и законопротивныхъ поступкахъ пана Харитона Занозы, опредѣляетъ: какъ уже писецъ Анурій достаточно удовлетворенъ за данные ему подзатыльники и удары дубиною въ спину прису-жденіемъ ему въ вѣчное и потомственное владѣніе хутора ре-ченнаго Занозы, то справедливость требуетъ удовлетворить сот-ника и членовъ Сотенной канцеляріи, сильно обезчещенныхъ са-мыми поносными словами, произнесенными Занозою въ тотъ ве-черъ, когда онъ провожалъ дубьемъ Анурія со двора своего; по-сему и слѣдуетъ: у пана Харитона, отобравъ горбылевскій домъ съ принадлежащими ему крестьянами, садами, огородами и полями, отдать во владѣніе сотнику Гордею; а онъ обязанъ въ возмездіе всѣмъ членамъ Сотенной канцеляріи, отъ старшаго до младшаго, выдать изъ казны своей деньгами осьмую долю жалованья каж-даго; пана же Харитона Занозу, въ страхъ другимъ и въ испра-вленіе буйнаго нрава его, посадить въ батуринскую тюрьму на шесть недѣль, содержа на хлѣбѣ и водѣ. Что касается до жены и дѣтей Харитона Занозы, то онѣ, по прибытіи въ домъ ихъ сотника Гордея, имѣютъ полное право выйти изъ онаго въ томъ одѣяніи, въ какомъ застигнуты будутъ; если же и онѣ—по не-разумію и дерзости—станутъ противиться, тогда вытолкать ихъ на улицу въ шею, и пусть бредутъ, куда знаютъ“.

Паны Иваны не успѣли еще нарадоваться паденію врага,

какъ узнали, что и они не забыты Войсковою канцеляріей: она, „за ихъ буйства, неистовства и зажигательства, предписала отобрать у обоихъ движимое и недвижимое имущество и приписать оное къ сотенному имѣнію“.

Такъ разорились и обратились въ нищихъ всѣ три позывавшіеся пана.

Вотъ совершенно реальная часть повѣсти, изображающая и тогдашнее сутяжничество и тогдашніе суды. И въ этомъ отношеніи повѣсть: „Два Ивана“ была достойной предшественницей повѣсти Гоголя о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ. Г. Бѣлозерская справедливо замѣчаетъ, что приводимыя Нарѣжнымъ опредѣленія канцелярій, по своему образному изложенію и содержанію, не уступаютъ прошеніямъ Ивановъ Гоголевскихъ.

Но мы передали пока только одну часть повѣсти: „Два Ивана“; другая же ея часть состоитъ въ разсказѣ о романтическихъ похожденияхъ дѣтей позывавшихся героевъ. Никаноръ, сынъ Ивана старшаго, влюбился въ дочь Занозы—Раису, а Коронатъ, сынъ Ивана младшаго—въ сестру ея—Лидію. Трагикомическое положеніе молодыхъ людей, вытекающее изъ враждебныхъ отношеній между ихъ отцами, тайныя свиданія, страхъ за будущее—все это очень естественно; притомъ же Нарѣжный и въ этой части своей повѣсти знакомитъ читателя со многими бытовыми чертами тогдашней малороссійской жизни. Но общее впечатлѣніе отъ произведенія все же значительно портится, благодаря тому, что авторъ и тутъ не обошелся безъ внесенія столь любимыхъ имъ романическихъ выдумокъ. Въ дѣло вмѣшивается словно изъ земли выросшій богатый и добродѣтельный родственникъ обоихъ Ивановъ—панъ Артамонъ, и все приводитъ къ благополучному концу. Такъ какъ Раиса и Лидія готовились уже быть матерями, Артамонъ велитъ молодымъ людямъ немедленно обвѣнчаться со своими невѣстами, но тайно; затѣмъ онъ устраиваетъ такую мистификацію: Никаноръ и Коронатъ ѣдутъ въ Батуринъ въ видѣ запорожскихъ казаковъ, помѣщаются въ тюрьмѣ вмѣстѣ съ Харитономъ, ухаживаютъ за нимъ, пріобрѣтаютъ его расположеніе, дѣлаются его друзьями; потомъ, когда пришелъ срокъ его освобожденія, приглашаютъ его, какъ человѣка, все потерявшаго, ѣхать съ ними въ Запорожье; по дорогѣ, какъ будто ничего не зная, заѣзжаютъ въ Горбыли. Тамъ оказывается, что имущество Харитона и обоихъ Ивановъ уже выкуплено Артамономъ и приведено въ самый лучший видъ; затѣмъ начинается под-

203
готовленіе къ раскрытію мистификаціи—и наконецъ примиреніе Харитона съ Иванами и желанная развязка: Харитонъ въ восторгѣ, что дочери его—жены такихъ молодцовъ, какъ Никаноръ и Коронатъ, и заявляетъ въ концѣ повѣсти, что, „ничто въ свѣтѣ не искоренитъ изъ души его чувства: одни добродѣтельные могутъ быть истинно счастливы“.

Этими-то романическими выдумками и кладется существенное отличіе повѣсти Нарѣжнаго отъ подобной же повѣсти Гоголя.

Г. Бѣлозерская имѣла случай познакомиться еще съ однимъ произведеніемъ Нарѣжнаго: съ его неоконченнымъ и неизданнымъ романомъ: „Гаркуша, малороссійскій разбойникъ“. Рукопись (106 страницъ) составляетъ собственность Литературнаго Фонда. По словамъ г. Бѣлозерской, романъ этотъ, какъ и другія произведенія Нарѣжнаго, заключаетъ въ себѣ два элемента: реальный, взятый изъ жизни,—и подражательный. Авторъ выводитъ тутъ на сцену историческое лицо: южнорусскаго разбойника Горкушу (а не Гаркушу, какъ у Нарѣжнаго), сосланнаго въ 1782 г. въ Нерчинскъ; но къ событіямъ дѣйствительнымъ прибавляетъ много заимствованнаго изъ иностранныхъ такъ называемыхъ „разбойничьихъ романовъ“ (Räuberromane).

Итакъ, въ Нарѣжномъ мы видимъ писателя, который далеко еще не былъ свободенъ отъ подчиненія западнымъ образцамъ: иностранные романы съ приключеніями, романы рыцарскіе, романы разбойничьи—все это имѣло на него огромное вліяніе, и онъ не только подражалъ этимъ романамъ, но иногда, кажется, даже прямо заимствовалъ изъ нихъ. Такъ, напримѣръ, ничѣмъ инымъ, какъ заимствованіемъ, нельзя объяснить появленія въ „Запорожцѣ“ длинной исторіи походовъ маркиза де Газара, превратившагося потомъ въ запорожскаго атамана Авенира. Это желаніе подражать было причиною того, что Нарѣжный наполнялъ свои произведенія романическими выдумками, искусственными эффектами, приключеніями крайне исключительными и даже мало правдоподобными.

Но это только одна сторона поэтической дѣятельности Нарѣжнаго, сторона, разумѣется, отрицательная, указаніемъ на которую характеристика этого писателя еще не можетъ исчерпываться. Уступая укоренившейся привычкѣ подражать западнымъ образцамъ, Нарѣжный въ то же время дѣлаетъ попытки и самобытнаго творчества, и попытки эти настолько удачны, что авторъ

обращаетъ на себя вниманіе своихъ современниковъ, а одного изъ нихъ—князя Вяземскаго—онъ заставилъ даже подивиться возможности появленія у насъ романа изъ простонароднаго быта. „На дняхъ прочиталъ я русскій романъ: «Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ», сочиненіе Нарѣжнаго»,—писалъ Вяземскій въ 1825 г. въ своемъ «Письмѣ въ Парижъ».—„Нарѣжный побѣдилъ первый, и покамѣстъ одинъ, трудность, которую, признаюсь, почиталъ я до него непобѣдимою. Мнѣ казалось, что нашъ народный бытъ не имѣетъ или имѣетъ мало окончностей живописныхъ, кои могъ бы охватить наблюдатель для составленія русскаго романа“¹⁸⁵). Правда, и въ самобытной части романовъ и повѣстей Нарѣжнаго есть недочеты: мѣстами авторъ утрируетъ (напр. въ главахъ „Мертвецъ“ и „Набожные“ въ повѣсти „Два Ивана“), мѣстами грѣшитъ противъ правдоподобія (напр. превращая полуграмотную Оеклушу въ блестящую актрису съ манерами знатной дамы), заставляетъ крестьянъ говорить такъ, какъ могутъ говорить лишь люди, получившіе образованіе,—но во всякомъ случаѣ талантливость Нарѣжнаго достаточно удостовѣряется уже тѣмъ, что его справедливо считаютъ предшественникомъ Гоголя. А этого уже довольно, чтобы получить право на видное мѣсто въ исторіи нашей литературы, въ частности—въ исторіи развитія нашего самобытнаго романа.

Само собою разумѣется, что, называя Нарѣжнаго предшественникомъ Гоголя, этимъ самымъ отнюдь не уравниваютъ съ произведеніями послѣдняго даже тѣхъ страницъ въ повѣстяхъ и романахъ Нарѣжнаго, которыя признаются у него самыми лучшими: Нарѣжный не былъ, подобно Гоголю, тонкимъ художникомъ, не умѣлъ создавать перловъ поэзіи. Тѣмъ не менѣе его картины изъ запорожской жизни, изъ жизни бурсаковъ, его типы малороссійскихъ шляхтичей, его обрисовка судебныхъ канцелярій стараго времени, его очеркъ масонскихъ собраний и вообще разнаго рода сценки и типы, взятые изъ реальной жизни—все это было значительнымъ шагомъ впередъ въ развитіи нашего романа и во многомъ подготовляло дорогу Гоголю.

Но все сказанное касается лишь объективной стороны произведеній Нарѣжнаго, а въ нихъ есть еще и субъективная: мысли, чувства и идеалы автора. Въ повѣстяхъ и романахъ Нарѣжнаго ясно видны его любовь къ человѣку, его гуманное чувство, его скорбь о людской неправдѣ, его идеалистическое настроеніе, его призывъ къ сердцу. И притомъ проповѣдь Нарѣжнаго не остается лишь въ сферѣ общей морали: онъ касается и общественныхъ

вопросовъ, въ особенности вопросовъ о воспитаніи и объ отношеніи помѣщиковъ къ своимъ крѣпостнымъ. Авторъ, какъ мы видѣли, требовалъ для дворянъ серьезнаго образованія. Дворянина безъ образованія называлъ онъ „гнуснымъ вередомъ, заражающимъ все общественное тѣло“. Онъ съ негодованіемъ говорилъ о тѣхъ помѣщикахъ, которые „считали своихъ крѣпостныхъ за насѣкомыхъ, которыхъ могли душить и топтать по произволу“.

Наконецъ въ Нарѣжномъ мы видимъ русскаго человѣка, весьма разумно смотрѣвшаго на то, каковы должны быть наши отношенія къ чужеземцамъ. По его словамъ, слѣдуетъ, „все хорошее и все дурное чужеземное слича съ хорошимъ и дурнымъ отечественнымъ, найти способы истребить послѣднее, придержаться перваго“.

Гуманное чувство, вѣра въ просвѣщеніе, разумный патріотизмъ, идеалистическое настроеніе—вотъ симпатичныя черты разсмотрѣннаго писателя.



ПРИМѢЧАНІЯ.

¹⁾ Всѣ мѣста изъ „Путешествія въ полуденную Россію“ приводимъ по изданію 1800—1802 г.

²⁾ Выписки изъ „Путешествія въ Малороссію“ приводимъ по московскому изданію 1803 г.

³⁾ „Историко-литературная хрестоматія“, т. II, стр. 179.

⁴⁾ „Взглядъ на мою жизнь“, стр. 149—150 (изд. 1866 г. Москва).

⁵⁾ Тамъ же, 144.

⁶⁾ Тамъ же, 134.

⁷⁾ По объясненію Лонгинова, это былъ фельдмаршалъ свѣтлѣйшій князь Ник. Ив. Салтыковъ („Взглядъ на мою жизнь“, стр. 295).

⁸⁾ Тамъ же, 200—201.

⁹⁾ Тамъ же, 92.

¹⁰⁾ Тамъ же, 13—14.

¹¹⁾ Тамъ же, 14—15.

¹²⁾ Тамъ же, 15.

¹³⁾ Клодъ Жозефъ Дорать (1734—1780)—одинъ изъ корифеевъ легкой французской поэзіи XVIII-го вѣка. Полное собраніе его сочиненій издано въ 20-ти томахъ въ Парижѣ, 1764—1780 г.

¹⁴⁾ „Взглядъ на мою жизнь“, стр. 36 и 70.

¹⁵⁾ Тамъ же, 16—18.

¹⁶⁾ П. М. Строевъ—впослѣдствіи извѣстный нашъ археологъ.

¹⁷⁾ См. „Взглядъ на мою жизнь“, 33, 34, 65 и 270, примѣчаніе 59-е.

¹⁸⁾ Тамъ же, 52, 53, 238.

¹⁹⁾ Тамъ же, 74—75.

²⁰⁾ Тамъ же, 71.

²¹⁾ Тамъ же, 69.

²²⁾ Тамъ же, 70 и 71.

²³⁾ Тамъ же, 80, 76, 81 и 89.

²⁴⁾ Стихотворенія Дмитріева приводимъ по изд. 1893 г., составляющему приложеніе къ журналу: „Сѣверъ“. Редакція А. А. Флоридова.

²⁵⁾ „Взглядъ на мою жизнь“, 34.

²⁶⁾ Письмо М. П. Погодина къ М. А. Дмитріеву изъ Москвы отъ 19 октября 1837 г.

²⁷⁾ „Взглядъ на мою жизнь“, 20.

²⁸⁾ См. выпускъ 1-й, стр. 11.

²⁹⁾ „Взглядъ на мою жизнь“, 180—181.

³⁰⁾ Тамъ же, 19.

³¹⁾ Тамъ же, 312.

³²⁾ Письмо Погодина къ М. А. Дмитріеву отъ 13 октября 1837 г.

³³⁾ „Взглядъ на мою жизнь“, 248.

³⁴⁾ „Полное собраніе сочиненій князя П. А. Вяземскаго“, т. I, стр. 129.

Изд графа С. Д. Шереметева, Спб. 1878 г. Въ этомъ томѣ помѣщена статья „Извѣстіе о жизни и стихотвореніяхъ И. И. Дмитріева“, написанная кн. Вяземскимъ въ 1823 г.

³⁵⁾ „Историко-литературная хрестоматія“, т. II, стр. 67.

³⁶⁾ Порфирьевъ въ своей „Ист. рус. словесности“, въ статьѣ о Дмитріевѣ.

³⁷⁾ Сочиненія кн. Вяземскаго, т. I, стр. 131.

³⁸⁾ Тамъ же, 129.

³⁹⁾ Тамъ же, 146.

⁴⁰⁾ Тамъ же.

⁴¹⁾ Тамъ же, 144—145.

⁴²⁾ Тамъ же, 146.

⁴³⁾ „Историко-литературная хрестоматія“, II, 81.

⁴⁴⁾ Въ стихотвореніи: „Наслажденіе“ (1792 г.)

⁴⁵⁾ Сочиненія Вяземскаго, I, 124—125 и 149.

⁴⁶⁾ Тамъ же, 149.

⁴⁷⁾ „Взглядъ на мою жизнь“, 91—93.

⁴⁸⁾ Указаніе на Бухарскаго принадлежитъ Галахову (Истор.-литер. хрестом., II, 82).

⁴⁹⁾ Сочиненія Вяземскаго, I, 132.

⁵⁰⁾ „Исторія русской литературы“ А. Н. Пыпина, IV, 258 (изд. 1 899 г. Спб.)

⁵¹⁾ См. выше, стр. 11.

⁵²⁾ См. выше, стр. 9.

⁵³⁾ Сочиненія Вяземскаго, I, 165.

⁵⁴⁾ Тамъ же, 157—158.

⁵⁵⁾ Для примѣра, вотъ буриме Нелединскаго-Мелецкаго (даны рѣзны: *тряница, горчица; платокъ, свистокъ* и т. д.):

Бываль я молодець: сталь мокрая *тряница*.

Что прежде было медъ, теперь мнѣ то *горчица*.

Бывало поясомъ свой сдѣлавши *платокъ*,

Пуститься въ плясуны и въ зубы взять *свистокъ*

Довольно, чтобъ забыть большое *огорченье*;

А нынѣ! грусть пришла... и тцетно все *раченье*.

Ко счастью, человѣкъ ползеть, какъ будто *ракъ*:

Ему бы все впередъ—онъ пятится, *дуракъ*!

Играетъ смолodu, какъ въ чистой рѣчкѣ *щука*,

А съ лѣтами придуть заботы, грусть и *скука*.

⁵⁶⁾ „Исторія русской литературы“ Пыпина, IV, 259.

⁵⁷⁾ Брошюра эта есть оттискъ статьи, помѣщенной въ Извѣстіяхъ Кіевскаго университета за 1899 годъ.

⁵⁸⁾ Брошюра Владимірова, стр. 4.

⁵⁹⁾ Тамъ же, 13—14.

⁶⁰⁾ Письмо Пушкина къ Гнѣдичу изъ Кишинева отъ 27 іюня 1822 г.

⁶¹⁾ Упомянутая выше брошюра, стр. 13.

⁶²⁾ Лучшее собраніе сочиненій В. Л. Пушкина то, которое издано подъ редакціей В. И. Саитова въ видѣ приложенія къ журналу: „Сѣверъ“ за октябрь 1893 г.

⁶³⁾ См. стихотвореніе Дмитріева: „Путешествіе N. N. въ Парижъ и Лондонъ, написанное за три дня до путешествія“ (1803). Стихотвореніе это есть шутка автора по поводу отъѣзда Вас. Львовича за границу.

⁶⁴) М. Халанскій. „О вліянні Вас. Л. Пушкина на поэтическое творчество А. С. Пушкина“. Харьков, 1900 г. (стр. 15).

⁶⁵) „Историческій Вѣстникъ“ за мартъ 1882 г., статья В. Авенариуса: „Василій Львовичъ Пушкинъ“, стр. 606.

⁶⁶) Суйда—село, находящееся въ 50 верстахъ отъ Петербурга (по Варшавск. ж. дор.). Оно принадлежало Ив. Абр. Ганнибалу.

⁶⁷) Гиршфельдъ (1769—1792)—професс. Кильскаго университета. Его сочинения: 1) *Landleben*; 2) *Der Winter. Eine moralische Betrachtung*; 3) *Theorie der Gartenkunst*; 4) *Von der Gastfreundschaft*.

⁶⁸) А. М. Пушкинъ—дальній родственникъ Василя Львовича, четвероюродный братъ, какъ называетъ его Саитовъ (см. приложенный къ вышеупомянутому изданію соч. В. Пушкина біографическій очеркъ его, написанный Саитовымъ, стр. XIV).

⁶⁹) Саитовъ, стр. IX.

⁷⁰) Сочиненія кн. Вяземскаго, I, стр. XXIX.

⁷¹) Саитовъ, стр. X.

⁷²) Халанскій говоритъ, что извѣстіе о переводѣ В. Пушкинымъ рус. пѣсенъ на фр. языкъ требуетъ еще подтвержденія (см. упомянутую въ 64-мъ примѣчаніи ст. Халанскаго, стр. 32 и 67).

⁷³) Оба письма В. Пушкина къ Карамзину помѣщены въ изданіи его сочиненій подъ редакціей Саитова, 1893 г.

⁷⁴) Саитовъ, стр. XIX, со ссылкой на Вигеля.

⁷⁵) „А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху“, изд. 1874 г. стр. 18.

⁷⁶) „Историко-литературная хрестоматія“, т. II, стр. 173—174.

⁷⁷) Старословомъ названъ Шишковъ.

⁷⁸) Рѣчь безъ плана—разсужденія Шишкова; а далѣе намекъ на его обширные коментаріи къ Слову о полку Игоревѣ.

⁷⁹) См. выпускъ III, 105.

⁸⁰) Саитовъ, стр. XX.

⁸¹) Такъ, напримѣръ, принималъ эту эпиграмму еще въ 1882 г. Авенариусъ (см. его статью о В. Пушкинѣ въ Историческомъ Вѣстникѣ за мартъ указанного года, 612).

⁸²) См. тамъ же.

⁸³) „Горе отъ ума“, дѣйствіе III, явл. 22-е.

⁸⁴) Халанскій, стр. 26—27.

⁸⁵) Первые два стиха взяты изъ посланія къ арзамасцамъ, а послѣдніе изъ посланія къ Дашкову 1811 года.

⁸⁶) „Историческій Вѣстникъ“, мартъ 1882 г., стр. 608.

⁸⁷) Саитовъ, стр. XVII.

⁸⁸) Халанскій, стр. 24.

⁸⁹) А. Измайлова цитируемъ по „Полному собранію его сочиненій“, изд. въ Москвѣ, въ 1891 г.

⁹⁰) „А. С. Пушкинъ и его предшественники въ русской литературѣ“, стр. 17—18.

⁹¹) См. выпускъ III, ст. о Радищевѣ.

⁹²) Полное собр. соч. А. Измайлова. т. III, стр. 149, 156—157, 158—162, 162—164, 290—294.

⁹³) Тамъ же, 191—192.

⁹⁴) Тамъ же, 155.

- ⁹⁵⁾ Тамъ же, 185.
- ⁹⁶⁾ Тамъ же, 238.
- ⁹⁷⁾ Тамъ же, 306.
- ⁹⁸⁾ Тамъ же, 277—278.
- ⁹⁹⁾ Тамъ же, 174—175.
- ¹⁰⁰⁾ Тамъ же, 172—173 и 190—191.
- ¹⁰¹⁾ „Русская Старина“ 1900 г., июнь, июль, августъ, сентябрь и д. Названіе статьи: „Александръ Ефимовичъ Измайловъ“. Авторъ ея—Кубасовъ.
- ¹⁰²⁾ „Русская Старина“ 1900 г., июнь, стр. 559.
- ¹⁰³⁾ Тамъ же, августъ, стр. 412.
- ¹⁰⁴⁾ Тамъ же, стр. 414.
- ¹⁰⁵⁾ См. тамъ же, стр. 413—414.
- ¹⁰⁶⁾ Тамъ же, июнь, стр. 579.
- ¹⁰⁷⁾ Выписки изъ повѣсти: „На другой день“ приводимъ по тексту, напечатанному въ „Историко-литературной хрестоматіи“ Галахова.
- ¹⁰⁸⁾ Сочиненія Гоголя, изд. 13-е (редакція Тихонравова). Спб., 1896 г. т. IV, стр. 260—261.
- ¹⁰⁹⁾ Это говорить Галаховъ въ своей статьѣ, помѣщенной въ „Современникъ“ 1849 г., томъ XVIII. Статья (стр. 60—97) посвящена разсмотрѣнію Измайлова, какъ баснописца. Авторъ занимается сперва чисто теоретическимъ вопросомъ: къ какому роду басенъ принадлежатъ басни Измайлова (стр. 60—71); далѣе указываетъ въ нихъ черты современности, потомъ переходитъ къ баснямъ съ общимъ содержаніемъ, отмѣчаетъ заимствованія, и заканчиваетъ статью нѣсколькими замѣтками о языкѣ басенъ Измайлова.
- ¹¹⁰⁾ „Современникъ“ 1849 г. т. XVIII, стр. 85—86.
- ¹¹¹⁾ Тамъ же, стр. 92.
- ¹¹²⁾ Тамъ же, стр. 69.
- ¹¹³⁾ „Русская Старина“ 1900 г., сентябрь, стр. 620.
- ¹¹⁴⁾ „Современникъ“ 1849 г., стр. 90.
- ¹¹⁵⁾ „Тамъ же, стр. 88, и „Русская Старина“ 1900 г., сентябрь, стр. 621, гдѣ буквально повторены слова Галахова.
- ¹¹⁶⁾ „Современникъ“ 1849 г., стр. 88.
- ¹¹⁷⁾ „Русская Старина“ 1900 г., сентябрь, стр. 624.
- ¹¹⁸⁾ Тамъ же, июнь, 572—573.
- ¹¹⁹⁾ Тамъ же, 556—557. Для біографіи Измайлова мы пользуемся подробной статьей Кубасова и еще болѣе подробными статьями Галахова, помѣщенными въ „Современникъ“ 1850 г., № № 10 (стр. 53—100) и 11 (стр. 1—64).
- ¹²⁰⁾ „Русская Старина“ 1900 г., июнь, 564.
- ¹²¹⁾ Подробнѣе см. въ вышеуказанной (въ примѣч. 119-мъ) статьѣ Галахова, которой мы и пользуемся, описывая журналъ Измайлова.
- ¹²²⁾ Полное собр. сочиненій Измайлова, т. I.
- ¹²³⁾ „Современникъ“ 1850 г., № 10, стр. 92.
- ¹²⁴⁾ Тамъ же, № 11, стр. 27.
- ¹²⁵⁾ „Русская Старина“ 1900 г., июнь, стр. 582.
- ¹²⁶⁾ Тамъ же, июль, стр. 71.
- ¹²⁷⁾ Тамъ же, стр. 72.
- ¹²⁸⁾ Тамъ же, 77.
- ¹²⁹⁾ „Современникъ“ 1850, № 11, стр. 54.
- ¹³⁰⁾ Пыпинъ въ своей „Исторіи русской литературы“ назвалъ нужнымъ

сказать объ Измайловѣ лишь слѣдующее: „Онъ началъ чувствительными повѣстями въ стилѣ Карамзина (?), потомъ издавалъ журналы, особенно съ 1818 года «Благонамѣренный», извѣстный въ свое время халатною простою издательства. Такою же безперерывной простотою сюжетовъ и языка отличались его басни: темы ихъ бывали обыкновенно заимствованныя (?), но Измайловъ передавалъ ихъ своеобразной грубоватой манерой, которая нравилась не весьма разборчивымъ читателямъ... Онъ былъ извѣстенъ, какъ «писатель не для дамъ»“ (IV, 291).”

¹³¹⁾ „Василій Трофимовичъ Нарѣжный“. Историко-литературный очеркъ, удостоенный Уваровской преміи въ 1893 году. Спб., 1896 г., изд. 2-ое. Книга состоитъ изъ двухъ частей: I—стр. 1—109; II—стр. 1—159.

¹³²⁾ Бѣлозерская, II, 4—5.

¹³³⁾ Тамъ же, 6.

¹³⁴⁾ Выписки изъ романа приводимъ по изданію 1835—1836 г. (Спб., типографія Смирдива, въ двухъ частяхъ).

¹³⁵⁾ Бѣлозерская, II, 57.

¹³⁶⁾ Выписки изъ „Славенскихъ вечеровъ“ приводимъ по изданію 1835—1836 г.

¹³⁷⁾ „Славенскіе вечера“, стр. 150.

¹³⁸⁾ Тамъ же, 108.

¹³⁹⁾ Тамъ же, 125.

¹⁴⁰⁾ Тамъ же, 57.

¹⁴¹⁾ Тамъ же, 168—169, въ повѣсти: „Любославъ“.

¹⁴²⁾ Тамъ же, 199—200.

¹⁴³⁾ Въ „Историко-литературной хрестоматіи“, т. II, 293—294.

¹⁴⁴⁾ Бѣлозерская, II, 78; М. И. Сухомятиновъ: „Исслѣдованія и статьи по русской литературѣ и просвѣщенію“, т. I, 427.

¹⁴⁵⁾ Бѣлозерская, II, 81—82.

¹⁴⁶⁾ Тамъ же, 95.

¹⁴⁷⁾ Тамъ же, 96.

¹⁴⁸⁾ См. предисловіе Нарѣжнаго къ его роману.

¹⁴⁹⁾ См. въ III-мъ выпускѣ статью о мистицизмѣ.

¹⁵⁰⁾ М. Лонгиновъ: „Новиковъ и московскіе мартинисты“, изд. 1867 г. стр. 101.

¹⁵¹⁾ Бѣлозерская, II, 94.

¹⁵²⁾ Выписки изъ „Аристотона“ приводимъ по изданію 1835—1836 г.

¹⁵³⁾ „Исторія русской словесности“, II, 182, изд. 1880 г.

¹⁵⁴⁾ Тамъ же, 183.

¹⁵⁵⁾ Выписки изъ повѣсти: „Марія“ приводимъ по изданію 1835—1836 г.

¹⁵⁶⁾ Выписки изъ повѣсти: „Запорожець“ приводимъ по изд. 1835—1836 г.

¹⁵⁷⁾ Выписки изъ „Бурсака“ приводимъ по изданію 1835—1836 г.

¹⁵⁸⁾ „Бурсакъ“, I, 283—284.

¹⁵⁹⁾ Тамъ же, II, 130.

¹⁶⁰⁾ Тамъ же, II, 374.

¹⁶¹⁾ Изданія книжнаго магазина „Новаго Времени“.

¹⁶²⁾ „Бурсакъ“, I, 143—145.

¹⁶³⁾ „Исторія русской словесности“ II, 184.

¹⁶⁴⁾ Выписки изъ повѣсти: „Два Ивана“ приводимъ по изданію 1890 г. („Семейная Библіотека“ А. Чудинова, Спб. № 10 и 11-й).

¹⁶⁵⁾ Полное собр. соч. кн. П. А. Вяземскаго, I, 203—204 (изд. 1878 г.).

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Дальнѣйшій обзоръ литературы Александровской эпохи.

I. Подражатели Карамзина.

Подражатели „Бѣдной Лизы“ и „Писемъ русскаго путешественника“.—Распространеніе сентиментализма	СТР. 1
--	-----------

II. Дмитріевъ.

„Взглядъ на мою жизнь“, какъ одно изъ наиболѣ цѣнныхъ произведеній Дмитріева.—Краткая внѣшняя его біографія.—Его воспитаніе, образованіе и вліяніе на него литературы иностранной и русской.—Отношеніе его къ нашимъ писателямъ старымъ и новымъ.—Его розовый взглядъ на старину и, не смотря на „это“, его умѣренный консерватизмъ.—Черты личности Дмитріева, роднившія его съ тѣми писателями, вліянію которыхъ онъ поддавался	9
--	---

Обзоръ поэзіи Дмитріева.

Общій характеръ поэзіи Дмитріева.—Произведенія, дававшія современникамъ поводъ видѣть въ Дмитріевѣ Державина.—Отголосокъ поэзіи Хераскова.—Произведенія, сближавшія Дмитріева съ Богдановичемъ.—Слѣды вліянія поэзіи, служившей Вакху и Эроту.—Сходство съ Карамзинымъ.—Языкъ Дмитріева.—Взглядъ кн. Вяземскаго и самооцѣнка Дмитріева.—Произведенія сатирическія и басни.—Замѣтка о мелкихъ стихотвореніяхъ.—Мѣсто, отведенное Дмитріеву въ „Исторіи литературы“ Пыпина, и указанія профессора Владимірова	22
---	----

III. В. Л. Пушкинъ.

Первый взглядъ на сочиненія Пушкина.—Его басни, характеризующія автора.—Его сказки	56
Чувствительность, мечтательность и идиллическія стремленія В. Пушкина.—Противорѣчащая имъ любовь его поэту.—Его возвышенные интересы.—Жизнь Василя Львовича, какъ рядъ фактовъ, отражающихъ его личность	62
Значеніе посланія, какъ свободной литературной формы.—Посланія В. Пушкина.—Отразившаяся въ нихъ личность автора: его любовь къ	

поэзіи и просвѣщенію и его литературные вкусы.—Его отношеніе къ Шишкову.—Характеръ его патріотизма и его релігіозныхъ воззрѣній.—Отношенія дяди къ племяннику.—Стихотвореніе: „Вечеръ“. 69

Оцѣнка произведеній В. Пушкина прежними критиками и статья профессора Халанскаго.—Вопросъ о вліяніи дяди на поэтическое творчество племянника. 79

IV. А. Е. Измайловъ.

Своеобразное подражаніе Измайлова Карамзину.—Его романъ: „Евгеній, или пагубныя слѣдствія дурного воспитанія и сообщества“.—Его восточныя повѣсти.—Нѣсколько словъ о Бениткомѣ. 83

Басни и сказки Измайлова.

Ихъ предметъ, рѣзкій тонъ автора и благородное его намѣреніе.—Вопросъ объ ихъ самостоятельности, о принадлежности ихъ къ извѣстному виду, о захватываемомъ ими кругѣ людей.—Цинизмъ изображенія въ нихъ.—Впечатленіе, производимое ими на читателя.—Образная характеристика баснописца. 112

Біографія Измайлова и дополнительныя свѣдѣнія о его литературной дѣятельности.—Журналъ Измайлова: „Благонамѣренный“. 130

V. Нарѣжный.

Дѣтство и воспитаніе Нарѣжнаго.—Его первые литературные опыты.—Служба на Кавказѣ и романъ: „Черный годъ, или горскіе князья“. 146

Дальнѣйшія біографическія свѣдѣнія о Нарѣжномъ.—Его „Славенскіе вечера“.—Вліяніе на нихъ произведеній западно-европейской литературы и памятниковъ русской старины.—Отсюда—пестрый ихъ характеръ.—Субъективный элементъ въ нихъ, опредѣляющій чувства, мысли и идеалы автора. 153

Еще двѣ повѣсти изъ древне-русской жизни.—Скудость біографическихъ свѣдѣній о Нарѣжномъ.—Его романъ: „Россійскій Жилблазъ“.—Его повѣсти: „Аристѣонъ“, „Марія“ и „Запорожецъ“. 162

Романъ: „Бурсакъ“ и повѣсть: „Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ“.—Неоконченный романъ: „Гаркуша, малороссійскій разбойникъ“.—Общій взглядъ на произведенія Нарѣжнаго. 187

